

ЮНОСТЬ

8
1976



С. ДУДНИК.

Яблоки.

ЛИТЕРАТУРНО-
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНИК
СОЮЗА
ПИСАТЕЛЕЙ
СССР

ЮНОСТЬ



8 [255]
АВГУСТ
1976

Журнал
основан
в
1955
году

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ПРАВДА»
МОСКВА

Илья Фоняков



Слушаешь вас — и чувствуешь себя
дураком!

Что я знаю?
Топор, да отвес, да уровень,
Дом построить могу,
заработать на хлеб и табак,
У вас, конечно, другой уровень,
Образование — оно не пустяк...

А потом добавляя,
отчасти ворчливо,
На ораторов поглядывая из-под очков:
— Но еще неизвестно,
куда бы, умники, мир завели вы,
Если б не было на свете
таких, как я, дураков...



Дни проходят, пролетают ночи
Над поселками и городами.
Не длинней становится — короче
Автобиографии с годами.

В юности — размашистей писалось,
Се тогда существенным казалось:

То, что школа кончена с медалью,
То, что был на практике в Сибири...
Жизнь влекла необозримой далью,
Открывала сказочные шири!

А с годами мы все меньше склонны
[Говорю отнюдь не в почесть!]
Драгоценной собственной персоны
Стопа преувеличивать значение.

Спорщики, строители, бродяги,
В сорок лет мы бережем чернила —
Отбираем над листом бумаги:
Что же в жизни в самом деле было?

Плотник

Мы у колхозного плотника квартировали.
Мы были высокого мнения о себе.
По летнему времени —
спали на сеновале,

На вечерами подолгу засиживались в избе.

Спорщики отчаянные, как и положено
студентам,

Особенно,
если ночь холодна и темна,
Мы сперва занимались текущим моментом,
А потом углублялись в прошлые времена.

Вскакивая в азарте с продавленного
дивана,
Огурец соленый скимая в руке,
Кто-то объяснял взгляды

Карамазова Ивана,
У кого-то Раскольников с Порфирем
были на языке.

А хозяин в конце подытоживал скжато,
Вытирая пысину цветастым платком:
— Ох, и умные нынче пошли ребята!

Баллада об энтомологе

Не бывает ненужных знаний:
Все сходитя когда-нибудь,
Пусть сегодня тебе ни званий,
Ни наград —
Разве в этом суть!

Жил чудак-профессор, который
Всю-то жизнь свою на земле
С увлечением вникал в узоры,
Что у бабочек на крыле.

«Не пора ли утомониться,—
Кто-то сетовал, — время же?!

Помогли бы лучше пшеницу

От вредителей уберечь!

Ведь от вас — никакой отдачи,
Так, скопастика лишь одна.
Вы подумайте, а иначе...»
Тут как раз началась война.

Бились яростно батальоны,
За собой взрывали мосты...
И пришел в Совет Обороны,
Разложил профессор листы...

Вот бывают в жизни дела же!
Оказалось узор живой
Найлучшим при камуфляже
Зданий

В городе над Невой.

И когда сирена завыла,
Много жизней уберегло,
Много судей собой прикрыло
Это бабочкino крыло.

Не бывает ненужных знаний,
Все сходитя когда-нибудь,
Пусть сегодня тебе ни званий,
Ни наград —
Разве в этом суть?

Лишь бы твоя работа
В самом деле
Делом души,
Не для славы,
Не для ответа,
Делом чести,
Не терпящим лжи...



Ирина РАКША



А КАКОЙ СЕГОДНЯ ДЕНЬ?

РАССКАЗ

3 амерзшее ноябрьское солнце осторожно поднялось и удивленно и ласково оглядело белую землю. За ночь выпал снег и сделал все неузнаваемым. И поля, и станцию, и поселковую площадь перед селено.

У магазина на первом хрустком снежке толпились женщины. Стояли, сидели на завалинке — ждали хлеба. Пришли в залога по белым прибранным улицам посудачить, новости разузнать, да и свеженького теплого хлеба взять.

Похаживают в пушистых шалях, в непривычных, еще не притершихся валенках, ногами постукивают, кошечки в руках. Вдруг вспомолились:

— Везут!

Голубой фургон с хлебом катил все ближе по белой площади. Вот круго затормозил под самыми окнами. Женщины шарахнулись:

— Ну, Гришка шальной!

Щелкнув дверцей, лихо выпрыгнул шофер.

— Здравствуй, Гриш, здравствуй! — вразнобой запели бабы.

— Небось, горяченький? Из пекарни?

— Привет! — Он с улыбчкой распахнул задние дверцы фургона.

А ну, налетай. Кто скорее.

И те принялись помогать — буханки носить.

В магазине еще не топлено, сумрачно, холодно. По полкам ткани, калоши, прянинки. Продавец открыл железные ставни и нехотя пошел за прилавок, товар принимать.

А бабы, дыша белым морозным паром, одна за другой уже несли в обнимку живой, теплый хлеб. От машины, вверх по ступенькам и в магазин. Скрипит снег, скрипят ступени, скрипят темные половицы под валенками. На ходу балягурят, смеются:

Ты глянь-ка, глянь, Кузьмовна-то сколь подхватила! Эй, не лопни, кума!

Маленькая, в клетчатой шали, та еле протиснулась в дверь с хлебом, будто с охапкой дров. Положила на прилавок чуть выше головы — продавца загородила.

Рисунок
Ю. РАКША.

— Андреич, слышь, Андреич? — заглянула она в просвет меж буханок. — Дело у меня к тебе: — по сторонам глянула и тихо: — Сноху мою к себе не пристроишь? Чего ей дома бакшиши то бить! Прострой, а?

Продавца было не видно, только жилистая рука с карандашом ползала по бумаге.

— Прострой, ради бога. На станцию ее жалко, рабочей-то, на зиму. Молодая еще, — шептала Кузьмовна. — Охота где потешел.

За буханками было тихо, потом раздались:

— В сеть-то она работала?

— Да нет, — оторвалась Кузьмовна. — На заводе была учительницей. Но добавила живо: — С десятилеткой она с аттестом. А как же... Учиная.

Верхние буханки продавец снял. Она глухо стукнулась о полку. Лицо у продавца было постное, беззучное, он шевелил губами — хлеб считал, что ли.

— Не надо мне. Вон к Лизавете сходи, в чайную. Уж там куда теплее.

Кузьмовна поджала губы и пошла к выходу. И хлеба больше носить не стала, зря стараться. Села на завалинку ждать, пока все примут, обдумывать положение.

И тут к магазину, звеня скрежетом, фыркайка от мороза, лихо подкатила рыжая пошаденка, впервые после осени запряженная в сани. Еще на ходу соскочила Лиза, Лизавета, станционная буфетчица — приехала хлеб получить. Стоит у фургона, как сарнхаря, полуслалок белый, шубка белая, смеется, буяжку Гриши сует:

— На-ка, распишишь... тридцать буханок. И не тронь, чумазый! Вот ляпну... — Подхватила с лотка, понесла в сани первые кирпичи хлеба, крикнула весело: — А ну, бабонки, помогай! Чего встали?

А бабы ни с места, носы в сторону. Одна с укором:

— Ну, как же, ты мужиков наших приваживать да спавать, а мы — «помогай»! Ишь ты, языва.

Лиза хочет, укладывает парной, душистый хлеб на солому:

— А ты его привяжи. Чтоб не сбег.

Гришка-шофер зубоскал:

— Да вырвется. От такой жинки как не вырваться.

Лизавета порхает от саней к фургону, считает вслух:

— Одиннадцать... четырнадцать...

Тут Кузьмовна подошла:

— Давай, Лиза, подсоблю. Давай-ка.

— Вот спасибо-то! — Щеки у Лизы румяные, зубы белые. — Вот спасибо-то за сознательность.

— А как же... — Кузьмовна посочувствовала на ходу: — Чего сама хлеб-то возишь? Нешто положено тебе, заведующей, надриваться?

— Ой, и не говори, — вздыхает Лизка. — Третью подсобницу меняю. То в докрут уходит, то не спаривается. Торговля — дело такое.

Кузьмовна остановилась в обхват с буханками. Ну как тут было не попросить:

— Слыши, Лиз. А ты сноху мою возьми. Таньку. Девка — золото. И покладистая и шустрая.

Лиза сразу посеребрела, солидно села на край саней:

— Это та, что ль, маленькая? Витяка из города привез?

— Ну, ну, — обрадовалась Кузьмовна. — Из Томска. Служки он там.

Лиза подбила желтую солому с боков, лукаво на Гришу глянула:

— Взять, что ль? — И Кузьмовна: — Да ты буханки-то клади, клади.

Кузьмовна торопливо сложила хлеб, уж больно ей

хотелось пристроить сноху к делу. Но Лиза дернула вожжи, и сани поплыли от крыльца, лошадь сразу двинулась ходко, вид первого снега тревожил ее. Кузьмовна расстроилась, но Лиза все же оглянулась, крикнула весело:

— Ладно, пусть завтра зайдет! Погляжу!

Над поселком разливался голубой рассвет, и в домах уже зажигались ранние теплые окна, когда Таня подошла к чайной. Она бежала всю дорогу из Заречья по спящим улицам, боясь опоздать. Но у запертой двери на пороге еще лежал мяткий, нетронутый снег, и вся улица и деревянные тротуары были белы. Таня услыхала на ступеньке — ждат. Вот и фонари у вокзала погасли. А Лизы все нет и нет.

Таня ждет, волнуется: как-то пройдет этот первый рабочий день, что расскажет она дома вечером? Таня думала и чертила варежкой на ступеньке «Витя + Таня» и не заметила, как подошла Лиза, оглядела ее согнутую фигуруку, по-хозяйски поднялась дверям, чуть не наступив на варежку.

— Здрасте, — вскочила Таня, — а вас жду.

— Здорово, — усмехнулась сверху Лиза, доставая ключ, и, щелкнув каленым замком, со звоном откинула щеколду. — Ну, заходи, помощница.

Посреди пустой чайной Таня застила столы голубыми клеенками. Взмахнет над столом, расправит, разглядят ладонками, поставят солонку.

— А Витяшка мой ничего и не знает, — говорит она весело. — Из маршрута сегодня вернется, а я, ложките, с работы иду. Вот удивится.

— А что ж, нечего на них надеяться. О себе самой надо думать. — Лизина голова в сахарной на колке то появляется над стойкой, то исчезает, она разбирает продукты. — И вообще девушке надо быть при деле. А то шляются за теми, кто с гитарами. Угомон не берет. А потом дети сиротами растут. — И вздохнула: — Я тоже дурой была когда-то.

За окнами встает солнце. На стеклах цветет розовый иней. И бумажные кружевка на полках становятся розовыми. И такая благодать кругом, что душа у Таня поет. В чайной чисто, уютно, потрескивают дрова в печи, сладко пахнет хлебом, свежевымытыми полами, капустой.

Таня ставит греть воду, режет хлеб, говорит из подсобки громко:

— А на заводе я в стаканном цехе учительницей была. Красота, конечно. Все звенят, крутятся, только успевай.

Лиза слушает и не слушает, взвешивает товар — откряывать скоро.

Таня подносит ей стопку тарелок:

— А вообще-то везде интересно. — У нее мечтательные глаза. — Как говорит моя Витька, лишь бы работать с полным кид, верно ведь?

— Эх, детсад... — Лиза качает своей пышной красивой прической. — Мой сынушка Толечка и то умнее тебя, — и подает ей белый передник. — На-ка вот, сегодня мой надень, потом свой сошьешь. — Улыбается: — И чтоб с полным кид, ясно?

В чайной людно и уже душно. По стеклам течет. Гомон.

Таня ходит меж столиков, собирает посуду. Вот Гришка-шофер с винегретом, на стойку поглядывает. Но Лизы ему не видно, только ее сахарная наколка мелькает иногда поверх головы и звонкий голос доносится:

— Котлеты — одни, хлеб — триста, следующий! —

Таня стирает со столиков, поглядывая вокруг. Вот с мороза ввалились в чайную деповские девчата, в телогрейках, брюках. Запахло бензином, мазутом. Прелаят в углу комоником, занимают столик, один сразу посыпают в очередь. Таня шуряет у пеки кочергой, слушает их гробоватые голоса. И к ним у нее уважение, даже почтение: кажется ей эти двадцатилетние очень взрослыми.

Посуду со столов Таня носила в подсобку. В обед — горы посуды, только успевала вымыть и скорей белые стопочки зал, к Лизе.

— Ты болтно-то не размывай, некогда, — кидает Лиза тихо. Народ к ней ломится.

Вода из крана бежит в мойку. Таня берет стакан, моет под струей, ставит на чистый поднос. Приправилась, и получается ловко, как на заводе почтовая линия. Звенит крышичка чайник, звенят стаканы, а Таня, как в вальсе: берет — раз, моет — два, ставит — три. Раз, два, три. Раз, два, три.

Иногда, стучу босоножками, забегает Лиза. То к плитке кинется, то в холдингник нырнет. На ходу спросит:

— Ну, как клп?

— Как в стаканном цеху!

А по радио — производственная гимнастика: «Встаньте прямо, поднимите руки на уровень плеч». — Таня взмахивает руками, они у нее по локоть мокры. — Упражнения начали: раз-два-три...» Знает, в Москве только одиннадцать. А тут уже день к закату. За белым морозным окном проехал красный автобус. Пробежали ребята с портфелями.

Иногда через открытую дверь Таня смотрит на Лизу, любуется, как там ловко орудует у стойки. Народу к ней — тьма: и шоферы, и транзитные пассажиры, и спецшики. И все — Лиза, Лиза! Всем нужна Лиза, все к ней с почтением. А она, как Хэзли. Медной горы, стоит гордо, руки, как птицы, порхают от стойки к витрине, от витрины к вешам, к бочке с пивом. Сережки вздрагивают, костяшки на синтетах щелкают:

— Три бутерброда, треска, два пива. Всё? Девяносто. Сдача — мелочи нет. — Взяла рубль, ириску бросила. — Следующий.

В подсобной Таня чистит картошку, уже третье ведро с утра.

А что я придумала, — говорит она Лизе (га-радом с ней настает ест винегрет, прямо из бака). — Давай шторки на окна повесим, голубенькие. Я твой материальчик в селью видела. Могу сшить, хочешь?

Лиза жкует, усталоглядит в окно:

— Делать, что ли, нечего? И так не чаю, как отсюда вырваться. — У нее прямо ложка из рук валилась.

«Нехорошо, конечно, из бака, — думает Таня, наливая кофе в стакан. Но ведь и поесть ей толком некогда, вон уж кричат из зала».

Лиза вздыхает:

— Есть у меня мечта, девочка. Хочу в вагон-ресторан уйти. Вот дельце одно проверну и сдам тонку.

В зале шум. У стойки ждет очередь, но Лиза туда и глядеть не хочет.

— Думашь, нравится мне ульбаться тут всем? Думашь, нравится? А надо. Вот Гришка-шофер на змую дров подкинулся, зевая. Толечку в интернат устроил... — И сразу голос потепел, смягчился: — В первый класс прошел мой Толечка. Палочки пишет, пилики... — Она помолчала и опять твердо: — И хоть одна я, Таня, хоть мать-одинка, а Толечку выучу. Рашибусь, а выучу. Он у меня еще ученым будет...

Стонет Лиза, ест винегрет, а в глазах свое что-то: невеселое-невеселое. Еще не видела ее Таня тако-

— А вы бы замуж шли. Вы вон какая красавая.

Лиза усмехается горько:

— Господи, за кого замуж-то? За Гришку, что ль, гопль перекатную? — И ложку бросила. — А солидные люди все женятся.

И опять в зале:

— Сардельки — одни, хлеба — триста... Таня, чай там скипел? — Костяшки щелкнули, кронфетку бросила. — Следующий.

Чайник с кипятком ведерный, синей эмали. Прихватят тряпкой, Таня тащит его двумя руками. Уже шестой сегодня выпивают. Это сколько же люди пьют за сутки? Ну, по району, например? Или по области? А по всей стране? Ой... реки!

— А я говорю, мне сдача нужна. — Это упрямится гражданскочка в шляпе, из транзитных, не хочет ириску брать.

Лиза расстраивается:

— Ну, сколько раз объяснять, гражданскочка? — Потрепала пустым блодцем. — Нету мелочи — видите? И вторую ириску ей бросила.

Сяди торопят:

— Ладно, дамочка, отходи. Нам на смену, — тянут через головы деньги. — Лиза, пять пива.

А гражданскочка как приросла:

— Я сдача жду — иглядят в упор сквозь очки. «Бывают же люди». — Таня взъеромздила чайник на табурет. — Дались ей эти копейки! И вдруг увидела блодце, полное мелочи, под прильваком, на полочек.

— Лиза! — Чуть чайник не опрокинула. — Да вот же! — и достала скорей — мелочь брякнула.

Женщина усмехнулась, а Лиза померикла вся, зло взглянула на Таню:

— А тебе просил убирать? — И отвернулась: — Так, вот вам сдача. Следующий.

Таня мямла тряпку в руках. Не знала, куда деться от взглядов. Постояла еще и молча пошла в подсобку.

Из репродуктора над ее головой диктор звонко вещал:

«Дорогие друзья! Начинаем концерт по заявкам наших доблестных воинов-артиллеристов и ракетчиков!»

— Ты не лезь в мои дела! — Лиза спокойно раскупоривала консервы на табурете. — И к стойке не подходи. А то первый и последний день тут. Поняла? — Сережки сердито дрогнули. — А то без тебя не знаю, что делать.

Таня стоит как мертвая, машинально моет стаканы: раз, два, три. А по радио давняя знакомая песня:

Русское поле, русское по-о-оле,
Я, как и ты, ожиданьем живу...
Верю молчанью, как обещанью...

За окном меринет день. И уже фонарь над улицей кеачет желтый тревожный свет да перекликаются тепловозы.

Таня собирала со столов солонки, стаскивала грязные голубые клеенки. С улицы стучали, дергали дверь. Крючок звякал.

— Мне на базе шпунту, ревизия скоро. — Не обращая внимания на стук, Лиза «снимала остатки» — надо все подготовить, чтоб комар носа не подточил. — Скинув босоножки, она заплела на стойку и считала в буфете коробки с вафлями, бутылки портвейна... Чего мончиши? Обиделась, что ля, за мелочь? — Усмехнулась — Вот уж правда, что мелочь... Нет, девушка. Надо легче на все смотреть, веселей. А то много тут не наработаешь. Да и жить легче веселому человеку.

— Может, открыть? — спросила Таня.



Он оглянулся и увидел незнакомую девочку в фартуке. Молча повесил у двери гремящий плащ и сразу стал таким домашним, вязаной душегрейке и в серых катанках. Стоит, руки потирает.

В подсобке Лиза срочно достала пол-литра из холдингника.

— Видела? Ухажер! Как раз во время. Бывший начальник станции! — Она развеселилась стала. — Вот так каждый праздник. Придет и сидит, размышляет. Жена у него — мегера. Сроду выпить не даст, печень его бережет. А сын в Москве учится. — Раскуюрила бытулку, оттерла тряпичкой. — Ты сырь нарезже голландского, да по-тоинше.

А он сидел в пустом зале, среди голых столов и следил, как за окном в свете фонаря крутится желтый снег.

— Чего ж редко заходите, Петр Иванович? — Лиза плыла к нему — на терялочке полный стакан, огурнички, хлеб.

Он очнулся от мыслей.

— Дела все, Лиза, дела. — Расстегнул душегрейку. — Вот только что партююро. Наши к отчуту готовятся. Пришло время выступить, подсказать.

Лиза присела, оперлась на бёлья локти.

— И чего вам беспокоиться, Петр Иваныч? Как говорится, на заслуженном отдыхе. Сидели бы дома. — Стаканчик подвинула: — Как печенье-то, не тревожи?

— Ерунда. — Он помолчал и сердито поднял стакан: — Ну, что, Лиза. С праздником, значит? За артиллерию нашу!

— С праздником, с праздником!

— Ракетных войск я не знаю, а вот артиллерию... — Дыхнул и выпил.

Лиза обернулась и крикнула:

— Ну, долгие ты там?

Он закусил отгуриком:

— Новенская? И как, ничего?

— А кто знает, — пожала Лиза племяшами. — Новый сапог всегда ждет.

— Да притягается. Я старый солдат. Знаю.

Он был прост лицом. Добродушен. Смотрел, как спешит новенская с чаем и сыром, как горячий стакан жжет ей пальцы. Улыбнулся:

— Садись, посиди с нами. Праздник нынче.

Но Лиза отослала:

— Иди, иди. Нечего ей тут рассиживаться. Еще клепки мыть. А вы закусывайте, Петр Иваныч. Сыр свежий.

— Да, сыр свежий. — Он смотрел, как под фонарем уже валил косо летящий желтый снег.

— А как же, все стараешься, стараешься... — уже поддевшись заговорила Лиза. — Сами знаете, пятый год на одной точке, без жалоб. В ночь- полночь стучат, и днем не присядешь. И все хочешь, как лучше. — Вздохнула мечтательно: — Вот шторки собираюсь для ютю шить, голубенькие такие. Уже и ткань присмотрела.

— Да ну их. Небось, за вином. — И крикнула на весь зал: — Закрыто! Закрыто!... Так. Портвейнов тридцать четыре по два тридцать... Прямо голова кругом с этой арифметикой... Слушай, а вдруг нужный ктот Ну-ка, открай.

И Таня побежала быстро, крючок скинула.

В клубах пара ввалился квадратный заснеженный дядька в брезенте.

— Что, Лизавета, в праздник рано закрываешь? — Он притопнул на месте, и комья снега с плеч и ног полетели на пол, зашипели на печке.

Лиза обрадовалась:

— Ой, Петр Иваныч! — Слезла со стойки. — А какой сегодня день? Заработалась я совсем. Неужью и правда — праздник?

Он обиженно засопел, вылезая из своего твердого плаща.

— Наверное, День артиллерии, — сказала за его спиной Таня.

— О! Точно.

Он сидел благодушный, чуть раскрасневшийся от выпитого.

— Люблю я тут посидеть в удовольствие. На тебя поглядеть... Хрипловатый голос его звучал в пустом зале... Ну, хочешь, признаюсь?

— Да вы выпейте, — перебила Лиза. — Я еще принесу... И стакан подвинула.

— В сорок четвертом, в такую же вот зиму, под Рогачевом командовал я батареей... И поднял стакан.

— А вообще-то у меня вопросик к вам, Петр Иваныч... — Лиза смотрела, как он пьет. — На базе мне один человек сказал, что в вагоне-ресторане местечко освободилось. Как вы думаете, стоит?

Он отставил стакан, помолчал:

— Надеюсь, что ли?

— Да не то, чтобы надеяло, — сказала она, — а охота свет посмотреть, себя показать. Может, замолвите за меня словечко? Вы ведь всех там знаете... Она окислилась... — И с планом у меня порядок, без пяти минут: ударение коммунистического труда... и улучнулась: — Я ведь сознательная.

Петр Иванович созабылся:

— Подумать можно... А с личной-то жизнью у тебя как?

— Ой! — засмеялась она. — Какая уж тут личная! Вся моя личность на общество трястись... И сердце... — А может, записочку напишет? Я набросала там кой-чего на листочке, чтоб вас не утруждали.

— Так сразу и записочку... Погоди. Покумекать надо, — сказал он задумчиво и поглядел в окно. Там уже не было видна фонари, снег совсем запелился скрипка. — Напейка мне, Лиза, еще. Сегодня мой день... Салют сегодня в городах-героях. А в сорок четвертом под Рогачевом...

Лиза устало вошла в подсобку. С лица стерлась улыбка:

— Ох, уж эти мне пенсионеры! Слушать их тошно... — Достала начатую бутылку. — Ладно, бог твердил нам велел. А то улетит без меня вагон-ресторан мой. Ковер-самолет мой голубенький.

Лиза молча перетирала солонки.

— Это один человек мне умный совет дал. Иди, говорит, в вагон-ресторан. Сразу достаток изменится... — Лиза щедрой рукой отрезала любительской колбасы. — А ты, если хочешь, иди. Я сама тут упрашивала. Только пекчу проверь, не то угорим.

Петр Иванович машинально возвил стакан по кленке:

— Мне ведь Лиза, что думаешь, выпивка эта нужна? Я ведь, если по совести, поглядеть на тебя хочу.

Лиза не удержалась от смеха:

— Да чего же на меня глядеть? — Но, довольная, украдкой подмигнула Тане: вот, мол, дает старик. — Да и глядеть-то вам на меня, поди, поздновато? А, Петр Иванович?

— Вот ты какая. Да я не про то-о... — он покраснел даже, — тоже мне, выдумала. Я ведь, что сказать-то хотел. С лицаально похожа ты на одну... Вот гляжу — она и она. Под Рогачевом это было, зимой. Снег вот так же валил...

— Ты закусывай, Петр Иваныч, а то захмелеешь, про записочку мою забудешь.

Но он говорил монотонно:

— Они у нас, Лиза, телефонистками были. Две молоденькие такие...

Отхлебнул из стакана. Лиза слушала, с тоской глядя по сторонам.

— ...Первый летом погибла, в июле. На мине по-

дорвалась в лесочке. Прямо рядом с КП. А вторая... Вторая вроде тебя была, отчаянная какая-то... — Он помолчал. — И без нее мне, Лиза, не было света.

Лиза опять подмигнула Тане украдкой. Но та отвернулась, раскрыла дверцу печки. Красные отсветы засияли у нее по щекам.

— Да ты послушай, — вдруг поднял взгляд Петр Иванович. — Дай рассказать... Так вот, значит... Это как раз в зиму было, в такое вот время под Рогачевом. У нас связь порвалась. А народу в обрез. Поплыть некого. И пошла она сама, голубка моя, по проводу ко второй батарее... Тут, Лиза, немец как раз в атаку. — Он смолк, вспоминая далекое. — Да... Пошел немец в атаку. И, вершил сердце?.. Накрыл я ее своим же огнем, родимую. Своим же огнем... Она по линии шла, как раз на втором километре, где немец пошел на прорыв... А была она уже на третьем месяце, Лиза. Все никак не хотела в тыл от меня уезжать: «Не поеду», — говорит, — пока не заметят. И как я тебя одного оставил?.. Эх, Лиза... Эх, Лиза, Лиза...

Таня замерла у печи. Стalo слышно, как потрескивают дрова. Лиза встала и пошла скорее к кладовку — бумагу искать. А как же — дело есть дело. И, может, момента больше такого не будет.

Он не поднял головы, слышал, как, постукивая каблучками, та скрылась за скрипнувшей дверью. Помедлил, потом выплыли деньги и, тяжело поднявшись, двинулся к выходу. Повторил на ходу:

— Своим же огнем... А сам вот живу... у дверей долго одевался, не мог попасть в руки кафа оттавшего плаща.

И было слышно, как угли шурша падают в поддувало.

Из кладовой выскочила Лиза с бумагой в руках:

— Да куда ж вы, Петр Иванович?

Но он распахнул двери и, скрипя ступенями, молча ушел в белый мороз.

Лиза стояла растерянная.

— Господи, с чего это он? — Помострела на деньги, на Таню, сидевшую на корточках у печи. — Может, ты чего сказала?

Лиза молчала с красным от жара лицом.

И Лиза испугалась, крикнула:

— Почему он ушел? Ты чего ему тут сказала?

Лиза упрямо глядела в печь.

— Я тебя спрашиваю, — подскочила Лиза. — Что ты ему сказала? — Она теребила в руках сложенный листок. — Ну вот что, девушка. Хватит с меня твоего характера. Завтра можешь не выходить. Всего хо-рошего.

Таня поднялась. Медленно пошла одеваться. Но остановилась и поглядела мимо Лизы в пустой и прибранный зал:

— Я сказала ему, что он ничего не писал тебе. Никогда ничего не писал.

Ночь была тихой и звездной. Белые крыши домов сияли. Блестела под лунным светом укатанная дорога. И по этой дороге, по морозцу бежала домой через весь поселок Таня. Вот и кончился ее первый рабочий день — День артиллерии.



Иса КАПАЕВ

ВЫДЕРЖАЛ...

РАССКАЗ

Всё во мне напряжено до предела, и вдрабавок я зол. Голова раскалывается, тело ноет. Я разогречься работой, а еще и солнце обижает, словно задалось целью и вовсе спалить. Кожа стала липкой от пота. Я знаю, что к кончи она покроется волдырями и несколько дней будет сечься и облезать. Да и сейчас, когда древесная пыль слетает с досок на потное тело, кожа зудит так, что нестерпек. Но останавливать работу нельзя.

Раздражает невозмутимость моего напарника Толи Коконашвили. Коко — так прозвали мы его. И даже не столько невозмутимость, сколько выносливость — он покречеет меня. Толя все время вкапывает и молчит, и я тоже подложиваюсь к нему, помалкиваю. Даже о том, что содрана кожу на большом пальце, — ни звука, обнаруживает свою слабость считаю уничижительным. Сам виноват: куда-то задевал рукачицы, теперь не выйдет. Такой уж я нескладный, что-нибудь отряхнется со мной обязательное. Это, конечно, ерунда — пальца слушается и похлестче.

...Привезли долгожданный лес для нашей бригады. Спазеранку подняли всех. Было еще темновато. Холод и необычная тишина. Бригадир повел нас с Толей в столовую, где ловара только еще раскачивались. Дали нам простоквашу и отправили сюда, на лесосклад. К вечеру, до прихода смены, лес должен быть доставлен к пилораме.

Ардская работа. На двоих — вагон бесштоловка сваленного леса. И какого!. Сороковка, пятидесятка шестидесятка и даже семидесятка. Лес свален вдоль насыпи, да в таком беспорядке, что иные доски концами вонзились в грязь, а другие закинуты: высоко чуть ли не к самым рельсам. Мы примериваемся бродим вокруг груды досок, с трудом вытаскиваем оттуда по одной.

Лениво слоняющиеся вокруг складские рабочие подходят к нам.

— Чего из кожи лезете? — кричит кто-то из них.

Мы с Толей молчим. Будь они в нашей бригаде поговорили бы тогда по душам, думают про себя Види, что мы на них ноль внимания, они усмехаются и уходят.

Почти неделю простояла наша бригада в ожидании леса. Я сам — никудышный «рабочтаг» — и то скучал, когда нас, чтоб не разболтались, посыпали на всякие подсобные работы. Хотелось, поскорее увидеть результат своего труда — зерногхранилище. Я и сейчас уже горд тем, что вложил в эту громадину свою долю. Скорей бы сдать под «ключи»! Ни лес, чтобы мы так ждали, не поступал.

И вот наконец! Нас двое — а леса гора. Отступать поздно. Во что бы то ни стало надо спрятаться с этой горой.

Солнце высоко, раскалено добела. Смотришь — и воздух словно бы дрожит, дышать тяжело. Скорей обед. В пояснице боль, которая разливается по всей спине, если нагнешься.

Наступает момент, когда мне наплевать на все хочется лечь прямо на горячую, серую землю и не думать ни о чем.

С Толиком мы разговариваем мало. Он большею частью молчит, только сопит и выкатывает глаза от натуги.

— Ох, эта дьявольская лиственница, пропади она пропадом, живот недорвешь, — вырывается у меня, когда я снова берусь за сырую порыжевшую доску.

Толик молчит, будто не слышит.

Ладони мои покраснели, загрубели. Вот уже скоро год, как я здесь, а руки никак не привыкнут. Опять натер мозоли, появились ссадины. Мозоли

еще победы, а вот занозы... Вытаскивать их нет времени, стараюсь не думать об этом.

В семь-восемь слов можно уложить доски в кузов «ЗИЛа», перевезти в лесопилку и сбросить у входа. Вагон леса — это шестьдесят кубометров.

А Толик все молчит. Этого начинают беспокоить, что я могу поделать — молчун, он, и все.

— Коко, ребята сейчас на обед подались, а у нас еще вон сколько. Не кончим, — еле переводя дух, нарушив я тягостную тишину.

Он не отвечает, а ловко выволакивает доску под гроток скользящимися «следами» за ней. Я хватаю другую конец доски и побудорев прижимаю к животу. И лишь когда доска в кузове, Толик переводит дух, улыбается. Понимает, что я изнемог.

— Скоро и мы пойдем. Пока солдаты здесь, надо кончить, — говорит он на ходу.

Его лоснящаяся спина вновь сгибается, и он выбирает доску, вытаскивает, разворачивает остальные, и скрывают с нее древесную пиль. И опять я берусь за другой конец. Сырая лиственичница! Покачиваясь от тяжести, таски доску к машине. Толик напрягается, буграми проступают твердые мускулы.

Наконец-то семья — слюва — в машине. Я облегченю вздыхаю и забираюсь в кузов. Ни лица Толи ничего не прощечет. Оно почти никогда не меняется: серые круглые глаза, тонкие ржавые брови, сведенные острым углом к переносице. Рассмешить его трудно, да и смеется он чудно: кивая головой и сплюнув зубы — не смех, а осколок какой-то.

Хорошо, что рядом солдаты, они тоже работают на складе, как и мы, заготавливают лес для своего объекта. Но из много, человек двадцать, им весело.

Машина останавливается недалеко от входа в лесопилку.

— Эй, служивые! — кричу я. — Наваливай!

Мы с Толей придумали свой способ разгрузки. Осуществить его нам помогают солдаты. На свисающие с кузова концы шестиметровых досок кладем одну самую широкую и, плотно прижавшись друг к другу — членами, десятья — становимся на нее. Та часть досок, на которых мы стоим, опускается вниз, на землю, а передняя вздымается вверху. Машина подается вперед, доски грохочут на землю, и кузов сразу пустеет. Доски же лежат ровно, штабелем.

— Ура! — дружно кричат мы.

И снова едем к железной дороге.

И опять все повторяется...

Обедаем всухомятку: кефир, колбаса, хлеб. Зато необыкновенно вкусно. Съедаем все до последней крошки, запиваем колодезной, ледяной водой. В здешних местах рек нет. С тоской вспоминаю свои родные горы, свой маленький зеленый городок на берегу быстрой Кубани. Вспоминаю родителей, свою школьную парту, свои любимые книги, вспоминаю друзей. Жалею о том, что осталось там, за несколько сот километров. Жалею, что романтика завлекла сюда, в эту жуткую полустепь.

Толик хлопает меня по животу, когда я опустошаю одну за другую три кружки воды.

— Заметь, камрад, чем больше пьешь, тем сильнее хочется пить, — говорит он.

Со школьной скамьи Толик запомнил несколько французских словечек и не пропускает слuchая словно бы не напароком козырнуть ими.

Выходя из бытовки, я пытаюсь улизнуть. Укладываясь за бревнами в тени, подставляя спасибо. Но не лежится, кожа зудит. Сажусь, и тут подходит ко мне Толя. Нашел все-таки. Молчит, не догадывается, что я так хотел хоть ненадолго оторваться от него.

Садится рядом, опирается спиной о бревно. Бревна заслоняют от солнца. Безветренно и прохладно.

— Лучше бы колол я сейчас фундамент со всей бригадой, — рассуждаю вслух. — Думал, может, тут полегче, и главное, интереснее! Люблю дорогу, особенно стоять в кузове, подставляя лицо, ветру, и смотреть, смотреть безотрывно на древнюю науш ногайскую степь. Собственно говоря, эта степь и примианила меня сюда тем, что древняя. Когда ехал, мечтал: поскаку по стели на лошади, табунов, небось, там не счесть. А лошадей тоже не оказалось. Единственный транспорт — грузовик... Вот сейчас мечтаю о лошадях, а были бы — наверно, быстро наделали... Тянуло в степь — ну, вот, и любуйся теперь этой степью! Много в ней, конечно, хорошего, но пригрелось уже.

— Работа — она везде, работа — закурила, бормочет Толя в ответ на мою реплику. — Ты ведь не отыскался сюда ехал?

— Понимаешь, не знаю, как сказать. Мне нужны два года практики, чтобы в институт податься. Хочу на факультет журналистики. Только прежде надо самому понять, на что я гонусь, чего стою. Теперь все, привет! Узнал, почем пудсоли!

— Не узнал! — угрюмо бросает Толя.

— Ну, а ты зачем здесь?

— Тебе это не понять!

Не понимаю, что могло его привлечь в таких неуютных местах. Неужели крановщика его здесь держит?

— Работа тебе нравится? — продолжаю я допытываться.

— А что, неплохая. — Толя глубоко затягивается.

Пожимаю плечами:

— Сидел бы в своем Батуми и торговал мандаринами!

— Молчи, пистолет. Яйцо курицу не учит, — разкошмуривает он. Пыхтит; видно, что сердится.

После некоторого раздумья прихожу к тому же: Найме, крановщица, ему нравится, мужа из-за него бросила.

Никто не знает, что за человек Коко, да и я не разберусь в нем. Вот уже второй месяц работаем вместе, второй месяц живем в одной комнате, в общежитии. Дома он почти не ночует. У Найме. Говорят про него — злой, нелюдимый. И впрямь с налета не разберешь, что там за его сухостью, молчаливостью. Мне он сделал много хорошего. И все бескорыстно. А почему делал это, не знаю, не понимаю. Я таких людей встречал редко.

— Устал! — наконец спрашивает он, натягивая свою кепку на брови.

— Еще бы!

Снова молчит. Я чувствую, перекур наш кончается. Чтобы продлить его, пытаюсь отвлечь Толю разговором.

— Ну, чем тебе эта волынка нравится? Пашешь, как вол. Лучше бы стучал на своем барабане где-нибудь в ансамбле... опять завожу я свое.

У Толи действительно есть барабан (в армии он играл в ансамбле), и сейчас придет с работы, умоется и сразу сядет, «стучит». Не зря говорят, что грузины — народ музикальный. Я иногда даже пляшу под барабан, ему это нравится, и он входит в раж, надает до тех пор, пока не валишь с ног.

— Ансамбль — это отдых... А без работы нельзя. Погибнешь без работы настоящей! Запомни, пистолет!

— Да брось чепуху городить! Если бы не Найме, давно скажал бы отсюда! — Пытаясь как-то смягчить свои слова, я улыбаюсь.

Он сдвигает брови.

— Про Найме и пикнуть не смей! Сам разберусь... Сам. Ясно тебе?

— Да, Найме трогать нельзя. Помню, гроза здешних мест — Тагир, с шеей, как у буйвола, со смуглым, лоснившимся от пота лицом, громко произнес на весь клуб, нагло уставясь на Толя, который стоял рядом с Найме: «Потаскав развелось в поселке! Не стыдься на люди показываться. Тыфу!»

Толя рванулся к нему, схватил за горло. Тагир повалился на пол, а Толины руки, как клаузы, все скимали и скимали обидчика, пока тот не прокричел: «Прости, Толя, я это так, к слову...»

— Вставай! — говорит мне Толя. — Пора!

После перекура еще трудней. Нес дое, а досок по-прежнему тьма. К пяти часам нужно кончить. Так решил Толя. В такие минуты я жалею, что он напарником у меня. С другим можно было бы сажать, а с ним нет, не получится.

Я даже забываю, что он единственный, кто со-гласился взять меня пургой. Другие вечно корилят за неловкость, за неумение. А он только спокойно укажет, где что не так: «вобью ли гвоздь мимо — пойдёт, вытащит и сам забьет; закинет пилу — газмы поведут, гляди, мол, учись. А другой обматюгая бы, прогнал. Крою я его, конечно, про себя, не по душе мне его старательность, хотя я и сам утром был настроен вкалывать в полную мощь.

Руки еле удерживают доску. Пальцы разжимаются. «...Солнце свернуло на запад. Досок осталось совсем немного, на одну машину. Солдаты тоже кончили работу. Вижу, как они отряхивают пыль, лягутся по очереди у бака с водой. Смотрю на воду, лить хочется, во рту пересохло.

Только сейчас я разглядел шофер грузовика. Стоит в стороне, привязавшись спиною к бревнам, курит. Все-таки не совсем бесовестный — стыдится, ведь мог же хоть немногого помочь.

Солнце уже на западе, но все так же высоко.

Осталось несколько досок, но их надо вытащить из-под гнилых и помоховых, негодных для распилки.

— А вдруг эти тоже гнилые? — умоляюще смотрю я на Толя: может, не стоит возиться?

Толик, не отвечая, ворочает гнилые доски. Ну, зачем они ему нужны, ну пусть останутся тут вместе с браком. Вечно из коки лезет!

Наконец-то все! Я плюхаяюсь в кузов, прямо на доски, не щадяще уже ни боли, ни усталости. Принятое тепло разливается по телу. Толик садится рядом со мною, закуривает. Я, закрыв глаза, слышу его глубокое, ровное дыхание, живо представляю выражение его лица: серые круглые глаза запали, ушли глубоко в глазницы, рыхкие брови нахмурены, сошлись воедино, из-под козырька кепки стягивает крупными каплями пот.

— Вот это показали мы класс! — изрекает вдруг Толя.

Я, приоткрыл один глаз, взглянул на него. Ульбка не ульбка. Губы плотно скаты.

— Так можно и в могилу лечь... устало говорю я.

— Ничего, крепись, Темир! Как это у русских: дергись, казак, атаманом будешь!

— У нас тоже так.

— Когда я служил на Севере, — продолжает Толя, — и не такое бывало. Долбим землю, а она вся — лед. Пальцы обмораживали, но работали. Стоял будешь — вовсе примерзешь... — Он достал сигарету, затянулся. — Я тогда был такой, как ты. Ленивый был, неумеха. Не знал и знать не хотел, что человек — сам хозяин своих желаний. Жизнь, брат, учит. Жизнь — это не папина хата и не мамин дом. Ясно тебе, пистолет?

Меня занимало совсем другое, но разговора о том, что всерьез воювало, не получалось.

— Коко, ты Найме любишь? — вполголоса спросил я и, не дождавшись ответа, так же тихонько продолжал: — Да, она красавица. Таких в поселке, пожалуй, и нет.

И сразу перед глазами возникла молодая полиноватая женщина со смуглой гладкой кожей, с черными, как сливы, глазами, с озорным взглядом.

Помню, до Толика многие на нее поглядывали, да и сама она давала тому повод своими шутками. Ну, а как сблизилась с Толей, тихой стала, обаяченной.

— Мужа ее видел, — продолжал я, — неплохой человек, только зря на ней женился. Хлюпик и к тому же гордец. Не по зубам ему она.

Я замолк. Лежак не шевелясь, только приподнял голову, чтобы услышать ответ Толи. Он, задумавшись, смотрел вдаль.

Солнце снижалось на западе, тучные белые облака же летели.

— Любишь — не любишь... — как-то неопределенно промолвил Толик. — Красивая-то она, конечно, красавица... Северовская. Мужа ее жалею. А она нет. Я люблю ее, и она меня. И муж тоже ее любит, только слабак он. Уникается перед ней, перед нами. Не мужчина. Такие сцены закатывает! Умоляет меня уехать. А мне здесь все по душе. И степь, и поселок, и люди хорошие. И Найме — самая лучшая! И работа, отличная, хотя и трудная. Да, ведь и жизнь нелегкая!

Я с удивлением смотрел на него.

— Чем же тебе степь так понравилась?

Впрочем, зачем об этом спрашивать. Вечерами я сам не могу усидеть дома, выхожу и бреду куда-нибудь по проселку, что ведет в соседний аул. Брошу, пока не стемнеет, и только ношу возвращаюсь на попутной или на арбе с какими-нибудь стариком. Наверно, и мне нравится степь, ее бесконечный простор, ее древние курганы, покой и тишина, ни на что не похожий запах — запах тысяч трав... А может, просто хочется побродить одному...

Подумать о себе, о тех, кого встретил здесь, о том, как рассказать о них людям.

— Степь, она и есть степь, — поразмыслив, сказал Толя.

— Так легко на вопросы отвечать! — разозлился я. — Ты степь-то хоть видел?

— Видел, да! — Лицо его сразу меняется — Сайгака видел, Wolfe! Во время бурана в степи с Найме были, все видели! — Выпученные серые глаза наливаются кровью, сверлят меня, рыхкие брови взлетают к вискам. Он говорит громко и усаживаетяся поудобнее на скрещенных ногах, точь-в-точь ногайский старик на тахтамете!

— Ну ладно, ладно... — успокаиваю его я.

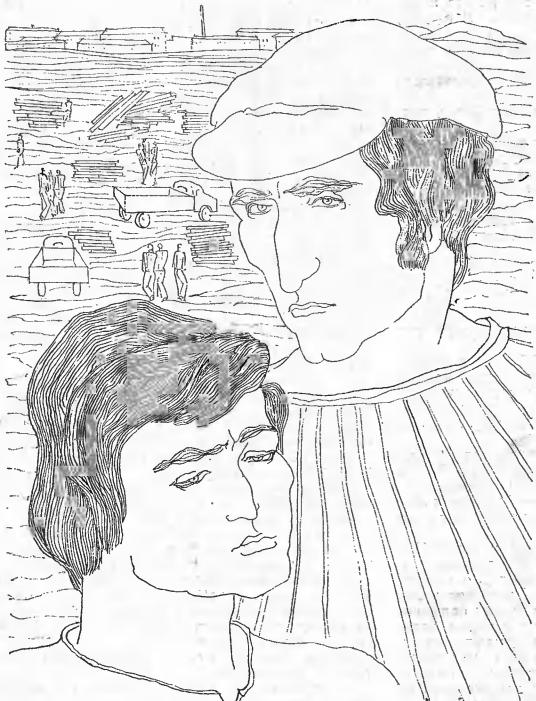
— Ладно! — возмущается Коко. — Пистолет!

Пистолет — так окрестил он меня. Я тоже находил ему прозвища, но ни одно не прилипало к нему. А как мне в бригаде иначе и не обращались, может, потому, что моложе всех. А его никто ни «Коко», ни «кацо», а все Толей.

Толику тридцать лет, мне восемнадцать. Возможно, я еще не простился с детством. Помню, недавно устал — подавал воду на бетономешалку, — пошел курить за цементный сарай, сел на траву и заснул. Искали добрых четыре часа, потом нашли спящего, дали ногаюн. Вот после этого Толик и забрал меня к себе в плотники. И сразу жизнь изменилась.

Почему меня именно взял, не пойму. Наверно,

1 Тахтамет — лежанка из досок наподобие топчана.



жалеет. А я у него многому научился. Хотя бы самым простым вещам — держать топор в руках, ноговку. А кроме того, я теперь верхолаз, приходится работать и на самой верхотуре. И все-таки лишь один Толик доволен мною, а остальные — я это вижу и чувствую — гадают: с чего, мол, этот «сачок» прибился к нам? Бригада вроде — один механизм, а я как расслабленная гайка в том механизме. Сказать мне это не скажут, потому что знают: если заденут — полезу драться. На днях мы приподняли деревянную балку над центральными воротами зернохранилища. Я стал балансировать на ней, выделяя взвозможные трюки. А высота причинная, четыре метра. Делала ласточку и вдруг слышу: «Все вкалывают, а он цирк открыл. Толя, хоть бы ты ступнул его».

Радость моя испарилась мгновенно. Спрыгнул на землю, не зная, откуда у меня только смелость взялась — высота-то какая, — подскочил к парню и скатил за широку.

— Может, ты стукнешь? — И, сделав подсечку, повалил его на землю, стал трясти.

Он был старше года на три-четыре. И смотрел на меня всегда с противной ухмылкой. Я тряс его

изо всей силы, а он даже не сопротивлялся. Сам не понимаю, откуда взялось у меня столько злости. Задело, видно! Хорошо, что Толик растянул нас — иначе не знаю, чем бы кончились.

— Бешеный! — прошипел, уходя, парень.

Толик вступился за меня, когда дело дошло до бригадира. А то, может, и не было бы уже меня здесь...

...Я задремал и не слышал, как машина подъехала к лесопилке.

— Вставай! Бригадир! — тормозил меня Толик.

Вылезаем из кузова и видим, как из крытого брезентом «газика» выскоил наш ведущий бригадир Виктор Иванов.

— Ну, как, Толя, переташили? — крикнул он еще издали.

— Перетащили.

Бригадир заглянул под навес, затем побежал к железнодорожной дороге — все своими глазами увидеть надо!

Виктор удивляет своей энергией. Он и мастер, и начальник снабжения, и начальник участка — все в руках у него, за всем успевает проследить и даже в свободные минуты с мастерком в руке на кладбище стоит. В бригаде у нас сухой закон. Сорок человек — и ни одного не встретишь нетрезвым. Даже в воскресенье. Просто в бригаде почти нет, снабжение отличное, и заработок — самый высокий в районе. Вот все к нам и тянутся.

Летом у нас «жаркий сезон». Зимой же из-за годами немного сделавшь. Вот тут-то и надумали мы работать по воскресеньям. Зато отпуска два месяца.

Старики в поселке нашего бригадира нахваливают: один три работы делает, и рабочие у него такие же.

А вот Булатов второй год Дом культуры строит. И мастер есть у него, и сам прораб, и начальство районное с утра до вечера окончавшись, а толку что? Не зря говорят ногайцы: когда пастухов много, овец не досчитаешься...

Булатова и я знаем. Набрал в бригаду своих родственников. Это у нас практикуется: родовой закон еще в силе. Про это старики молчок... По их мнению, как раз хорошо. А что хорошего, если у Булатова подчиненные — почти все родственники и руководят им свои же, родственники. С него ничего не спросят, и он с ним тоже. Так-то вот!

— Сколько гнилья подбросили! — подбегает к нам Иванов. — Я им покажу, гадам! — кроет он поставки леса.

Мы с Толей поднимаемся с земли.

— Заморились?

Молчим. Я совсем и забыл про усталость.

— Смена не приехала... У нас там работа кипит, фундамент под общежитие заливают. Я комнату вам в гостинице снял. Завтра сполна отдохнете...
— Чего — вскинулся я. — Значит, оставаться здесь на ночь?

— Ну, ребята... — Виктор занялся и просительно посмотрел на нас. — Нужно...

— Продолжай, Витя, — твердо сказал Толик, укоризненно взглянув на меня.

— Толя, и ты, Темир, большая просьба к вам... Оттуда я не мог снять людей. Сегодня они кончат заливку, завтра сразу за цоколем, пора уже там во всю начинать стройки. А я сейчас договорюсь на раме, и вчера же зерноклад под ключ. Курить будете?

Мы взяли по сигарете, закурили, и все трое сели на доски.

— Ну, как «пистолет» работает?

— В ударе! — И Толя подмигнул бригадиру.

— Насчет учебы не передумал?

— Нет.

— Правильно. Журналистом будешь? Теперь уже точно!

Я удивился, откуда он знает. Об этом я рассказывал одному Толику. Наверно, обсуждали меня, и Толя защищал. Я и сам не верю, что решусь пойти в журналисты. Это просто мечта. А Толя верит, что она сбудется. Иначе бы не сказал Иванову. Мне стало неловко.

— Учиться — это здорово! — продолжал бригадир, как бы не замечая моего смущения. — Я свои студенческие годы лучшим в жизни считаю... — Он окончил строительный техникум. — Ну, мне пора! Вот деньги на еду, Толя. Идите ужинать, а за работу.

...Пилорама жалобно воет, и пилит, и пилит. Под навесом роем кружатся опилки. Пот медленно стекает по лбу. Прокладно, а тело горит. Я в спечовке, чтобы опилки не попадали на обгоревшую кожу. Но и сама спечовка колкая, и за ворот попадают опилки, липнут к телу. Усталости не ощущаю, только голова передышками — сразу же немеют пальцы. Как угоревшие таскаем доски со двора под навес. Рабочие уже дважды пытались выключить пилораму и уговорить нас отдохнуть, но мы упросили их не делать этого. Трудно потом набрать темп.

Чувствую, как вадулись у меня на висках вены. Успевало удивляться самому себе: откуда только взялись силы? Переносим все те доски, которые днем с таким трудом загружали в машину.

Небольшой пучок света, проникающий из-под на-веса, еле освещает доски. Рабочие требуют, чтобы мы давали по сортам: сначала шестидесятку, затем пятидесятику, сороковку и т. д. Это осложняет работу. Под навесом складывают несколько штабелей. Толя не сопит, как обычно. Его круглые глаза еще глубже ушли в глазницы. Зубы, как и у меня, стиснуты.

Выбегая из-под навеса, стараюсь посильнее вдохнуть воздух и на миг успевая заметить звездное небо и луну с пол-лепешки. В сознании мелькает, что эта половина лепешки не дожарилась и поэтому такая бледно-желтая.

Впереди идущий Толик поскользнулся и упал, не выпуская доски.

— Что с тобой? — кричу я испуганно.

Он тяжело дышит:

— П поскользнулся! — и, выругавшись по-грузински, вскочил на ноги.

Пилорама воет бесперебойно. Мы носимся туда и обратно. Нос заложило пылью, и дышать трудно. Перед глазами мелькают красные круги... Припоминаю: когда болел, про себя играл в шахматы.

И сейчас перед глазами шахматная доска. Напряженно, сам с собою играю. Хожу за себя и обдумываю ход противника, хожу за него и обдумываю свой ход. Так без конца.

Хочется домой. Хочется привлечь на диван и взять в руки книгу. Ну, хотят учебники ботаники, по которой вечно получал двойки. Хочу протирать листья на физике, чего не любил никогда, хотя отец заставлял заниматься этим. Хочу взглянуть в добрые глаза матери. Хочу, чтобы она поглядила меня по щеке и сказала: «Эх ты, бестолковый!». Зачем мне нужна была эта романтика!. Однажды в кино на экране я видел, как заревел какой-то бородач, и мне стало противно. Нет, я выдерну до конца. Сейчас или никогда! Или никогда у меня не будет получаться, или выдержу! Разве не нашел я себя? Нельзя же оставаться вечно лапшой. Нельзя жить по закону: «Я так хочу!». Если не выдерну сейчас, значит, и потом не выдержу. У Толика совесть и душа чисты. Потому что он трудится. В марте брал отпуск, но не смог и неделю усидеть дома, снова попросился в бригаду. Чтобы мне стать таким, надо сломать в себе многое. Надо выдержать! Я выдержу! Я докажу и себе и Толе!..

Ноги уже сами несут туда и обратно. Мы, как заvodные, не обращаем внимания на то, что рабочие выключили раму и сидят закусывают. Зовут нас. На ходу отвечаю: «Некогда». Они смеются. Мы тоже пытаемся смеяться. Но на смех сил не хватает.

Опилик роем кружатся на свету. Наконец-то уже некуда складывать доски.

Рабочие включают вторую электропилу. Вой усиливается. Теперь мы с Толей у электропилы, оттаскиваем готовые бруски и реики за навес.

Круги вновь возникают перед глазами. Опять шахматная игра. Замечай, что и у меня и у противника фигуры одного цвета — белые. Почему?..

Рейка выпадает из-под пилы. Беру ее и чувствую, что реика тяжелая. Наверно, та самая сырья лиственица. Возвращаюсь к раме. Двигаясь, ползет по станку новая реика, и вновь шахматная игра. Почему фигуры одного цвета?..

Так до рассвета. Таскаем неразрезанные доски, относим разрезанные.

И вот последняя доска... Пилораму выключили. Ничего не понимаю. Тишина режет слух.

Толик скидывает спечовку, я машинально следую его примеру. Потом встречаемся глазами. Я подхожу к Толе и обнимая его... Толик молчит, понимает, в чем дело... Так, обнявшись, и валимся на кучу опилок.

...Вижу красное небо. И земля покраснела, деревья. Даже рыжие волосы Толи стали красными. Смотрю на свои руки и вижу, как в венах трепещет красная кровь. Хочется кричать, плакать, но что-то удерживает и, кажется, удержит насвегда. Опять шахматная игра, за секунду делаю с противником несколько ходов. Почему фигуры одного цвета? Швыряю куда-то в пустоту шахматную доску...

Слыши приглушенный, далекий голос Толи: «Очнись!». Но глаза невозможны открыть, слиплись. Мышленно представляю лицо Толи: серые круглые глаза, синие зубы. Жилку, напитую кровью, на переносице. Вижу, как пульсирует в ней кровь. Хочу дотронуться до этой жилки. Боюсь, что это причинит ему боль. Протягиваю руку, пытаюсь дотронуться — ускользает из-под пальцев. Засыпаю...

Выдержал!

Авторизованный перевод с ногайского
Т. СМОЛЯНСКОЙ

Валентин Сорокин



Росчерк на облаке

1.

Едва поднимусь я с подушки,
И солнце — в окошко лавини.
И слышится голос кукушки,
Такой одиноко-невинный.

Кукушка, не ранняя птица,
Откуда взялась ты весною?
Едва пробудились границы,
Замкнувшие царство лесное.

И заснекъ пестреет в оврагах,
И в сплакоти тонут ботники.
Земля наливается брагой
В каком-то глухом поединке

С зимою откившей, с морозом
Ослабшим и, видимо, чует,
Что первые легкие грозы
За ширы окопы ночуют.

Откуда взялась ты, кукушка,
Нарушив природы законы,
А может быть, просто подушка
Твои нащептала мне звоны!

Продрог я и сердцем и телом,
Веселая молодость, где ж ты?
Кукушка в лесу опустелом —
Как песня тоски и надежды!..

2.

На травы повыпали росы,
Цветы занялись медоносно.
И вот зашумели березы,
Всюю заупружили сосны.

И дятел затукал хохлатый,
Дрозды озорно загадели.
И дождь, удалой и крылатый,
Крутился подобно метели.

Скатилось громовое лето
Вдоль просек, больших и высоких,
И красные вспышки рассвета
Сверкнули и сгасли в осоке.

И озеро зыбко вздохнуло,
Заискрились рыб изумруды.
И жарким кукушечным гулом
Луга налились и запруды.

Кукушки, в России кукушки,
Пронзительно, радостно, колко —
В садах расписной деревушки,
В освеженных рощах поселка.

Чудесная музыка тайны,
Огонь словоливных куплетов,
Как будто у чайной случайно
Сошлися и запели поэты!..

А может, творится в Отчизне —
В падонах и взгорий и пашен —
Великая музыка жизни,
И смерти, и вечности нашей!

Кукушки, кукушки, кукушки,
И звонь, и звонь, и звонь...
Стреляли когда-нибудь пушки,
На фронт проносились вагоны!

3.

За маем, июнем, июлем
Заявится август гластый.
И первые градины пурей
Прощают позолоту, ну, здравствуй,

Внезапная русская осень,
Калина зарделась! И поле
Дымится кострами, и просит
Снегирь Холодаевич воли!..

Взъерошены сойки-простушки,
Озябнул осиновый колон.
И кажется, голос кукушки
Рыдает на владинах голых,

Во рву глухомани открытый,
На склоненных долах, на речке.
И ветер рябой деловито
Считает листву на крылечке.

И храбрый космический летчик,
Корабль на Венеру ведущий,
Оставил мерцающий росчерк
На облаке, к морю плывущем...



Я любил тебя нежно, без печали и боли,
Так, что рдело цветами наше русское поле.

Я любил тебя щедро, так что в летние
грозы
На тропины свиданий ливнем падали
росы.

Я любил тебя гордо, так любил, что метели
Над твоей головою расставание пели.

Я любил тебя страшно, так любил,
что однажды
Задохнулся от горя, как в пустыне
от жажды.



А в сентябре
От ветра не согреться
Остепенелым,
Жгученным отнем,
Осения
Невысказанность сердца
Гнетет меня
Остreeс с каждым днем.

Лишненная надежд
И постюниста,
Расставшаяся рано
Со слезой.
Ты не смогла войти
В мои пространства
Ни облаком,
Ни ливнем, ни грозой.

Перед тобой,
Такую многолицей,
Хоть думы и черны
И глубоки,
Я выставил
Железные границы
И все ворота
Запер на замки!

Наш день упал
И тихо потухает,
Крылом багряным
Глещет он из тьмы,
Вокруг него
Топлятся и вздыхают
Языческие
Идолы-холмы.

Я не припомню
Ни полей, ни сада,
Сладка твоя рябина
Иль горька...
Вон сквозь ночные
Стрелы звездопада
Рыдающая
Катится река.



И тебя, о ком я горевал.
Называет кто-то дорогой.
Вот он, ледниковый перевал,
За грозой,
за ливнем,
за пургой...

Не сверкают росами следы
Глореди доверчивы берез.
Наши белокронные сады
Отряхнул и выступил мороз.

Кланяясь пролетным журавлям,
Мимо леса, что печально пуст,
Ты идеша по выжженным полям —
Золотая, как осенний куст.

Ты свободна, действуй и дыши
Нежностью иль ревностью к нему.
Снежную печаль моей души
Я не дам нарушить никому.

Леонид Григорьян



Ночь в феврале

Я помню все наперечет:
Развалины, и вьюгу,
И тыловой грузовик,
Нас увозивший к югу.
Казалось, лютая война
Планету сокрушила.
Лишь мы остались да она,
Живучая машина...
Она нащупывала путь
Найти и везеня.
Она везла в куда-нибудь,
В забвение-спасенье.
Тянулись к ней из темноты
Вдоль заповедной тропки
Могил невидимых кресты
И светомаскировки...
Пустынnyй город провожал
Нечастными отгнями.
Уже дышал еще лежал
Под снегом, под камнями.
Не шли прощальные слова.
Но крепло за спину
Неукротимого родства
Дыханье ледяное.
Над средоточием скорбей
Звезда обозначалась,
И ледяная колыбель
Качалась и качалась.
Построю новое жилье,
Но это все со мною,
Но это самое мое
И самое родное.



«Ах, собеседник мой, ты где,
Мой соломальчик!..»

Глеб СЕМЕНОВ

Я друга узнаю — с намека, с полуслова.
Дыханью и жилью лишь он один — основа.

Узнаю по руке, по плачу и по смеху.
По первой же строке. По голосу. По эху.

По следу на земле и по окошку ночью.
По знаку на челе, невидимому прочим.

Руками сбояму — в метели и в тумане.
Аукать ни к чему — душевное вниманье.

Сам не пойму сперва: раздумье или клявва
Тишаине слова, помноженные на два.

Я есть, покуда есть союзник-собеседник.
Была бы только весть для дальних
и соседних.



Эдуард
БАБАЕВ

Рисунки
В. ШАПКО.

РАССКАЗЫ

1. Благородная Бухара

Хакими давно приглашал меня приехать к нему в гости в Бухару.

— Я покажу тебе город, как никто! — говорил он.

И в самом деле, лучшего гида невозможно было себе представить.

Хакими был историк. Читал и говорил на многих языках.

Он был человек стремительный. И я никогда заhim не поспевал.

Ему казалось, что я слишком долго собираюсь. Благородная Бухара!

Наконец, я сел в поезд и отправился в путь.

Хакими встретил меня на вокзале.

— Я живу возле облнона,— сказал он.— Во дворе... Мы доехали до города в такси и пошли по узким улочкам.

Голубая башня плыла над нами на ужасающей высоте.

— Этой башне восемьсот лет,— сказал, не оборачиваясь, Хакими.

Я загляделся на эту высоту.

И вспомнил, что Ходжа Насреддин сравнивал минарет с колодцем, вывернутым наизнанку.

Я хотел сказать об этом Хакими, оглянулся, но его уже не было рядом со мной.

Я потерял его из виду, потому что никогда за him не поспевал.

Узкие улочки были все похожи одна на другую. Сначала я растерялся. Потом решил ждать, не сходя с места. Возле минарета, похожего на вывернутый наизнанку колодец. Хотя бы пришлось ждать восемьсот лет!

Каменные плитки минарета, плотно пригнанные друг к другу, образовывали совершенную поверхность. Взгляд скользил по ним до самого верха, нигде не останавливался.

А внизу лепились глиняные и каменные домики с узкими маленькими нишами, оконками и гнездами ласточек.

Я сел на чемодан и стал разглядывать прохожих. Некоторые из них здоровались со мной. Не потому, что были знакомы, а просто из вежливости.

Но Хакими!

Так и будет мчаться вперед, разговаривая с самим собой, покуда кто-нибудь не спросит его: «Дэсторнейши, с кем это вы разговариваете, если не скрет?»

Небо, полное горячего воздуха, казалось красноватым. И плотным, как грунт. Даже слегка потрескавшимся от зноя. Я стал припоминать то, что было восемьсот лет назад... И улетел в такую даль, что перестал замечать все вокруг.

Такой же был душный вечер. Так же шел наэрд по своим делам. И какой-то путник, потерявший проводника, задумался о времени...

Возле меня остановился высокий немолодой человек в зеленом халате. Он внимательно смотрел на меня, на мой чемодан. Потом, приложив руку к груди и слегка поклонившись, сказал:

— Я вику, что вы впервые в нашем городе. Мой долг помочь вам, если вы в чем-нибудь нуждаетесь.

— Спасибо,— ответил я, поздоровавшись с ним,— но я ни в чем не нуждаюсь.

— Это приятно слышать,— продолжал мой собеседник.— Но если вы, например, потеряли ва-

шего спутника и не знаете, куда идти, я могу помочь вам.

«Может быть, он видел, как я с чемоданом бегал по улице и окликнул Хакими? — подумал я. — Все может быть...» И я решил быть с ним откровенным.

— Вы угадали, — сказал я. — Действительно, мой спутник, как-то неожиданно исчез. И теперь я не знаю, куда мне идти, в какую сторону...

Моего нового знакомого звали Мансур. Он был гончарный мастер и вышел немножко погулять и подышать свежим воздухом. «Где он тут нашел свежий воздух? — подумал я.

Стоял август.

Жара была неимоверная.

— Может быть, вы знаете, где находится облоно? — спросил я.

— Почему не знаю? — ответил Мансур. — Кто-нибудь должен знать...

«Вот удивится Хакими, — подумал я, — когда увидит, что я сам разыскал его».

— Пойдемте, — сказал Мансур, — я с радостью покажу вам дорогу...

Он даже хотел взять мой чемодан, но я воспротивился этому. И мы вдвоем отправились в путь.

Мансур шел впереди, а я следом. Оншел неторопливо, и я легко поспевал за ним. С моим проводником все здоровались и глядели на меня с большим интересом.

— Вот человек, — объяснял Мансур. — Он приехал к нам в гости и не знает дороги. Наш долг помочь ему. В Бухаре нетрудно потеряться, потому что Бухара — великий город и очень древний.

И все с ним соглашались.

— Да, да, наш долг помочь ему. Потому что он впервые в нашем городе и к тому же не знает дороги.

Некоторые подходили ко мне и жали мою руку. Иные провожали нас немножко, а потом возвращались к своим делам. «Он потерялся в Бухаре...» Весь быт об этом, кажется, уже опережала нас.

— Кто тут потерялся в Бухаре? — спросил почтенный седой старик на высоком белом ослике, проезжая мимо нас. — Да будут здоровы и благополучны его родители!

Мансур иногда поворачивался ко мне и предпринимал:

— Вот здесь камень лежит, не упадите... А здесь вот яма оставлена, не опуститесь... Ее скоро закроют; в следующий раз, когда приедете, не узнаете...

Мансур был самый вежливый человек на свете. Так мы прошли квартала три или четыре. Было еще рано, однако уже начинали смеркаться.

Мы по-прежнему оставались в центре внимания всех, кто сидел у ворот, или проходил по улице, или просто так стоял на крыше своего дома.

Стайка мальчишек провожала нас на почтительном расстоянии. Вид взрослого человека, который потерялся на улице и которого провожают до дома, их очень развлекал. Один из них подбежал ко мне, дернулся за руки и с тихим смехом скрылся в переулке.

Мансур сказал мне, что недавно поступил в городское экскурсионное бюро. Но обещанных начальства... Будет водить экскурсии по городу.

Но пока еще только готовится. Он даже написал свою речь о достопримечательностях города. И осталось только, чтобы ее прочитал и одобрил один известный ученик...

— Здесь живет достойный человек, — сказал мне Мансур, указывая на голубые ворота. — Я думаю, мы могли бы зайти к нему, чтобы передохнуть немножко. Одну пиалу чаю, а? И потом сразу в облоно!



Признаюсь, что жара меня одолела. И я сразу согласился. Пиала чаю — благодеяние после жаркого дня.

Достойный человек оказался зубным врачом. Он тут же заставил меня раскрыть рот при свете рефлектора. Но для пломбы не нашлось подходящего места, о чем он очень сожалел, хотя и поковал меня за крепкие зубы. Он показал нам новую бормашину, привел ее в действие, объяснил, как она устроена.

Нас усаживают за стол. Наливают в пиалу чаю. Мы говорим о том, как хорошо, что я встретил Мансура, и что бы я без него делал.

Между тем Мансур о чем-то шепчется в коридоре, озабоченно говорит с кем-то по телефону. До меня доносятся слова: «Облоно... облоно... облоно...»

Наконец мы прощаемся с достойным человеком и выходим на улицу.

Уже стемнело. И никто больше не обращает на нас внимания. И людей на улицах стало меньше.

Мы проходим через какой-то обширный двор.

— Здесь живет мой родственник, — говорит Мансур. — Нельзя пройти мимо и не зайти к нему... Он обрадится!

Родственник Мансура был садовником. Он непременно хотел показать мне образцовый виноградник. Поэтому приглашал оставаться у него до утра. «Утром посмотрим виноградник, а потом — сразу в облоно!» — обещал он.

Мы пили чай, разламывая свежие лепешки. И разговаривали так, как будто не виделись восемьсот лет. И я даже стал как-то забывать про облоно.

Но Мансур не забывал. Он опять с кем-то разговаривал по телефону. И вдруг я догадался, в чем дело.

— Мансур, — сказал я. — Признайтесь, что вы не знаете, где находится облоно.

— Извините меня, — ответил он. — Мы не знаем, где находится облоно. Все знаем, а облоно не знаем,

Что такое, ради аллаха, облоно? Объясните нам, тогда мы, может быть, вспомним...

Но в это время в комнату вошел молодой человек, похожий на Мансура. В руках у него была цепочка с автомобильными ключами.

— Знакомьтесь, — сказал Мансур. — Это мой сын. Он таксист.

— Вам в областной отдел народного образования? — сказал он. — Поехдемте!

Мансур воздел руки. Областной отдел народного образования! Как он не догадался сразу! Там жи-вят известный Хакими, во дворе...

Мы простились. И я уехал с сыном Мансура в го-лубой «Победе», которая легко скользила по узким улочкам между глиняными дувалями.

У ворот своего дома прохаживался Хакими, поку-ривая сигарету.

— Где ты был? — закричал он, бросаясь мне на встречу, когда я вышел из машины. — Я тебя разы-скивал по всему городу. Мне сказали, что ты ушел с Мансуром. Тебя все видели...

— Я был в гостях у достойного человека, — отве-тил я. — Это сын моего нового друга, — добавил я, указывая на шоферя такси.

Но оказалось, что Хакими его тоже знает.

— Здравствуй, Юнус, — сказал он. — Передай отцу, если он хочет, чтобы я одобрил его экскурсию на общественных началах, пусть получше изучит город и не водит наших гостей по своим родственникам и знакомым. И пусть не перехватывает моих дру-зей...

2. Обыкновенные слова

Ученики сидели за партами и молча погляды-вали на меня. Я не знал, с чего начать мой первый урок.

И вдруг отворилась дверь. На пороге стоял ученик, который пришел позже всех. В руке он держал портфель и веточку с пыльными листьями.

— Здравствуйте! — сказал он.

И мне пришлося ответить ему:

— Здравствуйте!

Этого мальчика я видел впервые и фамилии его еще не знал. Но я начал расспрашивать его, почеч-му о спозида.

На дворе сентябрь. Может быть, мальчик не успел спрыгнуть с дерева, когда прозвонил звонок. Я только спросил его фамилию. Он что-то отговарил, но я не разобрал его слов. И мне показалось, что он опрэздывается.

— Не надо никаких объяснений, — сказал я. — На-зови только свою фамилию и садись на место.

Но он что-то продолжал говорить, как мне пока-залось, о добросовестности. Ученики за партами переглядывались.

Оказалось, что фамилия ученика была Добросо-вестный. Бывают такие странные фамилии! Когда я подумал, что мальчик оправдывается, он только от-вечал на мой вопрос.

К такой фамилии надо все же привыкнуть.

— Хорошо, — сказал я, наконец разобравшись в его словах. — Садись на место...

Легко сказать!

Своего места у Добросовестного не было. Тут я заметил, что в классе вообще нет свободных мест. Все парты заняты.

Мне следовало подумать об этом раньше и рас-порядиться, чтобы в класс внесли дополнительную парту и чтобы места были для всех учеников.

Вспомнил я и то, что видел эту фамилию в спи-ске. Но я был принят на должность учителя в самых последних числах августа и не успел повидать всех учеников до первой встречи в классе.

Добросовестный ждал, спрятав за спину порт-фель и веточку с темными листьями.

— Хорошо, — сказал я, — садись к моему столу...

У моего стола был только один стул, и я реши-тельно подвинул его ученику.

Он занял мое место, преспокойно положив на учительский стол портфель и веточку с острыми листьями.

Теперь мы были двое перед классом. Ученики, увидев меня, поклялись, что сказать, представители за учительским столом, пришли в самое веселое настроение.

Послышались голоса: «Добросовестный, не вызы-вай меня, пожалуйста!», «Добросовестный, милень-кий, поставь пятерку!», «Добросовестный, не смот-ри на меня так строго!».

Добросовестный был толстый, коротко остриженный подросток в коричневой бахрятной куртке. Такие мальчики легко переносят шутки товарищей, даже насмешки, к которым предрасполагает окружающих



какая-нибудь их странная черта, например, необычайная фамилия или особое умение попадать в неловкое положение.

Добросовестный взял карандаши, постучал по крышки стола и сказал:

— Вызовем родителей!

Он сказал «вызовем...», как бы от моего и своего имени. Ведь мы сейчас вдвоем были за учительским столом.

Надо добавить, что он сказал это в том других моим словам и сопроводил свое предупреждение морим жестом, как бы устраняющим препятствие. К тому же он был очень похож на меня, каким я был в его возрасте. Но это, кажется, никто, кроме меня, не замечал...

Все ждали, что я отвечу Добросовестному. А я смотрел на него и думал, что сейчас охотно поме-

нялся бы с ним mestами. Потому что учиться интересно, а учить трудно.

— Не торопись, — сказал я Добросовестному. — Всему свое время...

Как нелепо все это получилось! И что я говорю: «Здравствуйте!», «Как ваша фамилия?», «Вызовем родителей...» Нет, впрочем, последнее сказал не я, а Добросовестный. Но не все ли равно? «Всему свое время...» — разве это лучше? И разве так я хотел начать мой первый урок?

Мне хотелось начать его словами какого-нибудь великого мыслителя. Сказать что-нибудь вроде того, что история учит нас понимать самих себя. Это было бы прекрасно!..

А пришлося говорить самые обыкновенные слова, да и то некстати.

3. Летающая модель

Однажды на переменке ко мне подошел Юра Жуков и спросил, умею ли я строить самолеты. Я не удивился таким вопросам. Учитель должен многое знать, а кое-что уметь делать своими руками...

Как построить самолет? Юра Жуков смотрит на меня и ждет ответа.

— Видишь ли, — говорю я. — Это делается так...

И вот появляются на моем домашнем столе сначала книги с изображением летного поля и крыла самолета, потом бамбук, алюминий, резина. Все, что мне удается понять вечером, утром я объясняю Жукозу.

Мы строим модель. Летающую! В первый раз. Мы идем на риск.

Когда соседский Шурин увидел чертеж нашей модели, он сказал:

— 2-У.

Действительно, крылья нашей модели, были похожи на две сросшиеся буквы У.

Мы так и назвали наш самолет: «2-У... Учитель и Ученник. Или же — Два Ученника, что тоже было верно.

Мои домашние сначала относились к нашим труда с полным доверием. Потом стали беспокоиться. Неизвестно, что из этого выйдет.

— Тебе, насколько я знаю, — говорила моя жена, — не приходило строить такие модели...

— Ты не все обо мне знаешь, — отвечал я ей загадочно. — Нет, ты не все обо мне знаешь.

Каждый день я выносил из комнаты корзину мусора.

Модель — это то, что останется, когда с дерева будет снято все лишнее, из алюминия вырезано только необходимое и вся форма получит единство взлетной мысли. К такому конструктивному заключению мы пришли вместе с Юрай во время работы.

Особенные трудности представляли спиртовка, на пламени которой мы гнули бамбуковые палочки. Из этих гнутых палочек мы собирали каркас крыла.

Сколько бамбука мы пережгли, переломали и испортили! Тут надо было найти точную меру огня и терпания.

Неправда, что самолет похож на птицу. П-о-моему, на птицу он как раз и не похож. Во всяком случае,

наша модель, когда она была готова, напоминала какую-то странную лестницу.

Наконец мы решили испытать ее в полете. Юра осмотрел модель со всех сторон и спросил:

— Думаете, полетит?

— Думало, полетит, — ответил я с большим сомнением.

Моя жена заволновалась и спросила, не собираемся ли мы запускать ее в комнате. Мы согласились, что в комнате мало места и модель может поползть.

Если прежде мы решительно отбрасывали все, что нам казалось лишним и ненужным, то теперь стали дорожить по крайней мере тем, что есть. Позадом мы поставили нашу модель высоко на шкаф.

И вдруг она без всякой видимой причины скосыльнула со шкафа и перелетела сама на рабочий стол. Тогда мы не придали особенного значения этому первому ее самостоятельному поступку.

На следующий день мы с Жуковым осторожно завернули нашу модель в бумагу и отправились на школьное поле. Вдали, за пустырями, виднелась телевизионная башня.

Мы установили модель на асфальтовой дорожке, поворнули рули так, чтобы самолет все время шел по кругу, и наполнили бензином моторчик.

Этот бензиновый моторчик был предметом моих особенных тревог. А Юра возлагал на него большие надежды и собирался его еще усовершенствовать.

Не знаю, что испытывают настоящие конструкторы, когда их самолеты отрываются от земли.

Я испытывал стыд...
Мне казалось, что ничего нелепее, некрасивее и неповоротливее нельзя было придумать. Нам не довелось тогда увидеть ее в небе.

Сначала наша лестница грузно ползла по земле, потом поднялся ветер, стал накрывать дождь, и мы поспешили вернуться домой.

Когда мы поднимались ко мне на шестой этаж, соседский Шурин вел на прогулку свою собаку. Неизвестно почему, вид нашей модели привел в ярость его собаку Матильду. Она кидалась и рвала на подвиде, пытаясь ухватить за крыло. Юра поднимал модель как можно выше над головой, стараясь миновать опасный поворот.

и ин-
му.—
орю:
и ро-
я, а
свое
хотел
и будь
е то-
себя.
лова,

та ка-
за ос-

омне-

раем-
лился,
поло-

е, что
еерь
. Поз-
саф.
сколь-
и стол.
этому

но зас-
на съе-
тесь
зожке,
шел по

моих
льши-
вать.
кторы,

и вин-
иам не

земле,
, и мы

ак, со-
. Неиз-
ярость
на по-
днимал
тесь ми-

А Шурик кричал:

— Плохая у вас модель! Упадет!

Он даже говорил не «упадет», а «упанет», что было особенно обидно.

Все это нас огорчило. Шурик был всего-навсего воспитанником дошкольника, и все же его слова нас расстроили.

— Может быть, действительно, не полетит? — спросил Юра, когда мы опять водрузили модель на шкаф.

Мы собирались принять участие в городских соревнованиях автамоделистов.

— Почему не полетит? — сказал я. — Еще как!

И тут она без всякой видимой причины опять скользнула со шкафа и сама перелетела на рабочий стол.

Мы очень удивились!

— У вас тут сквозняк, — сказала моя жена. — Позади ваша модель сама летает. Кончается тем, что вы оба простудитесь...

Вообще я немного побаивался Юру.

Он был пытливый ученик. Когда у меня что-нибудь ломалось, он смотрел мне в руки, не мигая, осмысливая у меня на глазах мою неудачу. Другой бы сделал вид, что ничего не замечает, а он именно обмозговал мои промахи.

Да, это был пытливый ученик. От него ничего не ускользало. Он не торопился и запоминал каждую мою неудачу.

Он учился на моих ошибках!

Перед самыми соревнованиями я заболел. Простудился... Пришлось лечь в постель.

Я уговаривал Юру отказаться от участия в соревнованиях. В конце концов мы еще ни разу не видели нашей модели в полете. Но он и слышать об этом не желал. Уверяя меня, что сам усовершенствует мотор.

Соревнования передавали по телевидению. И я мог наблюдать за всем, что происходило на летном поле.

Температура поднималась: я очень волновался. Но Юра нигде не был виден.

Зато два раза крупным планом показали маленького Шурика и его огромную собачку Матильду, которая провожала жаждыми глазами каждую взлетающую модель.

Вечером пришел Юра Жуков с пустыми руками, огроменный и растерянный,

— Улетела! — сказал он.

— Что значит — улетела? — как можно спокойнее спросил я. — Что ты этим хочешь сказать?

— Улетела! — повторил он. — Сначала она как будто не хотела подниматься...

— Так, так, продолжай, — говорил я, вспоминая, как наша модель перелетела со шкафа на стол.



— Потом она поднялась и села мне на голову. Я ее поймал руками и пустил...

— И опа...

— Улетела!

— Куда улетела?

— Не знаю. Ее не нашли...

— Георгий! — воскликнул я, потому что полное имя Юры было Георгий. — Нет, она нас не подвела! Она улетела, понимаешь?

Жена напомнила нас чаем с клюквенным вареньем.

А когда Юра ушел, я прокричал: «Улетела! Улетела! Улетела!» — и уснул. Утром я был здоров.

Жена считает, что у меня был приступ изобретательской лихорадки.

А нашу модель нашли через три дня. Она зацепилась крылом за телевизионную башню и упала в заросли орешника на пустыне. Нашел ее соседский Шурик со своей Матильдой.

4. Условия задач

Однажды в конце учебного года заведующий отделом народного образования Николай Константинович Куш пригласил меня к себе и сказал:

— Мне некогда!

Он достал из ящика стола запечатанный конверт и передал мне поехать в одну отдаленную школу на экзамен.

Нужно было собрать тетради учеников после того,

как они выполнят свою письменную работу, и привезти эти тетради в методический центр.

— Там учитель новый, — пояснил Куш.

При этом он предупредил, что в конвертах два варианта — только условия задачи.

— А ответы? — спросил я.

— Ответов не будет, — ответил Куш.

В школе я без труда разыскал учителя математики.

Это был молодой человек в спортивном костюме. Звали его Олег Петрович. Он чистил во дворе свой красный мотоцикл.

Я еще с улицы слышал выхопы мощного двигателя.

— Барахлит, — сказал он, указывая на мотоцикл, когда мы познакомились.

Я посочувствовал ему.

— Вы знакомы с Платоновым? — спросил он, вытирая паклей никелированные дуги.

— Нет, — ответил я. — Кто это?

— Гений! — сказал Олег Петрович. — Он до меня здесь работал. Его все знают... Правда, он теперь на пенсии... Олег Петрович улыбнулся и добавил: — Нет такой задачи, которую он не мог бы решить сразу!

Когда в училищской был вскрыт конверт и прочитаны условия задачи, Олег Петрович спросил:

— А отчего?

— Ответов нет, — сказал я как можно мячее.

— Тогда я сам, — пробормотал Олег Петрович и присел к столу.

Дежурный учитель подал ему чистую бумагу, перо и вышел в коридор. Я вышел вслед за ним, чтобы не мешать Олегу Петровичу.

Дежурный учитель был немолодой человек.

— Вы давно работаете в школе? — спросил он меня.

— Не так давно, — ответил я.

Он усмехнулся.

— Я видел всякое на своем веку, — продолжал он, — а до сих пор волнилось перед экзаменом больше своих учеников. Один философ сказал какому-то учителю: «Пришли мне твоего ученика, я посмотрю, каков ты...»

Часы пробили девять.

Олег Петрович надел поверх своего спортивного свитера светлый пиджак, и мы вошли в класс.

Ученики встали за партами приветливо и, как мне показалось, непринужденно.

Олег Петрович кивнул, и ученики заняли свои места. Экзамен начался.

Условия задачи! — сказал Олег Петрович и по-дошёл к доске.

Конверт из горючо лежал на училищском столе.

— Поехали! — тихонечко сказал один из учеников, но Олег Петрович не обратил на это внимания.

Окончив приготовления к письменной работе, приверев, все ли в порядке в классе, Олег Петрович присел к столу.

У него было огорченное лицо. Он старался не смотреть в мою сторону.

В окно мне был виден школьный двор, залитый солнцем, и красный мотоцикл, ожидающий у крыльца.

Наконец Олег Петрович сложил свои листки, спрятал их в нагрудный карман пиджака и поглядел на учеников.

Но они были очень заняты и не замечали его внимания. Кто писал, кто зачеркивал, кто обдумывал — дело шло вперед.

Карандаш в руке Олега Петровича несколько раз перевернулся то грифелем вниз, то грифелем вверх и сломался.

Каждый, кто работал в школе, знает, что есть особый приступ учителяского волнения, когда здруг и простоявшая задача покажется тайной; или забудется крупная дата, или возникнет зияющая ошибка в родном слове...

По-видимому, Олег Петрович впервые испытывал такой приступ, он очень волновался, и на него нельзя было смотреть без сострадания.

Во всяком случае, чувствовалось, что помочь со стороны, необходимую в такие минуты, он принял бы не от всякого...

Вот он решительно подошел ко мне и сказал, что ему необходимо отлучиться. Ненадолго!

Сидение за учительским столом во время экзаменов и контрольных работ тем особенно опасно, что ученики, я заметил, как бы сверяют решение задачи с выражением лица учителя.

Одним неверным взглядом или движением можно незаметно для себя сбить ученика с верной дороги. Зато вовремя сказанные слова «ничего — получится» успокаивают целый класс.

Во дворе раздался треск выхопной трубы. Я выглянул в окно и увидел, как Олег Петрович на своем красном мотоцикле выехал из школьных ворот.

Видимо, эти звуки были хорошо известны ученикам, потому что многие из них посмотрели на меня с удивлением: «Куда это отправился Олег Петрович?»

Прошло довольно много времени. Я видел, как один из учеников из первой парты не торопясь переписывает свое решение на белло.

Другой ученик у окна был похож на Олега Петровича, склонившегося над рулем своего мотоцикла.

Девочка в круглых очках пишет что-то без перебошки, не глядя по сторонам...

Во дворе раздался треск мотоцикла. И вскоре в класс вошел Олег Петрович. Меня поразило его разгоряченное лицо. Он жестом попросил учеников не отвлекаться от работы.

— Как вам нравится погода? — спросил он, когда мы с ним отошли к окну. — На улице жара, настоящее лето.

Олег Петрович выпер платком лоб. Потом он достал из кармана листок и написал на нем: «Вы не спутали варианты? Я отрицательно покачал головой.

Ученики продолжали работу. Олег Петрович, видимо, боялся заглянуть в их тетради, как бывает иногда страшно посмотреть вдруг с высокого балкона на освещенную дорогу.

Трудный случай!

— Да, кстати, а где сейчас Платонов? — спросил я и показал об этом: «Вдруг обидится?»

Но Олег Петрович не обиделся, а простодушно ответил:

— Не застал я его дома... Говорят, его Куш к себе вызвал.

Междуд тем время экзамена истекло. Ученики зашумели, складывая тетради. В коридоре звонил звонок.

А через несколько дней Николай Константинович Куш снова пригласил меня к себе в кабинет.

— Мы с Платоновым вместе проверили все работы, — сказал он. — Подумайте, какой учителя! Как он готовит своих учеников! Талант! Настоящий талант!

Все задачи были решены учениками Олега Петровича правильно, простейшим и наименее целесообразным методом.

Какой учитель не мечтал об этом!

Юнина Моринц



Сезоны для Музы равны

Поддайся, окно, распахнись,
Как звонкая пробка от бочки —
За ёзгой, сквозь хлопья, сквозь жизнь,
С упорством крыла-одинокчи!

Нельзя, чтоб цветущий сугроб
Увал, лепестки отблескли, —
Положим на пламенный лоб
Холодную розу метели.

Январские звезды остры —
Как боль, причиненная в школе,
А нам они — сестры, кости,
А нам — корабли на приколе.

Мы будем у них иочевать,
Судьбу воспевать, как цыганы,
Стишком-ворожбой врачевать
Сердечные, вечные раны.

На крыльях, на крыльях окна —
Как мальчик на лебеде-гусе!
Выносливость наша страшна,
Особо крепкая в искусе!

Сезоны для Музы равны!
В народном ее оптимизме
Зима — не отсрочка весны,
А четверть отпущененной жизни.

Свой замысел я углублю
И здравие духа стяжай!
Я зиму, как лето, люблю
И осень с весной обожаю.

⊕

Эй, да кто там в вишневом саду
Свет не гасит, стоит у окна,
Упрекая ночную звезду,
Что она — далека, холода!

Это белая вишня цветет,
Это животрепещет она.
А звезда, что над нею растет,
Как звезда — далека, холода.

Эй, да кто там за стенкой всю ночь
Свет не гасит, стоит у окна,

Упрекая расцветшую дочь,
Что она — далека, холода!

Это белая старость цветет,
Это животрепещет она.
А звезда, что над нею растет,
Как звезда — далека, холода.

Эй, да кто там в холодном поту
Свет не гасит, стоит у окна,
Упрекая то эту, то ту,
Что она — далека, холода!

Это белая вечность цветет,
Это животрепещет она.
А звезда, что над нею растет,
Как звезда — далека, холода.

Эй, да кто там просил не гасить
Трехголосия трепетный свет,
«Эй, да кто там!» — решился спросить
И хоть звука добился в ответ?

Никогда надо мной не шути,
Что я падка на то, чего нет.
Никуда я не в силах идти,
Не напав на таинственный след!

К столетней годовщине

Нас больше нет. Сперва нас стало меньше,
Потом постигла всех земная участь —
Осталось только с полдесети женщин,
Чтоб миру доказать свою живучесть.

Мы по утрам стояли за кефиром,
Без очереди никогда не лезли,
Чтоб юности, беспощадная к кулирам,
Не видела, как жутко мы облезли.

Дрожали руки, поднимая веки,
Чтоб можно было прочитать газету.
Мы в каждом сне переплывали реки,
И все они напоминали Лету.

По этим рекам, на плотах, паромах
Мы достигали берегов туманных,
Чтоб навестить товарищей, знакомых,
Поэтов, серебряющихся в ирвианах, —

Они вдали держались волей твердой,
Поскольку есть такое северье,
Что коль во сне тебя коснется мертвый,
Кончай дела, твой ворон чистит перья.

С утра, надравшись кофе до отвала,
Мы все держали ушки на макушке,
И Муза нам прозренья диктовала;
Нужны ей гениальные старушки!

Мы текст перевириали понаслышике:
Трава! Дрова! Весна! Весла!. Неважно!
Но в ритме нашей старческой одышки
Гармошка правды пела так отважно!

И все же я простить себе не в силах,
Что в пору слуха ясного и зрея,
Когда стихотворила хоть на вилах,
Я не сложила впрок стихотворенья!

Какой запрет, какие предрассудки
Мне в старчесство мешали вплотиться
И ветхий возраст свой сыграть на дудке —
До черных дней, где трудно отшутиться!

Как я могла не думать о грядущем
И растранихирить силу столь беспечно?
Теперь пытала взором завидущим
Нев и прочих, чье здоровье безупречно.

Ах, было бы мне лет не сто, а сорок!
Я написала бы о старчесстве заране:
Открыв сто тысяч самых тайных створок,
Я бы выудила предвостоминание!

Я бы испытала дважды свежесть мига,
Вперед судьбы зядло забегая!
И может быть... волнующая книга!
И может быть... судьба совсем другая!

◎

Эту ветку миндаля
Отодвиним! лет на двадцать!
Кинем якорь — цепью клацать!
Хлынем в юность — с корабля.

Юность, рай голздных муз!
Зеленейте, волны Ялты,
Где под шампань медуз
Ветер яхты брал за фанды!

Дай порыться в закромах.
Скряб-память! Вскрой свой терем!
На таврических холмах
Крылья юности расстелем!

Свежесть крови, слез, чернил —
Наши ранние портреты! —
Расстелите между крыл,
Ледяные волны Леты!

Блещут маечты средь ночей —
Серебристыми крестами.
Мы расстелем за кустами
Ту траву и тот ручей.

Где на лире, на кифаре
Нам Орфей давал урок
И бродил втроем в паре
Тот, кто ныне одинок.

Юность, груда козырь!
Что ты здесь остановилась,
Сердце бедное! Скорей
Стройся с места — сделай милость!

Эта ветка миндаля!
Жгучий свет, грозящий сердцу!
Юность, лист календаря,
Втянутый в печную дверцу!

У райской птицы

Июльское солнце сожгло зеркала —
Они почернели, обуглились к ночи.
В горячей прихожей порхал, как зопа,
Седой мотылек, привезший из Сочи.

Кровавой глазурью облитый кувшин
Был ранен шипами трех роз разъяренных,
И марля прохлады, сошедшей с вершин,
На нем розовела при звездах зеленых.

И — райская птица! — грузинский поэт.
Воспетый поток, как фронтур и кутила.
Был жив и еще хвастуном не воспел,
И сердце его от предчувствий грустило.

На облаке, облаке, облаке — вперед
Он будет гулять с милосердной женою.
Но, Лирика, дай контрамарку и встреть
У входа, где оба гуляют со мною!

Ведро земляники облей молоком,
Протри полотенцем три блодца, три ложки
И так же беззвучно уйди, босиком.
Касаясь рогожи на свежей обложке.

Минутку! У углу трафаретчики сидят
И жидкое золото в цифры втирает —
Так пусть оторвется и вновь подтвердит,
Что образ действительно не умирает!

Перед ливнем

Полночь. Пыльная дорога.
Лунный коготь. Сонный лай.
Сердце холодно и строго
Смотрит вверх, за крайний край.

Наверх, за крайним краем
Звезды белые цветут,
Словно вишни над сараем
Дважды живы — там и тут.

Что ты, вишня, виснешь склонна
Междуд небом и землей,
Словно жизнь Лаокоона,
Перевитая змеей!

Жилы мраморной ступени?
Пульс троянского жреца?
Что там бьется в пени вишни,
Кроме птицы и птенца?

Громче, вишня! Слишком близко.
Слишком в грудь — в зубах скрипит! —
Столбцы пыли беотийской
Средь малаховских ракит.

На вишневом небосклоне,
В темной арке грозовой.
Наша память глухо стонет,
Чтоб из мертвых стать живой, —

Вот в протянутый стаканчик
Придорожного цветка
Брызнув вечности фонтанчик
Из античного соска!

Летней ночью

Сиреневые кущи облаков
Легли на грудь и давят, и не спятся,
Какой-то дождик сделал пять шагов,
Чтоб сердце тронуть и остановить.

Какой-то соловей включился вдруг,
И райская вздохнула половица,

Когда промчался наш мучитель — звук,
Чтоб душу вынуть и остановиться.

Какой-то ветер расшатал засов,
И ухнула полночина зарница;
И вышла горсточка родимых голосов,
Чтоб сердце скат и не становиться.

В глухи завелся хриплый бой часов —
Как будто голос пропила певица.
Ручей какой-то в горле пересох,
Чтоб душу вылотав, навек остановиться.

За остановкой — лестничный пролет,
Где с неба в землю ввинчены ступени,
Как мрамор жилистой и мглистой,
Словно лед.
Руслами облепленной сирени!

О ЖИЗНИ, О ЖИЗНИ — И ТОЛЬКО О НЕЙ!

О жизни, о жизни — о чем же другом! —
Поет до упаду поэт.
Ведь нет ничего, кроме жизни, кругом.
Да-да, чего нет — того нет!

О жизни, о жизни — и только о ней
Поэт до упаду поет.
На миг оторвется — и дуба дает,
И где ему петь! Не встает!

О жизни, о жизни — о, чтоб мне сгореть! —
О ней, до скончания дней!
Ведь не на что больше поэту смотреть —
Всех доводов этот сильней!

О жизни, о ней лишь, — да что говорить?
Не надо над жизнью парить!
Но если задуматься, можно сдуреть —
Ведь не над чем больше парить!

О жизни, где нам суждено обитать!
Не надо над жизнью витать!
Когда не поэты, то кто же на это
Согласен — парить и витать?

О жизни, о жизни — о чем же другом! —
Поет до упаду поэт.
Ведь нет ничего, кроме жизни кругом,
Да-да, чего нет — того нет!

О жизни, голубчик, — сомненья рассей:
Поэт не такой фарисей!
О жизни, голубчик, твой и своей,
И вообще обо всей!

О жизни, о ней лишь! А если порой
Он роется: что же за ней? —
Так ты ему яму, голубчик, не рой,
От злости к нему не черной,

А будь благодарен поэту, как я,
Что участь его — не твоя:
За шторами жизни — такие края,
Где нету поэту житья!

Но только о жизни, о жизни — заметь! —
Поэт до упаду пост.
А это, голубчик, ведь надо уметь —
Не каждому бог и дает!

А это, голубчик, ведь надо иметь,
Да-да, чего нет — того нет!

О жизни, о ней, не ломая комедь,
Поет до упаду поэт.

О жизни, о жизни — и только о ней,
О ней, до скончания дней!
Ведь не на что больше поэту смотреть
И не над чем больше парить!

НОЧЬ ГИТАРЫ

День насытился страстями,
Над квартирой спlit квартирой.
Небо звездными кистями
Оппело ограду мира.
Сторожа гремят костями.
На бревне вздымают пары.
Гамлет — пьян, бредет с гостями,
На груди бренчит гитара,
Он рычит, что это — лира.
А над ним — как на смех! — Лира,
Несгораемая дура,
Мерзнет в облаках от жара,—
У нее — температура,
У гитары — синекура.
Плачь, гитара! Плачь, гитара!
Оката ведром эфира
Воздух душного бульвара.

Что за варварская мера:
Отрицать, что ты — не лира!
Вздрогни! Кто кому не пары?
Этот спор решит рапира!
Потому что лапах вора
Обе, лира и гитара,
Смехотворны, словно помесь
Будуара и амбара.
Плачь, гитара! Плачь, гитара!
Оката ведром эфира
Воздух душного бульвара,
Но не плачь, что ты — не лира!

Вот воздушными путями
Погромыхивает хмара,
Как фигура Командора.
И кудрями трубадура
Извивается над нами
Электрическое пламя —
Жуткий ливень хлынет скрое!
Плачь, гитара! Плачь, гитара!
Оката ведром эфира
Воздух душного бульвара,
Ливового коридора,—
Воздух, мучащий сердце,
Словно кофе Эквадора!

Древность дышит изоистями:
Например, губа — не дура,
Не создай себе кумира,
Целое не мерь, частями,
Прочее — литература!
Ах, как люто мерзнет лира
В час, когда в котле бульвара
Задыхается гитара
И с хрипением пускает
Из рта пузырь повторя:
Плачь, гитара! Плачь, гитара!
Оката ведром эфира
Воздух душного бульвара.

Плачь, любимица трактира!
Плачь, красавица базара!
Плачь, кормилица фольклора!

Валентин КАТАЕВ

ЛИВАНОВЫ

В первые я увидел Бориса Ливанова в Художественном театре в двадцатых годах.

Двадцатые годы! Неповторимое время нашего перехода от юности к зрелости. Об этом удивительном времени можно было бы исписать тонны бумаги. Но не объятное не обнимешь.

Начало второго или третьего акта. Идет занавес с белой чайкой. На авансцене длинный, по-привычному обильный праздничный стол. То ли именины, то ли еще что-то. По-видимому, ожидаются гости, но пока еще сцена пуста. Лишь один молодой человек — высокий, мугомного сложения, с малообещающим плотоядным лицом и развязными манерами уездного хама — первый гость — ходит вокруг стола, пристально разглядывая закуски и бутылки.

Он не произносит ни одного слова. Мимическая сцена длится минут пять. Пять минут сценического времени — это целая вечность.

Подобные паузы обычно потом входят в историю театра, как легенда. В то время ходила легенда о знаменитой паузе Толоркова в театре Корша, не помню уже в какой пьесе, когда он повсюду искал свалившуюся с носа пенсне, а оно болталось на шнурке.

Эта пауза считалась рекордом.

Ливанов побил этот рекорд, «перекрёс» Толоркова на одну минуту.

Зрительный зал внимательно следит за действиями молодого актера, в то время почти еще неизвестного. Никто не кашляет. Затаили дыхание. Больше того, чо-

порная публика Художественного театра против своей воли как бы вовлечена в игру. А игра состоит в том, что, оказавшись наедине с накрытым столом, молодой человек, не стесняясь, сует нос в закуски, трогает пальцами студень, любуется поросенком, переворачивает его и так и сяк, передвигает тарелки, сует в рот куски пирога, чавкает, мурлыкает от наслаждения и, обходя со всех сторон стол, в конце концов разрушает всю его архитектуру, превращая в беспорядочную кучу еды и посуды, словом, ведет себя свинья свиньей. При этом сохраняет обаятельный улыбку и детское простодушие, как бы даже не подозревает, что он совершает непристойность.

Отличный образец сценического самочувствия, которое Станиславский называл публичным одиночеством.

Вся мимическая сцена заканчивалась шумными аплодисментами, что во время акта случалось тогда не так часто, особенно в Художественном театре.

Небольшой эпизод, сыгранный молодым Ливановым, был единственным живым местом в скучной пьесе, где роли исполняли почти все звезды мхатовских актеров старшего поколения во главе с Москвиным.

Молодой Ливанов переиграл всех.

Наша дружба началась с моей «Квадратуры круга» — маленькой комедии-шутки, которую с благословения Станиславского поставил на своей Малой сцене Художественный театр для того, чтобы дать работу молодежи — Яншину, Грибкову, Бендиной, Титовой, Титушину, конечно, Ливанову.

Режиссером-постановщиком был стол же молодой, полный чувства внутреннего юмора Горчаков, а руководителем постановки — Немирович-Данченко.

Пьесу рекомендовал театр известный критик П. А. Марков, ведавший в то время литературным отделом МХАТа.

Репетировали почти целый год, я часто бывал на репетициях, сошелся со всеми актерами, занятыми в спектакле, в особенности же с Ливановым, который с той незабвенной поры стал для меня на всю жизнь просто Борей.

Мы были молоды, быстро подружились, перешли на «ты». Ничто так не сближает людей, как театр, его сцена, закулиска, репетиционная атмосфера, в особенности же успех спектакля. Успех «нашего» спектакля превзошел все ожидания.

С тех пор и уже на всю жизнь Ливанов стал «моим актером», а я стал «его автором», хоть в дальнейшем пути наши в понимании театрального искусства разошлись.

Но все равно дружба осталась.

Ливанов был красавец — высокого роста, почти атлетического сложения, темноволосый, с черными, не очень большими глазами, озорной улыбкой, размашистыми движениями, выразительной мимикой. Широкая натура, что называется, «парень душа нараспашку», однако с оттенком некоего европеизма.

Он был постоянно одержим какой-нибудь самой невероятной идеей. Одно время, например, он выскazy-

вал ту мысль, что государство должно устанавливать размер заработной платы каждому человеку, в особенности актеру, в зависимости от его роста, веса и аппетита: маленькуму поменьше, большому побольше.

Я думаю, эта идея поселилась в голове Ливанова вследствие его громадного аппетита, резко расходящегося с небольшим жалованьем начинающего актера.

Аппетит у него был громадный. Рассказывали, что однажды в гостях он один съел целого гуся и попросил добавки. Но это, конечно, один из театральных анекдотов.

Он всегда находился в состоянии творческих поисков, творческой неуспокоенности. Он вынашивал идеи создания некоего совершенства нового театра, где бы на ярко освещенной, совершенно чистой сцене, на зеркально начищенным паркете, наклонной площадки действовали бы без всяких аксессуаров актеры без грима, но в специальных легких шелковых одеждах вроде японских халатов.

Он делился со мною своими идеями, облапив меня за плечи и пылько дыша мне прямо в лицо, причем глаза его тревожно и вопросительно блестели.

— Да? Не правда ли, это будет здорово! Ты со мной согласен?

Иногда, если наша встреча происходила на улице и нам мешали прохожие, он загонял меня куда-нибудь в подворотню, в подъезд, или даже негерепливо запихивал в телефонную будку, закрывал неподатливую дверцу и там, в полумраке, навалившись на меня, как медведь, продолжал развивать свою идею.

Казалось, из его глаз высакивают искры статического электричества.

Он обладал даром карикатуриста, и его шаржи на знакомых актеров приводили в восхищение даже профессионалов.

В «Квадратуре круга» он играл роль Емельяна Черноземного — доморощенного молодого поэта так называемой «есенинской школы», что тогда называлось «уладничеством».

Подобные «есенинских» эпигонов, приехавших из деревни в Москву за славой, в то время развелось великое множество. Такой тип я иставил в свой водевиль.

Режиссура спектакля во главе с Немировичем-Данченко представляла себе Емельяна Черноземного неким есениногодобным типом, кудрявым, золотоволосым парнем, голубоглазым, с розовыми херувимскими щечками, в косоворотке, чуть ли не в лаптях.

Ливанов усердно репетировал, но не выражал никакого мнения относительно внешности своего персонажа, предложенной ему режиссером.

Незадолго до генеральной репетиции он даже надел кудрявый парик, науянил щеки и подвел свои глаза гиней краской для того, чтобы они на сцене выглядели голубыми.

По общему мнению, репетировал он вполне пристойно, и роль должна была у него получиться если не блестяще, то, во всяком случае, вполне на уровне Художественного театра.

Все шло хорошо.

Но вот настала генеральная репетиция с публикой, с «папами и мамами».

И тут произошло нечто небывалое, совершенно невероятное в истории Художественного театра. Ливанов вышел на сцену в неожиданно новом образе. Вместо кудрявого парика на его голове торчала щетка жестких волос, особенно высоких спереди, над лбом; нос был длинный, извилистый; на щеках веснушки; вместо рязанской косоворотки на его могучее тело было натянут мондый по тогдашним временам плюшевер с ромбовидным рисунком, доморощенное изделие Мосшвеи, купленное, по-видимому, Ливановым на свой счет. Выпяченная грудь...

Словом, совсем не то, что было утверждено режиссером.

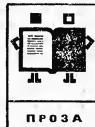
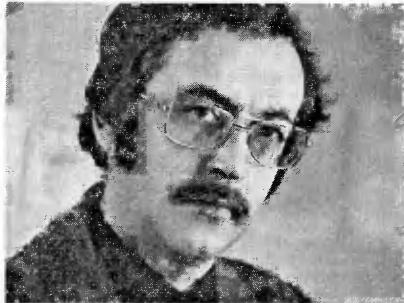
Увидев Ливанова — Емельяна Черноземного в таком виде, Немирович-Данченко, принимавший спектакль, поблагородил от ярости, нервно погладил свою бледнанто подстиженную бороду с изнанки — то есть от горла к ее вздернутой периферии, издал зловещий звук, нечто среднее между мячанием и стоном, и мы все, сидевшие рядом с ним, поняли, что за свое самоуправство Ливанов немедленно же после спектакля будет с позором изгнан из прославленного театра.

Однако ничего не подозревающая публика встретила выход Емельяна Черноземного веселым смехом, а когда он стал произносить свой текст, то смех усилился.

Образ, созданный Ливановым, был настолько близок к весьма распространенному в то время типу молодых поэтов-графоманов — комический гибрид эпигонов Есенина и Маяковского с некоторым внешним сходством с молодежным самородком Иваном Приблудным, — что зрителям зал пришел в полный восторг, и роль Емельяна Черноземного, гротескно поданная Ливановым вопреки всем строгим традициям Художественного театра, прошла, как говорится, «на ура, первым номером».

Успех Ливанова был так очевиден и так велик, что мудрый дипломат Немирович-Данченко сделал вид, будто ничего криминального не заметил, отечески покивал за кулисами Ливанова, утвердил его самостоятельный грим и костюм, причем дал понять, что, в сущности, этот образ таким и был задуман им самим.

Впоследствии Ливанов редко прибегал к столь островерному гротеску, почти клоунаде. Он органически вписался в строго-реалистический стиль Художественного театра, и его молодой, сильный талант ширился и углублялся с каждой новой ролью, в которую он все же всегда вносил нечто свое, особое, остро-ливановское.



АГНИЯ, ДОЧЬ АГНИИ

Глава первая

«Да, скифы—мы!»
А. БЛОК

СКАЗАНИЕ О СКИФАХ

— **В**рут они, эллины. Ну, сам посуди: стал бы Приам обрекать на гибель себя, свою семью и целый город только ради того, чтоб влюбленный его сын спал с похищенной им Еленой? Да если бы старый царь сам воспыпал к прекрасной спартанке, и то, думаю, выдал бы ее Менелаю, супругу законному, перед лицом такой смертельной опасности. А эллины выдумали эту безумную историю только для того, чтобы оправдать разграбление великой Трои да еще выставить себя героями.

— Да пойми ты, варвар, история тут ни при чем. Это высокий поэтический вымысел.

— Красиво врут и с наслаждением — вот в чем беда.

— Сорви лучше! — И Аринас в сердцах так стукнул молотком по готовой форме для литья, что она раскололась.

— Ваш спор, мужи, — сказал молчавший до сих пор Ник Серебряный, — легко бы разрешила любая женщина, эллинка или скифянка — все равно. Женщина бы сказала вам: не надо спорить, они сражались за любовь.

— Мир вам, свободные скифы! Есть новости?

Много новых тропинок протоптали тогда в степи наши кони. И уже отвыкли воины сжимать рукоятку меча или тянуть тугой лук прочь из горита¹, засыпав в стороне фырканье и топот чужих жеребцов и завидев над высокой травой остреверхие шапки незнакомых всадников.

Спешившись, садились на пятах, знакомились, пуская чашу по кругу, делились мирными новостями, хвастались довольством, хихикали и сплетничали, как женщины.

А женщины наши...

Редко под какими войлоками, расшитыми заботливыми женскими руками, не закричал тогда новорожденный младенец.

Молодежь донимала предсказателей гаданиями на переплетении ивовых

прутьев о грядущем счастье, и долгими теплыми вечерами звонкие молодые песни разлетались над светлой водой Борисфена¹ и падали, обминая, в пахнущие пылью дурманом травы.

Даже лохматые наши псы забывали грызться из-за брошенного им куска и лениво отворачивали погнувшиеся морды, когда подачка казалась им не слишком лакомой.

Стада наши тучнели и множились, как облака в грозовом небе, а небо над нами было безоблачно, чисто и высоко, и в этой чистой вышине парили, распластав крылья, недосыпаемые для стрелы птицы.

Молчал великий бог Папай, а наши старики становились все речистее и речистее.

Ах, старики, разрази вас гром!

Найдется ли старики, когда молодости не был храбрением из храбрости, удивлявшим из удивленных, могучим, как Таргитай², любимец богов?

Есть ли старики, который признается, что не пировал он на свадьбе Прототы, вождя всех скифов, с дочерью Асархадона, царя ассирийского?

Или скажет, что не его аргамак³, быстрый, как гепард, топтал Ливийскую пустыню, когда фараон Псамметих воздвиг перед ним золотую стену из багатых даров?

Разве отыщется старики, который не познал счастливой любви множества женщин? Старики, который не ласкал в свое время податливых вавилонянок, дерзких ассириек, стыдливых дочерей Сиона?

Где старики, не отведавший вкус вина всех наперечет виноградников от пределов земли до берегов Борисфена да так и не захмелевший от неяснических мер прохладных амфор?

Слава вам, старики! Слава белым ящерицам шрамов, покрывающим вашу сухую кожу, неважко, где и как полученных, слава вашим седым бородам, в которых прячется улыбки смущения; слава вашей мудрости — мудрости детей, готовых без конца пов-

¹ Борисфен — древнее название Днепра.

² Таргитай — мифический герой скифов.

³ Аргамак — порода древних безгриевых скакунов.

торять любой печальный опыт в святой надежде, что смерти нет.

Нас тревожат и манят ваши прошлые подвиги. Мы хотим сами рассказать внукам небылицы у ночных костров.

Смеяйтесь, лукавые боги! Пусть тот, кто имеет мало, удовольствуется малым! У нас многое, и мы желаем еще большего! Мы будем смеяться последними. Ведите нас, старики, мы вырвем вашу молодость из когтей смерти.

Агой!

Старики не спеша подняли победные чаши из вражьих черепов, обтянутых вызолоченной кожей.

О вино! Благословленный дар неверных богов! Единственная радость нового узнавания привычных истины.

Темную влагу ночи прят Земля из золотой чаши Неба. Медленно, наслаждаясь, тянет Аги-богиня хмельную душину прохладу, пока не блеснет ослепительное золото дно чаши. Тогда раскинется богиня, изнемогая от жажды под пальцами взгляdom Солнцелюка. И будет рождено новое, и растить уже рожденное, и провожать отжившее. И так бесконечно...

Черная в свете костров, струя упала и розово запенилась над краем чаши, падая тяжелыми каплями на руки пирующих. Виночерпий, стоя в кругу, вознес влажный меж на уровень плеч, загородив лицо, и теперь даже те, кто знал его, видели в нем только бока вина, напряженного, с широко расставленными кривыми ногами, обтянутыми легкой козьей шкурой, руками, обнимавшими небо в кольце взглядов сидевших вокруг костра людей.

Сам бог вина с козьим мехом вместо головы вошел в освещенный круг, и люди притихли и посерели в соседстве с богом.

Твердая струя, падающая из-под звезд, кэльхнулась всей своей кривизной, отклоняя край чаши. Красная влага вина выплеснулась в лицо сидящему, окрасив его будто кровью.

Люди смотрели, как эта хмельная кровь скатывалась альмы струйками по надбровьям, мимо затененных глазниц, горбинки носа к подбородку.

торм предстояло прийти на смену знаменитым мхатовским старикам.

Между прочим, характеризуя молодых актеров, занятых в моем водевиле, Станиславский вдруг остановился посредине алеи кисловодского парка и сказал:

— А вы знаете, как это ни покажется вам странным, но наш друг Боря Ливанов со временем займет в нашем театре место Качалова. Я это предсказываю!

При этом Константин Сергеевич посмотрел на меня сверху вниз сквозь пенсне с резко-черными ободами своими мильми, пронизительно-прищуренными глазами.

Тогда, признаюсь, мне это показалось невероятным. Но Станиславский оказался прав.

Ливанов очень любил Качалова, был с ним в близкой дружбе и в честь Качалова впоследствии назвал своего сына Василием.

Помню Ливанова во многих ролях, но почему-то мне особенно видится Ливанов в роли Кассио в шекспировском «Отелло».

Молодой, красивый, стройный, благородный, веселый, простодушный воин-офицер, скандалист, с обнаженным

Это был еще один знак военной удачи среди многих предзнаменований, уже посланных богами.

Здесь, на великому совете племен, Мадай, сын Мадая, за умение одинаково обеими руками владеть мечом прозванный Трехруким, был отмечен золотой секирой и призван воцарем великого похода, первым среди ровных.

Ему, Трехрукому, теперь царю над всеми скифами, выпало принести кровавые жертвы Мечу и возжечь костер войны на вершине Большого Кургана. В ту ночь Трехрукий взял в жены Агнию Рыжую, свободную скифянку.

Опьяненный вином и запахом жертвенной крови, он не ласкал — насиливал молодую жену, как строптивую рабину.

А утром Трехрукий повел за родной Борисфен скийские тьмы.

И пошли с ним расторопные фиссаги¹ и веселые будины, хитроумные тавры и скупные на слова иирки, и массагеты, не знающие жалости. И мы пошли, сколоты.

И долго еще стонала и вздрогивала изрытая копьями коней земля, и пыльное облако, поднятое войском, три дня и три ночи висело между небом и землей, заслоняя солнце и звезды.

В становище остались лишь женщины, дети, немощные старики и верные рабы.

И Агния Рыжая — над ними царица.

«Что сильнее огня? — поют наши девушки. — Вода. Что сильнее воды? Ветер. Что сильнее ветра? Гора. Что сильнее горы? Человек. Что сильнее человека? Вино. Что сильнее вина? Сон. Что сильнее сна? Смерть. Что сильнее смерти? Любовь».

Открытая для любви душа Агнии была раздавлена единственной ночью с Трехруким. Испуг, боль, брезгливое разочарование вытеснили робкое ожидание послушного счастья, живущее в сердце каждой, даже самой гордой женщины.

¹ Фиссаги или фиссагеты — скифское племя. Так же, как будины, тавры, иирки, массагеты, сколоты.

К теперешним чувствам ее примешивалось и чувство вины, что, может быть, она, неумелая, сама вызвала грубость Мадая. Тайно, с жадным вниманием прислушивалась Агния к бесстыдной болтовне замужних женщин, ища новые пути в непонятный мир человеческой любви, который так жестоко ее встретил. И не находила.

Много слез пролила Агния, прощаясь с чем-то, а с чем — она и сама не знала. Нет, она не возненавидела царя, тогда оставалась бы надежда полюбить его. Она просто постепенно свыкалась с ним, теперь таким далеким, как ссыкаются в молодости с мыслью о неизбежной смерти.

Если она вспоминала Трехрукого, то только с тем, чтобы повторить самой себе: «Зато я царица, царица...»

А это очень много, даже для самой гордой женщины — быть царицей. И вот она захотела нравиться себе и стала жить только для себя. А людям стало казаться, что царица живет только для них.

С тщательно расчесанными, убранными за плечи темными волосами, в дорогом, но простом наряде, судила она бесконечные споры между женами, вынося решения, которые своей строгостью нравились ей самой, и эта уверенность царицы убеждала людей в ее справедливости.

Она толково распределяла работы между рабами, и слова благодарности умилияли ее, возвышая в собственных глазах.

Она с удовольствием объезжала табуны и стада на белолобой своей кобылице, и старые пастухи поблаги кляяли с ней о достоинствах подрастающего приплюса и, прищурившись, одобрительно прищекивали языком, провожая взглядами летящий по ветру золотой пламень ее волос.

Она не забрюхатела с той ночи. Дети не влезли ее, но она угадывала, что расспросы о младенцах нравятся материам, и не упускала случая притворяться заинтересованной.

С заходом солнца, усталая, царица валилась на груду шук и воликов и без сновидений спала до рассвета.

очень органично. Дед и отец оказали огромное влияние на духовный мир юноши, определили его решение посвятить себя служению искусству. Он широко известен как хороший киноактер, исполнитель запоминающихся ролей в фильмах «Неотправленное письмо», «Слепой музыкант», «Синяя тетрадь», «Коллеги» по роману В. Аксенова, наконец, совсем недавно в фильме о джекспристах «Звезда пленительного счастья», где он с блеском исполнил роль Николая I.

Он сценарист, автор детских сказок, один из создателей знаменитого мультифильма «Бременские музыканты», мультипликатор. Он озвучил широко теперь известного Крокодила Гену.

Одним словом, талант его многогранен.

И вот еще — совершенно неожиданно — новая грань: повесть о скифах, глубокое погружение в древнюю историю, сказание о жизни давно уже исчезнувшего народа, некогда кочевавшего в южных просторах нашей страны, в Причерноморье, по берегам Днепра, Днестра, Прута, Дуная.

История скифов пока еще мало изучена, но изыскания археологов продолжаются, исторический материал накапливается, скифские курганы открывают перед учеными свои сокровенные тайны. На основании этого ис-

Ливановы

(Продолжение)

мечом в руке, в боевом шлеме, озорно сдвинутом немножко набекрень.

Тут можно было бы кончить заметку о друге моей младости Борисе Ливанове. Однако в жизни никогда не угадаешь заранее, где конец, а где начало. Навсегда ушел Борис Ливанов, но пришел другой Ливанов — сын, тот самый, которого отец назвал в честь Качалова Василем.

Он вошел ко мне, высокий, худой, молодой, в серьезных очках, чем-то неуловимо похожий на отца, но только совсем другой, очень современный, одухотворенный, и пронзил машинописный текст повести под странным названием «Агния, dochter Agnies», с еще более странной эпиграфом из Блока: «Да, скифы — мы!». Я вынул ловесть из голубой пластиковой папки, прочел первые строчки и понял, что это нечто из жизни скифов.

О Василии Ливанове критика пишет, что искусство и прежде всего театр вошли в его жизнь очень рано и

Так минуло два года.

В одно осеннее утро из тумана с того берега до- неслось ржание коней, звон оружия. Властный муж- ской голос покатился над разбуженной водой и до- сти становища. Сердце Агнии бешено заколотилось и билось.

«Вернулся!»

Неведомая ей тоска сковала душу и тело. Уже женщины с криками радости высипали на берег и лежали прямо в воде, пытаясь разглядеть своих на том берегу, а она, царица, все еще сидела в шатре, уронив руки, не в силах заставить себя встать и выйти настрему прибывшим. А когда вышла, короткий стон вылетел из груди ее, и она без чувств упала в поклещевшую траву.

Караван вброд переходил Борисфен. Вьючные вер- блюды толкали и теснили в глубокую воду малень- ких осликов, длинные уши которых торчали перед ворохами поклажи. Воины, числом не более сотни, кружились верхами на удивительных тонконогих ко- нях, размахивали нагайками и кричали, распоряжаясь толпой полуоголых носильщиков, длинной цепоч- кой вытнувшихся от берега до берега.

Это был первый караван с далекого юга, прислан- ный Трехруким. Самого царя между воинов не было. Это надеялась увидеть и увидела Агния, вылезла из шатра. Люди присудили ее стон и обморок любви к царю, и эта ошибка окончательно утвердила их простодушную любовь к молодой царице.

Богатые дары пришли с караваном. Становище бурлило, как речной водоворот.

Развязывали туки, разбивали ящики кедрового дере- ва, расстаскивали по кибиткам барахло, прянности, запечатанные амфоры с вином, дорогие безделушки. Изучали разнообразную посуду, назначение ко- торой было не всегда понятно, но это только увели- чивало счастье обладения.

Кöверкав языки, с пристрастием допрашивали нов-ых рабов, мучаясь сомнениями, что соседям доста- лись более сильные и смелые.

Мальчишки благоговейно прикасались к оружию, испещренному таинственными знаками.

торико-археологического накопления Василий Ливанов создал совершенно оригинальную повесть-поэму, кото-рая захватила меня художественной достоверностью, поэтичностью, образностью, драматизмом, а также не-повторимыми характерами своих героев — «свободных скифов».

Не считая небольших сказок для детей, это первый серьезный литературный опыт Василия Ливанова. В нем чувствуется уверенная рука зрелого мастера — художника слова, что случается чрезвычайно редко с начинающими писателями, но особенно ценно в Лива-нове то, что, описывая зверски-грубую скифскую жизнь, весь ее дохристианский, чисто языческий ужас, Василий Ливанов, как и подобает современному художни-ку, пропускает скифскую действительность как бы сквозь «магический кристалл» свойственного нашему времени гуманизма, вследствие чего написанные им картины древнего варварства обретают и второй план, что придает всему произведению некую высокую нрав-ственную основу.

Кроме всего сказанного, следует отметить, что по- весть «Агния, дочь Агнии» увлекает своим остро-точенным сюжетом и читается от начала до конца с не-ослабевающим интересом, несмотря на некоторые язы-

Старики подолгу выставали вокруг высоких, с крашеными хвостами, тонконогих жеребцов, со знанием дела примеряя к ним кобылиц из наших табунов.

Кое-кто никак не мог притянуть себя от одного вида верблюжьей горбатости или длинных ослиных ушей.

Радостное оживление было общим.

И только воины, приведенные караван, держались особняком. Тяжело изувеченные в битвах, с безобразно изуродованными, обожженными лицами, с отрубленными конечностями, хромые, одноглазые, не годные больше ни для какого труда, мирного или ратного, наялив с утра пораньше раззолоченные доспехи, они шумно опляяялись вином и кумысом, неудержимо хвастались, зевали дикими скопами, сводя какие-то старые счеты, приставали без разбора ко всем женщинам становища.

Тот, кто не умер от ран по пути к дому, заживо гнил теперь среди великолепия отнятой у врага дес- бычи.

Среди них был и мой отец. Но я не помню его. Он ушел от нас дорогой предков, чтобы вместе с ними охранять покой Великой Табиты-богини¹.

Молодой и счастливый, несется он легкой тенью среди других теней, обгоняя ветер над бескрайней степью.

Но когда-нибудь захочет Великая Богиня снова испытать его мужество. И тогда женщины рода скоп-ловят родят мальчика, и вырастет он сильным и смелым воином.

И нейясная тоска будет охватывать его в короткий час сумерек между днем и ночью. То душа моего отца, летевшая на крылатом коне в грудь вновь рожденного, будет вспоминать прошлую жизнь свою, неведомую потомку.

Так было от первого рождения, и так будет, пока серебряные гвозди звезд удерживают чешу Неба над прекрасным лицом Земли.

Драгоценное оружие, что привез отец из далекого похода, осталось с ним в его новой жизни. Чуде-

1 Табити — верховная богиня у скифов.

ковые и синтаксические сложности, легко, впрочем, преодолимые.

С чувством радости я рекомендую читателям «Юно-стю» первую повесть Василия Ливанова. Я уверен, что в его лице наша литература обрела новый, заслуживающий самого пристального внимания, свежий, самобыт-ный талант.

Горжусь, что мне первому довелось представить Ва-силия Ливанова, сына моего покойного друга Бориса Ливанова, советскому читателю.

...И хочется его назвать по-отечески просто Васей. В добрый путь, Вася Ливанов!

Переделкино.

сный тонконогий жеребец и оба раба обагрили своей кровью черный жертвенный камень, прежде чем лечь рядом с отцом под могильный холм.

На прощальной призне, брохатах мною и только потому не погребенной вместе с мужем мати моя раздала людям на добрую память об ушедшем почти все, что нашла под войлоками нашей кибитки. Но она недолго пережила отца и ушла вслед за ним, едва успев отнять меня от груди. Женщины становища не дали умереть младенцу, выкормив кобыльм молоком. Имя, данное мне от рождения, забылось. Со мной осталось прозвище, каким метят особенно крепких степных жеребят, и племя усынивило меня.

Я — Сауран¹, сын сколотов, свободный скиф. Я могу сидеть у любого костра, но нет огня, к которому подседи бы я по праву родства.

В десятую свою весну я выменял то немногое, что перешло ко мне от отца, на двухлетку из царских табунов, которого давно присмотрел, — светло-гнедого, с темной полосой по хребту, славного потомка диких коней, такого же неутомимого саурана, как и я сам.

На нем, Светлом, я увез жалкий свой скарф по дальше от становища, чтобы там, у костров табунчиков, замечь свой одинокий костер. Самое ценное, что у меня было — родовой железный меч-акинак на простых коханых ножнах, — я закопал в степи, у подножия древнего могильного кургана. Я стал одним из сторожей бесчисленных табунов царя Мадава Трекрухого, деля неусыпный труд, тепло огня и пищи со старыми вольными пастухами и царскими рабами. Время от времени украдкой наведывалась я к тайнику, отрывал звяжетое оружие и, облизываясь потом, старательно точил заубренный клинок на черном камне. По ночам, откинувшись затылком на креп Светлого, я мечтал о том времени, когда мне дозволено будет опоясаться мечом, испить горячей крови поверженного врага и стать воином — равным среди равных.

Над стариком Маэм посмеивались за глаза. Но когда высокая, тощая фигура его появлялась между кибитками и шатрами становища, смеяться опасались.

Мужчины велико здоровались первыми, с готовностью протягивали ладони для хлопка, а женщины спешили притронуться к прокопченной одежде кузнеца, чтобы скорее приблизить где-то вечно кочующее женское счастье.

Дед Май сплыл колдуном.

Никто не мог бы сказать, по каким дорогам скрипела его кибитка, запряженная двумя белыми, невиданными у нас длиннорогими быками, прежде чем въехала за земляную вал нашей становища. Назавившись свободным скифом нашей крови, приземкий, окруженный толпой любопытных, уверенной рукой направил быков к шатру царицы. Не торопясь слез он с высокого колеса и, дергая под мышкой нечто завернутое в овчину, громко выкрикнул имя царицы, без тени смущения шагнул за полог красного шатра.

Агния Рыжая словно ждала его.

Старик попросил разрешения поставить свою голову и все, что имеет, под копыто коня Агнии Рыжей, чтобы почевать в наших стялах, брать воду из наших колодцев и зажигать костер в кругу наших

костров. Потом, низко склонившись, бережно развернул он овчину и положил к ногам царицы своей дар.

Это было зеркало дивной работы. Овальную лицевую гладь обнимали крылья стремительно падающей на врага птицы. Чешуйчатое тело змеи, вязь плотными кольцами из-под золотого клюва, составляло рукоятку зеркала, которая завершалась маленькой змеиной головой, повернутой навстречу птице. На оборотной стороне бронзового овала те же крылья поддерживали гирлянду из листьев. Длинногая лосица тянулась к пистве. Маленький лосенок, подогнув передние ножки и подняв мордочку, напряженно и выжидательно следил за матерью.

Агния залюбовалась красотой и тонкостью рисунка, безупречной отливкой. Ей показалось, что фигуры заключали какой-то неясный, очень важный для нее смысл. Пытаясь удержать догадку, уловить связь, Агния пристально и отрешенно смотрелась в теплую бронзу.

Она видела, как удивленно расширились длинные зеленые глаза ее, как побледнело лицо, как резкая поперечная складка обозначилась между темными, высокими бровями.

Но смущенное предчувствие лишь тронуло ее душу и ускользнуло от сознания. Агния опустила зеркало и встретила упорный бесстрашный взгляд. Этот незнакомый старый человек глубоко заглянул в душу царицы, взволновал и испугав ее необычайно.

Бледные щеки царицы вспыхнули, глаза влажно заблестели. Желая побороть невольное смятение, царица заставила себя улыбнуться. Старик сразу же ответил улыбкой, растопырившей и без того вскоченную бороду его и совсем сузившей глаза под густыми, тяжелыми бровями.

— Это зеркало моей работы — сказал старик, — я хочу, чтобы оно принесло тебе удачу. Ты медно-волося и прекрасна, как Аргимпаса², но ты не богиня, царица, и твоя любовь может стоить тебе жизни. Я буду молиться. Да заступится за тебя боги, царица.

Старый кузнец вышел из царского шатра и, неизвестно раздвинув любопытных, уехал за вал становища в степь.

Когда кибитка выбралась из толпы, полог ее вдруг приподнялся, и худенький, носатый, похожий на птицу мальчик, высыпнувшись наружу, дразня, показал оторвавшей толпе языки.

На самом берегу Борисфена, выше становища, старик врал в землю колесой своей кибитки и отпустил длиннорогих быков огнедыша на вольном выпасе.

Скорее слава о кузнечном мастерстве деда Мая облетела степь. День и ночь пыпал огонь в сложенной из камней кузнице. Мерно стучал тяжелым молотом, дед перековывал и закалывал старые клинки, правил наконечники стрел и копий, лепил из глины и обжигал в плахах фигурыные формы для медного литья. Из самых отдаленных кочевий привезли к нему заказчики и платили за работу баранами и козами, засоленными сырьими шкурами, мясными волоклами, хлебным зерном и медом, а изредка вином. Договариваясь, старый кузнец выводил какие-то таинственные знаки на куске выделанной кожи и, заглянув в эти знаки, мог вспомнить любой заказ каждого и меру платы. И никогда не ошибался.

¹ Сауран — саврасый или светло-гнедой конь с темной полосой по хребту, потомок диких коней.

² Аргимпаса — богиня любви у скифов.



Поначалу наши старики по одному наведывались в кузницу с мелкими заказами, но больше для того, чтобы сладко побеседовать с новым человеком и разведать, откуда он, в чём и как. Но заказы избыстро исчезали, а при оглушительном звоне молота и сильном жаре от мхов, к которым был приставлен худенький внук старика Мая, степенной беды никак не получалось. С достоинством же пополнить можно было и дома. И старики, тая обиду, перестали наезжать. Зато псы, которых кузнец с вином приводили щедрой подачкой, стаями бегались к нему из становища и, отлививаясь от охранившей работы, часами слонялись вокруг кузницы, бросая на хозяина умильные взгляды, ревниво сторожа друг-дружку и судорожно слатывая слону с горячих и красных своих языков.

Оба кузнеца, старый и молодой, были прозваны «клещами пастухами», а на самом деле внука звали Ариймас, что значит Единственный.

Отсюда, с береговой кручи, отчетливо была видна на песчаной отмели тоненькая мальчишеская фигура. Сидя на корточках, мальчик чертил по мокрому песку длинным упругим прутом. Сверху я хорошо различал очертания большого коня, расплывавшегося в бешеном скаку. Головы у коня еще не было. Мальчик вскочил и, перепрыгивая через линии скакущих ног, оказался впереди коня и снова присел на корточки. Прут уверенно заскользил по песку. Вот конь изогнулся шею, повернул голову и оскалился, обороняясь от кого-то, еще невидимого. Конец прута вытянулся вперед, и длинная растрепанная челка, будто прижатая ветром, упала на глаза коня. От кого он убегает, этот конь, кому грозит?

Мальчик перешагнул через очертания головы и замер, глядясь в глазный, утоптаный песок. Напрягаясь, зряне, я тоже посмотрел туда, куда вглядывался мальчик, но ничего, кроме песка, не увидел.

Вдруг мальчик широко расставил ноги и, торопясь, взмахнул концом прута.

Широкие злые крылья взметнулись над конем. Хищные когтистые лапы протянулись к холке, плоская голова на длинной шее дернулась вперед, и загнутый клюв вонзился в шею коня.

Грифон! Так вот во что взглядался мальчик на песьи! Теперь мне казалось, что я тоже мог разглядеть там это чудовище.

Мальчик поднял прут, попятаился, остановился и снова рванулся вперед. Страшный грифон выпустил длинный змеиный хвост и обвил скакущие ноги коня. Сейчас конь рухнет со всего маха, сечись... Прут сломался.

Мальчик отбросил обломок в сторону и тут увидел меня. Он подбежал к рисунку и стал затирать босыми пятками песок.

— Не надо!

Я не ожидал, что крикну так громко. Мальчик остановился.

— Что, нравится? — спросил он, по-птичьи склонив набок голову.

— Нравится! — Терпер я едва себя расслышала.

— Ерунда! Не получилось. Я лучше могу... Он помчался по отмели и с разбегу бросился в реку.

— Ты что делаешь? — Я быстро спустился к самой воде. — Разве ты не знаешь, что река унесет твою силу и сам ты рассыпешься песком?

Он весело рассмеялся и обрызгал меня водой. Я отскочил, начиная сердиться.

— Не сердись! — крикнул он и, взмахивая руками, быстро подплыл к берегу.

Он стоял рядом со мной, откинув назад мокрые пряди белесых волос. Глаза у него были широко расставлены и смотрели светло и задорно.

— Дедушка говорит, что вода только прибавляет силу. А дедушка знает все. Хочешь, поедем к нам? — Он подхватил с песка смешные широкие штаны свои, на ходу одеваясь, запрыгал по песку, как птица, и затрепал вопросами: — Это твой конь? Как тебя зовут? А ты, Сауран, видел грифонов?

Он продолжал трещать, пока я занудывал Светлого, пока садился и помогал ему влезти на коня. С места я пустил Светлого вскака. Мальчик сразу смолк и, боясь не усидеть у меня за спиной, крепко обнял меня вокруг пояса худыми цепкими руками и восторженно запыхтел затылок. А я вдруг почувствовал радость оттого, что узнал этого странного мальчика, умеющего вызывать из песка быстрых коней и страшных грифонов и теперь боязнившись упасть с живого коня, и в душе поблагодарил его за то, что он, не стесняясь своего страха, доверчиво держится за мой пояс. И боги знают, что еще такое почувствовал и подумал я тогда, но у меня зажипало в носу, и слезы навернулись на глаза.

И мне захотелось всегда быть с ним рядом и чтобы он был рядом со мной всегда. И я попросил об этом богов.

Много раз белые кони дня уносили за пределы Земли сияющую колесницу Солнцеликого, чтобы дать дорогу вороным коням ночи.

Вечерние подростки становились юношами и, едва научившись владеть мечом и натягивать тетиву, садились на коней и уходили за Борисфен, на юг, по наезженной дороге отцов.

А наставству им тянулись к берегам Борисфена тяжело груженые, богатые караваны царя Мадая. Теперь даже рабы в наших становищах одевались не хуже хозяев.

Рабы не понимали нашу речь, часто не понимали друг друга, но всегда хорошо понимали ременный язык скифских налаг. Поговаривали, что хитроумные тавры, первыми начавшие klempit' коней раскаленным железом, стали теперь klempit' своих рабов, чтобы не путать их с чужими и легче опознавать беглых. Такой обычай тавров старики подсказывали царям. Но Агния Рыжая внезапно разгневалась и прогнала от себя стариков.

Это случилось как раз после того, когда с одним из караванов снова пришли рабы. И среди прочих — чернокожий гигант из сказочной Ну-бии, невиданный подарок царя Мадая молодой царице.

И возжелал бог Папай любви Аги-богини. Тьма закрыла небо, и не явился Солнцеликий из-за пределов Земли, страшася слепящих стрел охваченного страстью бога и гремящего голоса его.

Поникли травы, перепутав тропинки в степи, смолкли и попрятались птицы, и зверье ушло в свои норы.

Но напрасно метался ветер между небом и землей, вдувая в уши богини свистящий шепот порывистого бога.

Холодная и неприступная, ждала Аги-земля лишь возвращения Солнцеликого.

Истощив бог Папай свои стрелы, ослаб его грохочущий голос, и зарыдал он в неутоленной страсти своей.

Слезы его, лившиеся павшие на землю, сбивали нежные лепестки цветов, валили и ломали стебли

¹ Ну бия — древняя Эфиопия.

высоких трав, разрушали птичьи гнезда, затопляли звериные норы и переполняли реки.

Но неумолима оставалась Али-богиня.

И, уронив последнюю слезу, поднес бог Папай руку, одетую черным мехом туч, к выплаканным глазам своим, и из-под руки его вдруг прокотилось светлое небо над краем земли.

Тогда набросил Солнцегиин золотое узорное покрывало на тело Али-богини и услыхал, как глубоко и освобожденно задышала усталая земля, и ласково смотрел на нее затуманными огненными очами, пока не закрыла их ночь.

В наступившей темной тишине только полноводный Борисфен ворчал и пенился, круша и размывая родные берега и инося степную нашу землю к черным волнам далекого Эвксинского пonta¹.

Агния приехала к деду Май незадолго до темноты. Ее сопровождал черный Нуибец. Царица, нарядив обычай, пожелала сделать чужеземца, да к тому же раба, своим телохранителем. Теперь, облаченный в грубые кожаные доспехи, с тяжелым копьем в руках, он стерег вход в царский шатер. В первые дни его стражи люди постоянно толились перед шатром, разглядывая и обсуждая раба с испуганным удивлением: насыщенным любопытством. Два подгузливших ветерана, побившись об заклад, почти со всеми мужиками племени, попытались пройти за полог шатра, пренебрегая присутствием вооруженного раба.

Одного Нуибца сразу оглушил ударом деревка, а другого легко обезоружил и прогнал с позором под хохот и улюлюканье всего становища.

Царица, узнав о происшедшем, пожелала заплатить проигрыши неудачников баранами из своих стад, загасив вспыхнувшую было к ее телохранителю ненависть ветеранов, и, дорого выкупив у обезоруженного потерянный в схватке меч, одарила им верного своего телохранителя. Решительными и умелыми действиями Нуибец снискал недоумение уважение воинов, и его вскоре оставили в покое.

Подставив круглое плечо под ступню царицы, черный раб помогал ей сойти с коня. Дед Май вышел навстречу прекрасной гостье своей и, отогнав собак, сам снял чепрак² с лошадей. Конские спины, высвеченные низкими лучами заходящего солнца, дымились во влажном воздухе. Разбирая поводья, старик украдкой поглядывал на царицу и ее спутника.

Агния, закинув локти и упруго наклонив голову, поднималась к затылку тяжелые, мокрые от дождя пряди рыхких своих волос, скручивала их и собираясь ласкотать пучок длинной бронзовой булавкой, которую она пока держала, скимая губами.

Черный гигант высился у нее за спиной. Из-под опущенных век он сонно смотрел на суетящиеся белые пальцы царицы, туго медные завитки волос на напряженно выпнутой шее, на тяжелый пучок, казавшийся медно-красным в закатном луче.

Агния несколько раз торопливо ткнула булавкой в скрученные пряди, пытаясь крепко и сразу закрепить прическу. Неожиданно Нуибец, как будто очнувшись от сна, выбросил вперед черную руку. Его длинная ладонь поймала и накрыла пальцы Агнии. Жало булавки скрылось в волосах. Раб отпрянул. Круглое навершье заколки блеснуло в скрепленном пучке.

¹ Эвксинский понт — древнее название Черного моря.

² Чепрак — покрывало. Седел и стремян в то время не знали, коия покрывали кожаным или войлочным чепраком.

Агния не обернулась, не взглянула на дерзкого раба. Не поднимая головы, смущенно, исподлобья она взглянул поисками, где старый кузнец.

Дед Май проворно присел за спины лошадей и сделал вид, что разбирает спутанные поводья и ничего, кроме поводьев, не замечает.

— Ага, — сказал он, подмигнув сам себе. Потом, не спеша привыкает лошадей у коновязи, еще раз сердечно обдумал замеченнное и тихонько сказал лошадям: — Ага!

Пришел к очагу, царица начала издалека. Она знает, что никому, даже царям, не дано проникнуть за завесу тайны, хранимой богами.

Только посвященным, кому даровано подземными силами чудесное мастерство кузнецов, дозволено понимать дух Огня, не боясь его мести. Но от рождения наречена она огненным именем. Имя ее, может быть, позволит ей прибегнуть к божественной силе самого Агни.

Пусть кузнец спросит у бога Огня, какая жертва угодна ему. Агния ни перед чем не остановится, принесет любую жертву, чтобы задобрить богов. Она хочет, она должна знать судьбу, ей предназначенному.

Почему кузнец не отвечает? Царица она в конце концов или не царица?

Дед Май молчал, опустив глаза, что-то обдумывая.

— Аrimас, — строго позвал он.

Мальчик торопливо выбрался из-под вороха теплых шкур и, смущенно бормоча: «Мир тебе, царица», — выскользнул из кибитки.

— Прикажи и твоему рабу оставить нас.

Нуибец шагнул в темноту вслед за мальчиком. Пока не упал откинутый его рукой полог, Аrimас видел мертвенно-бледное, даже в свете пламени, лицо царицы и будто тень черных крыльев, взметнувшихся у нее за спиной.

Снаружи влажная темнота ночи была напоена тяжелым и прямым запахом трав. Ветер улегся. Стояла настороженная тишина, и слышно было, как постreichивают угли за войлоками кибитки.

Вдруг стоял огня, разбрасывая искры, вырвался в черное небо через круглое отверстие над очагом, багрово подсветив рваные края низкой тучи. И сразу же сильный, странно незнакомый голос запел дико и протяжно, как поет разбушевавшееся пламя. А может, это пел вовсе не старый кузнец, а сам дух Огня, всесильный бог Агни явился перед людьми, разгневанный настойчивой просьбой молодой царицы.

Псы подывая по-волчьи, метнулись прочь от кибитки и унеслись куда-то во тьму.

Охваченный ужасом, мальчик прижался к недвижно стоящему рабу, расцарапав нос и щеку о жесткую кошку воинских доспехов. Нуибец опустил ему на плечи тяжелые свои ладони, и Аrimас почувствовал, что пальцы раба дрожат.

Так стояли они, обнявшись, а голос огненного бога пел, то стонущим взигом взлетая к небу, то падал в темные травы, рыча низко и хрюя, пока не заполнил собой степь и небо над ней, и ничего уже не было вокруг, кроме трепещущего пламени в неопытной тьме над кибиткой, и это пламя казалось языком, дрожащим в темной пасти поющеего бога.

Тишина настала внезапно. Пламя упало. Темный горб кибитки торчал в посветлевшем небе. И в наступившей тишине раздался такой человеческий, такой страдающий голос женщины.

— Нет! Никогда! — крикнула царица.

Отшвырнув Аrimаса, Нуибец рванулся навстречу этому голосу за полог кибитки.

Дед Май хохотал, как помешанный. Он задыхался от хохота, кашлял, бил себя кулаком по колену и опять хохотал, размазывая по лицу слезы. Нуибец, Аримас и царица сначала недоуменно смотрели на него, но самих тоже разобрало. Их смех почему-то совершился доконца старика. Он повалился боком на шкуры у очага и только выкрикивал: «Ха! ха! ха!» — как бы отталкивая от себя что-то, его смешившее. Черный раб гудел басом, будто катил перед собой пустую бочку, Аримас взвизгивал и хрюкал, как поросенок, а царица, закинув голову, зевала чисто, непрерывно, словно ручеек по камням.

А потом царица вдруг заплакала.

Дед Май сразу перестал смеяться и сделался необычайно суеват. Он достал камешки бирюзы, расположил их в большой медной ступе и стал учить царицу, как подводить бирюзов глаза. И преподнес ей бирюзу и ступу вместе с пестом. Потом попросил книжек с пояса раба и, принеся короткий меч, разрубил лезвие книжека клинком этого меча, а меч пожаловал Нуйбецу. Потом достал маленькую свирельку, хорошо играл на ней и опять довел царицу до слез. А после учил царицу играть на свирельке и свирельку тоже подарила.

Агния уехала от него веселая, и до самого рассвета удивленное становище слушало сквозь сон ее неумелую игру на этой дедовой свирельке.

В ту ночь бог Агни устами старого кузнеца потребовал у царицы за раскрытие тайны ее жизни пристроить ему в жертву черного царского раба.

Новости не любят сидеть дома. Слух о богатствах нашего племени, петляя в высокой траве степей, перепрыгнул через волны трех рек и зацепился за корытные ветки мелколесья в стране андрофагов¹.

Дикие андрофаги не признавали скифских обычаяев. Плоскоголовые, одетые в меха воины рыскали в степях на своих низкорослых выносливых конягах, совершая внезапные набеги на соседние племена. Андрофаги похищали юнцов, с которыми обращались, как со скотиной, угоняли табуны и стада, грабили и разрушали становища.

Вместо того, чтобы украшать узду боевого коня пучком длинных волос, снятых с темени побежденного, как и подобает делать воину, андрофаги же, рвали тела своих поверженных врагов на кострах и поедали, как дичину.

Любой скоток с детства слышал об андрофагах. Матери страшали непослушных детей: «Вот подожди, придет андрофаг.»

И андрофаг пришел. Незадолго до рассвета я погнал табун к утреннему водопою.

Лошади, пофыркивая, легко шли, ширяя ногами в мокрой от росы траве. Туман, искристый, блесковато-розовый, еще не поднялся от земли, скрывая за призрачной своей завесой тихую перекличку бледных степных цветов. Иногда какой-нибудь жеребенок, играя, отскакивал прыжом от плотно идущих лошадей, и тогда его след темным извишом ложился в мокрой траве, прорывая покров тумана и обнажая густые переплетения крепких стеблей.

Такое же, только прямой, как стрела, след тянулся за скакущим сбоку табуна Светлым, и далеко-далеко в начале этого следа вспыхивал и клубился, прорывая туман, первый солнечный луч.

Когда мы достигли берега, туман уже поднялся, и отражения лошадей, четкие, яркие, необыкновенно чистые, легли в недвижную, казалось, воду.

Старая белая кобыла с проваленной спиной, волоча по гальке желтоватый, тонкий у репицы хвост, тронула воду губами, мотнула,роняя брызги, тяжелой головой, тело обтянутой кожей, и смело, первая вошла в реку. За ней, шумно будоража гладь воды, устремился весь табун.

Я скосыпал с горячей спины Светлого, лег на грудь, упираясь ладонями в мокрую хрустящую гальку, и тоже напился рядом с конем. Потом расстелил потертый чепрак в тени береговой кручи и растянулся на нем.

Табун стоял на мелководье. Лошади, подремывая, лениво обмывались хвостами. Жеребята задирали друг друга, но не решались далеко отойти от матери. Только молодые нежеребята кобылицы стайкой вышли на берег и прохаживались, теснясь, пугая подруг и сами притворно пугаясь, только для того, чтобы вдруг закосить глаза, всхрапнуть, раздувая ноздри, взбрькнуть стройными, сильными ногами и промчаться кругом-другой, откнув хвост, выгнув шею, радиусом гордясь своей молодой необъезженной силой и красотой.

Теперь было заметно, что течение на мелководье быстрое. Река моршилась и урчала, прибираясь на открытый простор среди множества лошадиных ног. Высокие ноги пошад, установленные прямо и сплека наклонно, похожи на стволы деревьев, а тела, хвосты, гривы подобны причудливым переплетениям тяжелых корней. Табун напоминает рощу, где деревья стоят тесно, но вытянувшись в линию.

...И правда, это роща, и сам я бреду меж стволов по колено в воде. Ноги то вязнут в донном песке, то оскальзываются на гальке.

Какие маленькие деревья! Я касаюсь рукой одного из стволов, поднимая голову. Ствол уходит в вышину, и там, высоко, сквозь густую корону едва пропивается солнце. Нет, роща не маленькая, просто я — большой. Стволы растут все теснее и теснее, я уже с трудом протискиваюсь между ними. Там, впереди, в узкие просветы я вижу Агнию Рыжую, свою царицу. Она стоит, уронив руки, и смотрит на меня молча, в упор. Вода, урча, поднимается все выше и выше. Вода ей уже по грудь. Но Агния этого не замечает, она смотрит только на меня. Я хочу крикнуть, предостеречь, но голос нет. Я русь к ней среди нагромождения стволов, отступая в глубокой воде. Вода прибывает; вода ей по горло. Длинные пряди золотых волос колышутся, погружаются.

Еще одно усилие, и я спасу ее, прекрасную мою царицу. Стволы медленно сжимают мне грудь, я не могу вырваться, я задыхаюсь.

Голова Агнии, подвяленная потоком, покачиваясь, отделяется от меня. Агния улыбается. Ее лицо мелькает среди дальнего стволов, пока не скрывается на всегда. И тогда я кричу, свободно, отчаянно и страшно...

...Чей-то крик, протяжный и дикий, сорвал меня с чепрака, на котором я уснул. Одуревший спросонья, я смотрел, как табун, пена воду, скакал вон из реки. Грохот ударивших по воде и камням копыт, испуганное ржание и крик, страшный этот крик.

Я испугался. Я видел плоские лбы обезумевших лошадей, плотным рядом надвигавшихся прямо на меня. Видел их расщепленные гривы, круглые копыты, взлетающие в бешеной скакче.

Я побежал, что было сильнее, вдоль берега, чтобы успеть пересечь путь скакавшему табуну и не попасть под копыта. Табун надвигался стремительно, я уже не чувствовал под собой ног, когда глухой грохот накрыл меня, горло обдало едким запахом конского пота и передо мной мелькнула ощеренная,

¹ Андрофаги — кочевое племя.

запрокинутая морда кобылицы с вывернутым белком глаза.

Тупой удар в плечо поднял меня в воздух, и я кувырком покатился в траву. И я увидел их. Только они могли кричать так страшно. Припав к шеям своих низкорослых коня, андрофаги вынеслись из-под бегра. Их было двое. Обгоняя их, высоко вскидывая ноги, скакал мой Светлый.

Мыслы, что я могу потерять его, отогнала страх. Я вскочил на ноги и призываю засвистел. Светлый круто свернул ко мне, не замедляя скаки. Одним прыжком, ухватившись за гриву, я взлетел на спину коня. Я думал, что андрофаги бросятся ловить меня, и был уверен в ревности своего скакуна. Собравшись в комок на холке, я пустил Светлого полным махом. Стрела с визгом рассекла воздух, ожегши оперением ухо. Я вынырнул под грудь жеребца, обхватив ногами широкую шею и вцепившись немеющими пальцами в космы черной гривы. Мне было видно, как андрофаги съехались вместе, остановились и вдруг, взмахнув плетьями, пустились в угон табуну. Еще не рождала стель скифа, который без боя уступил врагу коней.

Я уже закончил первый круг лет¹, был ловок и силен, но безоружен. Что я могу совершить, безоружный, против двух зрелых воинов? Я даже не успел предупредить своих, как андрофаги угонят царский табун, которому нет цены.

И я решил. Я погнал Светлого к древнему могильному кургану.

Обливаясь слезами бессильной ярости, обрывая ногти, я отрыл заветный меч и скап в ладони костяную рукоятку.

Я молил бога Папая испепелить меня самой яркой из своих молний, если я не смогу умереть, как мужчина.

Потом я снова вскочил на Светлого. Ветер ударили в лицо, размазывая слезы.

Агий!

Светлый, приседая на хвост, съехал по осыпи на глубокое дно старого, высохшего русла и поскакал по плотному песку, перепрыгивая через наполненные мутной водой промоины.

Если успен к табуну раньше андрофагов, погоню лошадей, в сторону нашего кочевья, а если не успен... Мерный глухой перестук копыт послышался, приближаясь, впереди справа. Значит, андрофаги догнали и повернули табун. Я придержал Светлого. Лошади скакали по-над краем песчаной крачки, обламывая травинистую кромку. Я повернулся Светлого и, прикрытый высоким берегом, во весь дых помчался обратно, высыпывая, где можно поскорее вываться наверх к табуну.

Светлый, роняя хлопья желтоватой пены и екака селезенкой, наконец вскарабкался по откосу и сразу оказался сбоку скакущего табуна. Старая белая колыба прынула в сторону и сорвалась с обрыва, подняв столб пыли. Я направил Светлого прямо в табун и снова скосынил коню под грудь. Тяжелый меч в истлевших ножках, болтаясь, колотил его под брюхом, сбивая равномерный скок.

Снова, но теперь ласковый и успокаивающий, голос андрофага послышался справа, по ходу табуна. Лошади, тесно сгрудившись, стали уклоняться от высохшего русла. Андрофаги перекликались над головами лошадей, держась по краям табуна.

Я снова распласталась на спине Светлого и, подобрав пыль, придерживал его, пока не оказался в густой пыли за табуном. Тогда я выдернула меч из ножен и пустил жеребца вперед между табуном и

обрывом. Спина всадника, прикрытая волчьим мехом, возникла из пыли внезапно. Черные волосы, заплетенные в тонкие косицы, прыгали по широким плечам.

И оборвался стук копыт. И замерли на бегу кони. И ветер, остановив полет, разбросал в клубах пыли расстрепанные гривы и хвосты лошадей.

Медленно, очень медленно я подняла и опустил меч на затылок врага. Рукоятка выскоцизнула из потной ладони, клинок, повернувшись, ударили плащами. Горячий ужас волной окатил меня. И сразу же заколыхались конские гривы, заклубилась пыль, и переступы копыт ворвались в уши. Наши кони, поравнявшись, скакали бок о бок. Андрофаг поднял ко мне широкое, маслено блестевшее плоское лицо. И тогда я прыгнула на него с коня, торопя свою смерть.

Стель стала на дыбы, закрыв небо. От удара о землю я потерял сознание.

Чье-то горячее дыхание коснулось моего лица. Я очнулся. Светлый, тяжело дыша, стоял надо мной.

Я лежал на теле врага, вцепившись в жесткую шерсть волчьей куртки. Андрофаг был неподвижен. Голова его неестественно повернулась, и темные узкие глаза без всякого выражения смотрели куда-то мимо меня. Я оглянулся.

Пыль осела. Никого.

Дикая ненависть к врагу, заставившему меня пережить смертельный ужас, овладела мной. Я рванул вончичный мех волчьей куртки и, подобравшись зубами к короткой шее за ухом, отвёдал вражью крови. А когда поднялся, в глазах вспыхнули и распились барабанные круги.

Меня нашли под вечер табунщики, без памяти лежащего на теле мертвого андрофага.

Набег дикого врага стал неистривом, наше племя обречено на гибель. Сколоты, давноставленные зреямыми воинами, не выстоили бы в смертельной схватке.

И тогда Агния Рыжая, царица, выступив насовете старешины, поклялась нерушимой клятвой освободить всех наших рабов, если они все равно погибнут, прибираясь через земли скифских племен, удерживавших их в покорности.

Старики скрепля сердце одобрили царицу. Рабы, возиковав, ответили клятвой. Все, кто мог, держаться в руках оружия, вооружились, сели на коней и встретили набег. Огромный курган насыпали мы потом над павшими в этой битве. И долго еще в степи по ночам озверевшие наши псы грызлись с волками над трупами андрофагов.

Но странно: обретя свободу ценой жизни, рабы небольшим числом оставили племя и ушли пробиваться через стени родных очагам. Многие, теперь свободные, остались с нами.

И Черный Нубиц, залечив полученную в битве рану, по-прежнему повсюду сопровождал Агнию Рыжую, нашу царицу.

Каждый год большая белая птица прилетает в страну иирков от крайних пределов земли. И каждый раз как-нибудь неосторожный охотник поражает белую птицу не знающей промаха стрелой. Но охотничьи стрелы никогда не убивают сразу, а прочно застревают в пышном оперении крыла. И тогда раненая птица летит прочь из страны иирков,

¹ Круг — двенадцать лет.

испуганно взмахивая большими крыльями, пытаясь
освободиться от застрявшей в оперении стрелы.

И там, где пролетает белая птица, ссыпается с неба
ее легкий белый пух и покрывает им землю и все,
что есть на земле.

Изнемогает раненая птица, ходит ее дыхание,
и стынуты воды рек и озер, над которыми она проле-
тает.

И лишившись сил, падает белая птица в черные
волны Эвксинского понта, и долго ее белые перья,
рассыпавшись, вздымаются на гребнях волн, пока не
стопрется земля и не утихнет взлоптанное паде-
дение птицы море.

С наступлением зимы мы, сколоты, оставляем пу-
стым становище и уходим вниз по течению Борис-
фена. Там, у соленой воды Меотийского озера¹,
ждем мы ульбы Солнцепекного, и с первым теплом
возвращаемся назад в родные стени.

...Что с тобой, Агния Рыжая, моя царица?

Перистые снежинки опускаются на длинные твои
ресницы, тают, скользяя блестящими каплями по
щекам, за широкий ворот меховой куртки, холода
шево.

Разве не за тем съехала ты в глубокий снег с
умятой колотыней и колесами дороги, чтобы хозяй-
ским глазом оглядеть тянувшийся мимо тебя поход
племени?

Но ты не чувствуешь холода, не замечаешь ни
всадников, ни коней, ни упряженных волов, ни погон-
щиков, ни кибиток. Лицо, будто вырезанное из куска
черного дерева, неотступно видишь ты перед со-
бой. Прозрачной синевой отсвечивают белки темных
бездонных глаз. Восторг. Ужас. Нежность. Боль.
Страх. Надежда. Пустота.

Ты рабыня, царица. Ты презреннее рабыни, пото-
му что ты — рабыня раба. Так благодаря же, благо-
дари царя Мадая за такой подарок!

Ледяная капля, склонивь под меж, обожгла грудь.
Ах, как хочется оглыннуть! Ведь он позади тебя, он
рядом, твой телохранитель.

Но нельзя, нельзя!

И ты вбиваешь патки в обсыпевшие бока кобы-
лицы, чтобы не встретить взгляды стариков и ве-
теранов, отряд которых замыкает растянувшиеся
обозы похода.

— Молитесь за меня богу Агни,— со слезами на
глазах попросила царица женщины.

Ночь, днев и еще ночь, не углася, горят большие
костры вокруг царского шатра. Крутит ветер снеж-
ную пыль, треплет высокое пламя, уносит в гулкую
туму голоса женщин.

Закутанный в меха Нубицер черной тенью вырисо-
вывается у входа в шатер, покачивается из стороны
в сторону, навалившись всей тяжестью на крепкое
дерево колы.

Женщины поют, потом, устав, замолкают, чутко
прислушиваются к глухим стонам, выплетающим из
царского шатра, и снова запевают громко и отча-
янно.

Мужчины бродят безо всякой цели за освещенным
кругом, остервенелое пиняя лезущих под ноги псов,
останавливаются, сойдясь, коротко перебрасывают-
ся словами, понижая голоса, и снова разбредаются,
поглядывая на красный верх шатра.

То и дело из пурги возникает всадник. Подскаки-
вает, раскидывая снег и грязь, к освещенному кругу,
осаживает коня, склонившись с конской спиной, ше-
потом спрашивает о чем-то у женщин и снова уно-
сится в пургу, к табунам, огрев коня плетью.

¹ Меотийское озеро — Азовское море (древнее название).

Ветер, налетев, рвет слова древней молитвы:

— Ты — недремлющий... ющий... лютого зверя...
нас самих, детей наших, скот наш... Агни... ликий...—
в которых раз заразят женщины и смолкают.

Заскулила собака, видно, получив крепкий пинок.
Снова заскулила, будто заплакала. Ой, собака ли это
скулит?

Нубицер выпрямился, перестав раскачиваться. Жен-
щины, обойдя костры, приблизились к шатру. Муж-
чины вышли из темноты в освещенный круг. На под-
скакавшего всадника зашипели, он скосыльнул с
коня, взял его под уздцы. Люди вспыхнули, за-
держав дыхание.

В шатре, теперь уже бессонно для всех, слабо
и жалобно заплакал младенец.

И тогда, словно кто-то толкнул их в спину мощ-
ной ладонью, люди устремились к шатру. Толпа от-
швырнула Нубицера, он упал в снег. Люди вали-
лись на него и лезли в шатер, наступая на спины
увавших. Шатер наполнился до отказа. Задние на-
валивались на спины стоявших впереди, но те уже
сдерживали настиск, упираясь пятками и выгибая
спины.

Агния, разбросав космы потемневших от пота волос,
обессияненная, наспех прикрыла, лежала нав-
знь на шкурах у самого очага. Две старухи, стоя
на коленях, склонились над большой чашей, омывая
новорожденного младенца теплым кобыльим моло-
ком и загораживая его от людских взглядов.

Нубицер, помятый и ушибленный, отчаявшись про-
тиснуться вперед, вытряхивая шею, смотрел над головами
столпившихся, как разошлись старушечки спи-
ны, как высокие старые руки подняли и показали
толпе новорожденного ребенка — чернокожую девоч-
ку. Толпа ахнула. Слабое пламя очага метнулось и
угасло. В наступившей темноте все головы повер-
нулись к выходу. Курчавая голова и широкие плечи
Нубицера отчего-то выделялись в разрезе открытого
полога, за которым весело кружился подсвеченный
корстами снег.

— Выйдите все! — вдруг властно сказал Нубицер,
неправильно выговаривая скифские слова. — Она мо-
жет задохнуться.

Тут только люди почувствовали, что в шатре стало
нечем дышать.

В ту же ночь, не принося благодарственных жертв
богу Агни, старики и ветераны, оставив семейные
кибитки, ушли от царского шатра на берегов Меотий-
ского озера к табунам и стадам, уведя за собой всех
юношей.

Они разбили боевой лагерь на расстоянии одного
конного перехода от кочевий племени, выставили
стражу и стали совершаться.

Под утро пурга внезапно угледилась, и Солнцепекий,
явившийся из-за пределов земли, вдруг одарил мир
ульбкой, сразу растопившей снежный покров и об-
огревшись легкое дыхание ветра. Смущенные было
сурвом отступничеством мужчин, женщины неска-
занно обрадовались добруму этому знаку, связав его
с рождением черной девочки, и, переговорив, реши-
ли открыться в том, что давно таили.

Собравшись во множестве, они отправились к боевому
лагерю стариков и ветеранов. Они легко шли
веселой гурьбой, радуясь вдругившимся по-весеннему
водам реки, отыскивали по дороге и указывали друг
другу тональные зеленые стебельки молодой травы,
выбившиеся из-под земли среди ржавой завали про-
шлогодних трав.

Женщины редко бывают в чем-либо уверены до
конца. Но если такое случается, ни уговорами, ни
угрозами, ни стойким долготерпением мужчине
не победить эту уверенность. Так было и на этот
раз.

— Эй вы, герои! Великие воины бога Папая, оставившие нас, чтобы совершить неужужные нам подвиги в неведомых нам странах! О нас, ваших женах, вы подумали? Или вам кажется, что драгоценные безделушки, под которыми гнутся спины караванных ослов, смогут заменить нам мужчин? Вы подумали о материах, у которых отнимаете для своих диких забав сыновей — многие из них никогда не вернутся к родному очагу или вернутся калеками. Вы подумали о дочерях ваших, которые стареют, так и не узнав женской любви и счастья деторождения? Может быть, калеки, по-вашему, большое счастье? Что вы напали свои раздолбанные панцири, вояки? Разве ваши мечи смогли защитить нас от андроидов? Нас защитили рабы, которых вы сами объявили свободными! Или вы не клялись нерушимой клятвой вместе с нашей царицей?.. Семнадцать долгих лет, как мыль, ждем мы возвращения своих мужчин, а они и не вспоминают о нас. Не вы ли, пьяные, похвалялись любовью к грязным чужим бабам в проклятых каких-то странах? А в это время мы, женщины, вместе с рабами берегли ваши табуны, ваши стада, труждаясь за вас, мужчины!.. Наша мучиньи забыли о нас, а мы забудем о них. Мы будем делять ложе с теми, с кем делим труд и пищу, радости и опасности! А вы не скифы больше, вы просто трусы! Вы все давно знаете, что мы тайно родимся с рабами, и от бесподобия только прячете голову под крыло, как глупые птицы. Раскройте ваши глаза: сам Солнцеликий посыпал нам свое одобрение!

Так кричали женщины онемевшим от ярости и обиды старым воинам.

А потом вперед выступила пожилая полногрудая скифянка и позвала юнца, торчащего по причине высокого роста из-за спин стариков.

— Гайтор, бедный мой сыночек! Ты бы не появился на свет, будь твой отец скифом. Настал час, и я скажу тебе: ты сын Белоглазого Кельта! Да, да! — и увидев, что у юнца отвалилась челость, закончила требованием: — Иди сейчас же домой! Твой отец всю ночь отбивал табун от волков не хуже любого скифа. Ты можешь гордиться своим отцом: он свободный человек и не даст нас в обиду.

Товарищи юнца с презрением отступили от него, и тогда несколько женщин разом заголосили, пепрекиравши одна другую.

— Ашикоз! Спутан! Масад! А вы что думаете, что родились от дуноявения ветра? Ваши отцы ждут вас у родных очагов и будут рады обнять своих глупых сыновей!

Обратно женщины возвращались, уводя с собой толпу потрясенных юношей.

Слава тебе, царица Агния Рыжая! Такого полного поражения скифского мужества не могли припомнить даже самые ветхие и злопамятные старики!

— Царица родила черного ребенка! — еще издали крикнул я, колотя без ножки пятками обросшие длинной шерстью, запавшие бока Светлого.

— Благодарение великому Агни! — торжественно отозвался дед Май.

Он стоял у кибитки, с сомнением оглядывая бедого бычка с испачканным в навозе боком, которого Аримас крепко держал за скрученную ремнем губу. Судя по всему, дед и внук не собирались уходить из кочевья, несмотря на решение старейшин. Да еще вопреки запрету готовились принести жертву богу Агни.

— Не чуявшего щедрой милости великого бога постигнет его гнев, — угадал мои мысли старый куз-

нец и вдруг, растопырив седую бороду, заорал на Аримаса: — Ну, что стоишь, как баран на солнечаке?

Аримас вздрогнул и, торопясь, стал отбирать ладони замарашенный бок скотины.

Старый кузнец протянул мне крепкий витой аркан и короткую толстую палку. Я спешился, принял из рук деда жертвентное орудие и присоединился к Аримасу. Вдвоем мы натянули аркан через колмогую голову на шею бычка и укрепили за ремнем палку. Дед Май, мурно помахивая куском негнущейся старой шкуры над тлеющим костром, слезясь и чихая от дыма, поднял пламя.

— Пор!

Мы подтащили упирающегося бычка к огню.

— Слава тебе, великий бог Агни, прикоснувшийся огненной рукой своей к новорожденной царевне! — торжественно выговаривал дед Май. — Тебе, недремлющий, посвящаю мы это незапланированное животное. Прими нашу жертву с миром!

Старый кузнец ухватил почерневшей могучей рукой конец палки и двумя поворотами туго сдавил аркан. Бычок рванулся, вывалил язык, выпустил глаза и рухнул у самого огня, опалив шерсть.

— Благодарю тебя, огненный бог!

Мы с Аримасом освежевали бычка, дружно работая ножами, срезали мясо с костей, туго набили им бычий желудок и повесили над костром. Собаки, почапав вокруг, жадно глотали пропитанный кровью снег.

Только когда дед раздал всем по куску жарко дымившегося варева, мы снова смогли заговорить.

Ловко орудия ножком и тонкими, измазанными жиром пальцами, Аримас набил полный рот и невинно спросил у деда:

— А если бы бог Агни не прикоснулся к младенцу, царевна родилась бы белокожей! — И незаметно для деда зорко подмигнул мне.

— Все может быть, — очень серьезно отвечал дед Май. — Слыхается, что у мудрого деда рождается внук-дурачок.

И когда мы весело и свободожданно расхочатались, дед добавил суроно:

— В эту ночь и пока не разрешу — от кибитки ни на шаг. Я не хочу потерять своих внуков, хотя бы и дурачков.

Старый кузнец не зря тревожился. Старики спешно разослали гонцов во все соседние становища. Гонцы вернулись обескураженными: женщины повсюду приветствовали союз царицы и черного раба и открыто ликовали.

Тогда старики со всякими предосторожностями снаряжали в долгую дорогу тайного посланца к самому царю Мадаю.

Но, видно, боги пощадили нас над стариками. Иначе как объяснить, что женщины, чудом прознав о намерении стариков, выследили тайного посланца далеко от кочевья, настигли после бешеной скаки, заэрканили, как скотину, сдернули с коня и забили насмерть.

Это случилось под вечер второго дня после рождения черной царевны. А ночью толпа вооруженных, теперь свободных рабов, в пешем строю, светя факелами, ворвалась в боевой лагерь продолжавших упорствовать стариков и вырезала всех, кто не успел сесть на коня и ускакать в степь.

В руках рабов оказалось богатое и разнообразное оружие, предусмотрительно засенное в лагерь ветеранами.

Уцелевшие старики, мучась ненавистью и страхом, под конвоем рабов вернулись в кочевые и поспешили принести запоздалые жертвы разгневанному богу Агни. Бывшие рабы единодушно избрали

Черного Нубийца верховным вождем и принесли ему клятвы, каждый согласно своим обычаям и богам.

Так мы, скотлы, по воле бога Агни прияли в себя кровь многих народов, а наши боги, потеснившись, дали место другим, незнакомым нам богам.

Глава вторая

Первые годы Мадай тосковал о Скифии. Каждого вновь прибывшего из скифских степей царь приглашал в свой боевой шатер, обильно угождал, жадно выслушивал и, расспрашивал, входя во всякие подробности. Особенно внимателен и нежен он был со скотолами, привозившими ему новости из родного становища. Он бережно расстриг в ладонях сухие венчики поднесенной в дар ковыль-травы и с волнением глубоко втягивал расширенными ноздрями горький степной дух.

Гости, отчасти желая удовлетворить любопытство царя, отчасти стремясь угодить ему, рассказывали, сгущая краски и возвышая тонь, о боевой готовности юнцов принять участие в будущих походах царя, о радости женений и стариков от щедрых даров царских краеванов и, конечно, восторженно и благоговейно, красоте и ранней мудрости молодой царицы и о великой ее любви к нему, Мадаю Трехрукому, царю над всеми скифами.

Обычно Мадай в конце концов напивался вместе с гостями, требовал звать песенников и, подпевая старым скифским песням, плакал умиленным пьяными слезами. Гости уходили из шатра, очень нестордо держась на ногах, то и дело роняя по пути дорогие дружееские подношения царя.

Но со временем однообразные рассказы Мадаю прискучили, подробности надоели, да и приток пополнения в скифское воинство становился редок и малозначительен. Гости, пирь и песни в царском шатре прократились как-то сами собой.

Агни Рыжая, скифянку, жену свою, Мадай почти не запомнил с той далекой ночи. Он представлял ее себе уже только по рассказам, а скоро и это бесплотное представление сильно поблекло и совсем улетучилось из памяти. Да и Агния Рыжая, не забывшая Мадая, теперь не узнавала бы его.

Он стал пренебрегать простой и привычной скифской одеждой, носил на плечах пестрый плащ-павлин, накинутый на легкий, тонко, но прочно кованый панцирь. Седеющие бороду и волосы подкрашивал аманином, старательно нечесывая длинную прядь, на буристый розовый щарм, оставшийся справа вместо уха, отсеченного на стенах горящей Ниневии. Зато в мистической мочке левого уха теперь покачивалась усыпанная рубинами, тяжелая серьга из драгоценного красного золота.

Он располнел, обрзг, широкий, изукрашенный золотыми пластинками пояс постоянно сползал ему под живот, и только меч-акинак по-прежнему висел в истерптых старых ножнах, и отполированное в ладони старое костяное навершие по-прежнему гордило о прозвище «Трехрукий».

Не только доведенные до отчаяния защитники Ниневии — матери, городов — видели обнаженным этот страшный меч.

Он летел впереди скифских орд по всей Месопотамии и указывал скифам путь в Заречье.

Жители Урарту, Манну и Хатту помнят его смертоносный взмах. Он скверкал на широких улицах Аскаконана, в разгромленном Рагуллите, в многострадальном Хорране.

Ассирийцы, вавилонянне, лидийцы, мидяне, иудеи,

египтяне — враги и союзники — равно страшились безудержного набега скифской конницы, осыпающей противника тучами стрел, разящей пиками, сорвавшими мечами, топущей поверженного врага копытами диких и быстрых своих коней. Разгром довершили лохматые звероподобные псы, явившиеся вместе со скифами от берегов Борисфена.

Но теперь ярость открытой борьбы оставала, как раскаленный дебела клинок в родниковской воде. Враги разгромлены, союзники вежливы, как бедняки у чужого костра. Храмы чужих богов были разграблены. Но боги остались.

В великой своей гордыне Мадай стоял тайно примеряя к себе чужих богов и, не испытывая к ним уважения, ни страха, думал силой или обманом принудить их служить его, Мадая, удаче.

А пока, определив сильные гарнизоны в покоренные города, царь скунулся в развлечения, не забывая, однако, аккуратно отправлять на родину казненные с богатой добычей.

Лидийский царь Алиатт, сын Садиатта из Сард, первым принял скифских вождей в своей столице с невероятной пышностью и почетом. Глубоко пряча болезненное самолюбие под маской добродушной веселости, молодой, но уже искушенный дипломат, Алиатт окончательно завоевал доверие скифов широким размахом в празднествах и искусной простотой в обращении.

Любые скифов к коням и угадав в Мадае прирожденного лошадника, Алиатт распахнул перед ним двери царских конюшен. На много дней забыв пиры и утех женской любви, Мадай целиком отдался извечной страсти вольного кочевника. Царские конюшни были превосходны. У Мадаев разбегались глаза, он потерял аппетит и обидно прогрязел. Наконец его восторги обрели прямую цель. Он остановил свой выбор на злой вороной кобыле местной породы, горбоносой и вислоязой, похожей на хищную птицу и, как птица, быстрой. Он знал, что Алиатт не откажет ему, но все-таки гордость мешала первому намекнуть о подарке.

Лидийский царь зорко следил за скифским царем и змел ловко подвести разговор к вороной кобыле. Мадай признался, что видел во сне, будто он скакает на этой кобыле по родным степям. Алиатту ничего не оставалось, как немедля выполнить указания богов. И Мадай, торжествуя, узнал, что Мадай думал, будто он дарит другу то, что определили скифскому царю в подарок сами боги. Алиатт не смеет равняться себя с богами. У него есть для гостя свой подарок. Пусты все убедятся, как висячий он, Алиатт, ценил дружбу скифского царя.

О, Таргитай, отец всех скифов! Может быть, только у тебя был конь такой красоты и силы. Но оскудела еще Нисса прекрасными конями! Какая стать, что за маленкая сухая голова, а шея — широкая и плоская, как лезвие секиры. Ноги, кругл, плавный изгиб от холки до хвоста — все без изъяна. Да этот жеребец дороже золота, а может, он и вправду золотой — какая масть!

Мадай чуть не задушил в объятиях Алиатта, сына Садиатта.

— Отдарить его золотым оружием! Вина! Эй, други, поднимите его на плечи и несите в пышественную залу. Он брат наш на все времена!

И веселье вспыхнуло с новой силой. А пока вожди разоряли пышственный стол, отборный скифский отряд уже готовился в далекую и желанную дорогу. Воинам было строго наказано без промедления вести ниссейского жеребца к берегам Борисфена, чтобы он дал начало новому роду царских коней в скифских степях.

...О мидянах говорили так: «Если ты беден и хочешь разбогатеть, купи мидянина за то, что он стоит, и перепродай за то, что он о себе думает». Весь род цара мидийского Киаксара, сыны Фрагорта, внуки Дейока, славился своими привычками. Выдумки, одна чудней другой, постоянно посыпали рано оплешившую голову царя, толпились в ней, как овцы в колодце, и своим громким блеянием настойчиво требовали скорейшего воплощения. И царь волоплощал.

Именно поэтому считалось, что в Мидии никого ничем нельзя удивить. И вправду, где еще увидаишь такое: высоко в небе, у края обрыва над водой обмелевшего озера, висят на золоченых цепях огромного колеса. Витые стебли круглой галереи поддерживают над колесом ажурный шатер слоновой кости.

Залезай под самое небо, гостем будешь. Пожелаешь — и колесо медленно закружится, как живое. А ты сиди себе, обложенный расшитыми атласными подушками, пей густое приортное вино мидийских виноградников, жуй орехи в меду, вдахай запах благовонного розового масла, пока не закружится твоя голова и не станешь ты блевать на узорные ковры тонкой персидской работы. Эту выдумку свою царь Киаксар назвал «Ласточкино гнездо».

Туда-то и уединился царь, чтобы привести в надеждящий порядок мысли, готовые на этот раз нести его крепкую голову.

Последнее время в Междуречье творилось нечто недобродетельное. Старые скифские воажды молоды веселились у лидийцев в Сардах, а под стены древнего Вавилона грозно подступала скифская молодежь. Отряды скифской конницы пытались посыпать, согнав землемедельцев за городские ворота. Появившиеся на стенах вавилонян скифы осыпали особыми стрелами, издававшими при полете устрашающий свист. Давно изучая скифов, Киаксар был склонен рассматривать эти налеты как буйное проявление боевого азарта молодых воинов и советовал своему зятю, царю Вавилона, укротить их, снесясь с Мадаем.

Но Навуходоносор в Вавилоне думал иначе. Он немедля принял усилия укреплять оборонные рубежи, готовясь к новой войне. И сейчас прислал к нему, Киаксару, доверенного человека, приведшего мысли царя мидян в ужасный беспорядок.

Вот что доносили вавилонские шпионы: Мадай, царь всех скифов, тайно жаждет священного вавилонского престола. Он, варвар, готов прислониться к алтарю великого Бога Мардука, лиши бы его чудовищные планы сбылись. Мадай уговаривает Алияту Лидийского помочь ему военной силы и обещает долю в добывче. Алияту колеблется. Этого мало. Иудейские пленники Вавилона заверяют Мадая в своей поддержке, если он гарантирует им сохранение жизни и свободы.

Навуходоносор помнит, как он, Киаксар, будучи семнадцати лет назад, в союзе с отцом Навуходоносора Набопаласаром, отвел ужас скифского нашествия, бесстрашно явившись в лагерь Мадая и объявив себя клиентом¹ и даниником скифского царя.

Сопливый мальчишка! Он не упустил случая напоминать Киаксару о давнем унижении.

Навуходоносор, просит его, своего тестя, верного друга Вавилона (ага, теперь сам учиняется!) найти способ избавиться от скифов и на этот раз, а если такой способ не откроют боги, дать Вавилону вспомогательные войска и не медлить.

¹ Клиент — так называли зависимых от кого-либо лиц.

Киаксар подошел и оперся на перила галереи. Под ним, низко над озером, летела стая каких-то птиц. Вдруг скок черной молнией упал на вожака, расшиб его так, что брызнули перья, и подхватил жертву в когти над самой водой. Стая, заметавшись, бросилась врассыпную.

Киаксар вздрогнул и заспешил покинуть «Ласточкино гнездо».

Он сразу принял решение, только сомневался в одном — сколько запросить в случае удачи с этого мальчишки, царя Вавилона. Уже идя навстречу тайному посланцу, определил: «30 талантов² золота. Дасть. Обязательно дасть».

Скифские воажды сразу откликнулись на любезное приглашение старого друга, царя мидян. Гарем Киаксара славился далеко за пределами Мидии. Лучшие публичные дома Вавилона не шли ни в какое сравнение с затеями мидийского гарема. Нет, совсем не все равно, где и с кем пить и безобразничать. А старый друг, видно, напуган и готов на все.

Здравствуй, «Ласточкино гнездо»! А ну, покрути нас, Киаксар, мы посмотрим, смогут ли мидийские женщины сильнее вскружить нам головы.

Эй, мидийские воины, верные союзники! Мы дадим бок о бок, давайте и пить ворвемся. Если гость напечется у вас в доме — он верит вашей дружбе. Так считают у нас в степях.

В разгар пира Киаксар прижал платок к губам и, притворившись захмелевшим, вышел из-за стола. Это было условный сигнал. Мидяне выхватили спрятанное под одеялкой оружие.

Сперва — Мадай. Надеты под просторный плащ панциры удержал острие предательского кинжала. Нет, не за тем Мадай, прозванный Трехруким, поднялся царем над всеми скифами, чтобы его можно было зарезать, как ягненка для трапезы. Мадай даже не оглянулся на убийцу. Одним лыбивым прыжком перенес он погруженное тело через стол, в сажищу гущу мидян, стоптившихся против него.

Вырвать меч у первого растерявшегося врага было делом одного мгновения. Хруст выпотианный из плене руки, крик боли, второй воин рухнул с разрубленным лицом, оставил свой меч Трехрукому. Навсегда.

Навсегда запомнили вы, мидяне, кровавый ваш пир. Позор вашей подлости перевесил века, вцепившись, как репей, в хвост скифской славы!

— Ага!

И метнулось пламя светильников от древнего боевого клина. Завертелось в руках Мадая блестящее колесо смерти. Не одна отчаянная голова, сунувшаяся остановить стальное это колесо, покатилась по дорогам ковров под ноги дерущимся. Тяжелые блюда, острые горловины расколоты амфор, подушки, скамьи — все стало оружием. Пронзенные мечами скифы последним живым усилием прятывали к себе врага, погружая клинок в свое тело по самую рукоятку, и умирали, не размыкая объятий, пополам сцепив зубы на горле предателя.

Но силы были слишком неравны. Скоро только горстка скифов, сумевших завладеть оружием, спина на спине отбивалась от наседавших со всех сторон мидян.

— Опрокидывай светильники! — вдруг, задыхаясь, прокричал Трехруким, и сам пнул ногой кованый треножник.

Горящее масло, шипя, хлынуло на ковры навстречу наступавшим. Мидяне отшатнулись. Это спасло Ваяя светильники, они выскочили из рокового кольца и, не выпуская из рук оружия, прямо

² Талант — самая крупная в древнем мире весовая и денежная единица.

с высоты галереи бросились вниз, скатились по обрыву и побежали в мелкой воде вдоль берега, стараясь не потерять друг друга в непроглядной темноте. Когда обогнули озеро, Трехрукий остановился. Погоня не было. Багровое зарево пожара, трепеща, расползлось по темному небу. Трехрукий усмехнулся. Это горело «Ласточиной гнездо».

Страшной клятвой поклянется в ту ночь Мадай отомстить Киаксара за предательство. Пять мучительно долгих лет будет ждать Мадай в скифских степях своего часа. И такой час настанет.

Подрастет у мидийского царя сын, нареченный в честь деда Киаксара Дейжком. И станет мальчик обличием и умом похож на любимого деда царя. И всей душой привяжется к сыну старый Киаксар и станет всячески отличать его среди других своих сыновей.

Тогда-то, в один беззобачный день, явится к царю мидян семеро скифов. И приведет их Хава-Массатет, прозванный Зубастой Овцией — начальник телохранителей Мадая. Бросятся беглые скифы в ноги мидийскому царю, раздерут на себе одеяния, расцерапают лица.

И узнает Киаксар, что хочет злопамятный Трехрукий жаждет содрать кожу с верных телохранителей своих за то, что плохо берегли его на том памятном пиру. И будут молить скифы царя мидян о покровительстве, чтобы служить ему верой и правдой и исполнить любую нужную царю работу, не требуя взамен ничего.

И помянут боги разум царя мидян, и подумает тогда Киаксар: «Пусть все знают, что величие мое, Киаксара, сына Фаэрорта, внука Дейжока, царя мидийского, выше величия Мадая Трехрукого, царя над всеми скифами. Пусть все видят, что грозные некогда скифы, побежденные мной, оставили своего царя и молят у меня, Киаксара, покровительства и милости».

И примет царь беглых скифов и назначит им обучать своих малычков скифскому языку и стрельбе из лука. А еще сопровождате царевичей на охоте и поставляйте свежую дичь к царскому столу.

Целый год будут семеро скифов исправно служить Киаксару и войдут к нему в полное доверие. Тогда убьют они на охоте маленького Дейжока, приготовят его так, как обыкновенно готовили дичь, и накормят его мясом Киаксара и его спутников. А сами уйдут в Лидию, в Сарды, к царю Алиатту, сыну Сиддатиа Алият же, боясь мести Мадая и соперничая с Киаксаром, не выдаст скифов по требованию мидийского царя. И начнется между ними война. А семеро беспрепятственно вернутся к Мадаю Трехрукому в скифские степи. Так будет отомщен Мадай.

— А потом? — Маленькая Агния сидела между нами у края обрывистого берега, жмурилась на яркую воду реки и болтала ногами.

— А потом Таргитай завернулся в львиную шкуру и пошел отыскивать исчезнувших своих кобылиц. Шел он, шел и набрел на большую пещеру под бегровой кручей у самого Борисфена. А в этой пещере жила полудева-полузмея, великая Табити-богиня. Увидел ее Таргитай и сразу же влюбился. А она говорит...

— Агния перебила менинг:

— Она красавица, богиня?

— Да, очень красавица.

— Как моя мать?

— Нет. — Агния внимательно гляделась в лицо маленькой Агнии. — У нее курчавые волосы, цепкая шапка курчавых волос, которые переплетаются,

точно змеи. И глаза большие, черные, с длинными, загнутыми ресницами...

Агния улыбнулась, высунув между зубами кончик языка.

— И улыбается она...

— Агния! Агния! — долетел до нас голос царицы. Там, вдали, за колышущимся морем трав, в которое с жужжанием ныряли пчелы, хорошо были видны три знакомые фигуры у дедовой кузницы.

— Иду! — протяжно пропела маленькая Агния и, неохотно поднявшись, попросила меня: — Давай подадим на Светлом. А то я немножко, совсем немножко боюсь ваших собак.

— О, мать всех скифов, великая Табити-богиня! Умерь свою обиду, спаси от страшной беды сыновей своих! Никогда, никогда не прислонялся Мадай к алтарям чужих богов... Только во славу твою, Змееногая, скрошит он роскошные храмы их, сдирая кожу с лживых жрецов на чепраки скифским коням! За что отвернула ты любящее лицо от горющих детей своих? Каких жертв требуешь ты еще от нас, несчастных?

Так молила Мадай Табити-богиню, и, отступая, скифы снова вытаптывали посевы, разрушали храмы, жили и опустошали города.

Все, что долгие годы терпело скифскую неволю, поднялось против скифов. Во многих покоренных городах жители, восстав, перебили скифские гарнизоны. Прежние друзья нагло нагло запирали крепостные ворота и бесстрашно встречали незванных гостей стрелами и кипящей смолой с укрепленных стен. Наказывать за измену было некогда: мидяне наступали на пляти. Горе скифу, осуждавшему лишиную меру вина и уснувшему на лишишем час. Такой просыпался лишь для того, чтобы заглянуть в пустые глазницы смерти. Любые сокровища готов был отдать теперь каждый воин за сменного коня. Безостановочной скачке кони ломали ноги, падали запаленными или сраженными стрелами преследователей.

Уверовав в то, что счастье изменило ему, Мадай не решался даже на попытку самому атаковать обнаглевшего врага. Приманные скифские вожди были почти полностью перебиты на пиру у Киаксара, и теперь откатывающаяся на север орда только злобно огрызаясь на бегу, как затравленный собачьими волк.

И все же скифский царь оставался верен себе. Поречневший, закопченный в дыму пожарщика, осунувшийся, в помятом панцире и шлеме, он скакал с тремя сотнями самых отчаянных позади своего воинства, яростно рубясь в туче схваток, прикрывая отступление. По ночам, когда скакать по незнакомой местности было опасно, Мадай, лежа на подстеленном чепраке и намотав на запястья повод, со щемящей нежностью вдруг вспоминал свое стечное детство. Удивительно ярко видел себя маленько-го — большеголового крепыша в короткой конопляной рубахе, с хвостинкой в руках, не поспевающей за пропитой пегой козой, потому что босые ноги его больно накалывала короткая, срезанная пастбищной травянистая стерня. И остро ощущал уколы этой стерни, будто сам в этот миг ступал поней босой розовой ступней.

А с рассветом опять скакал, меняя коней, отбивая внезапные наскоки, ни о чем не думая и ничего не чувствуя.

Последним вошел конь Мадая в безопасные воды Борисфена, и первым узнал Мадай оглушившую его новость.

...Удивляясь самой себе, Агния Рыжая теперь чаще, чем прежде, думала о Мадае. Любовь к Нушибицу, захватившая ее целиком, заставляла по-другому взглянуть на далекого супруга-царя, заново наедине с собой пережить все страхи той единственной ночи с ним. Но теперь эти привычные страхи уже не были страхами. Правда, Агния еще продолжала жалеть себя, ту молодую, неискорененную девушку, по капризной воле богов ставшую царицей, но теперь к этой жалости примешивалась какая-то смутная жалость и к самому Мадаю, чувство спокойного, безусловного превосходства над ним. Ей почему-то иногда хотелось, чтобы Мадай видел, как она счастлива, как любима, как счастлива и любима doch ее — маленькая Агния.

Она понимала разумом, что все в ее жизни может трагически измениться, если вернется Трехрукий. Но сердце не слушалось предостережений рассудка, и Агния гнала прочь тревожные мысли, утешивая себя, что все будет хорошо и обязательно должна произойти какое-нибудь чудо, если случится вернуться скифам. И это чудо должно защитить ее, Агнию, счастье.

По ночам, когда Нушибец засыпал с ней рядом, она приподнималась на постке и при слабом, неверном свете очага подолгу гляделась в его темное, подсвеченное красноватым пламенем лицо.

Она отыскивала все новые, едва заметные черты сходства дочери с отцом, и эти маленькие открытия восхищали ее. Когда возлюбленный переворачивался на живот, она проводила легкими пальцами вдоль синеватого шрама, разрезавшего широкую спину, и сознание того, что эта рана получена им в борьбе за жизнь ее племени, одушевлялось в ней болю за него и горячей нежностью.

Однажды ей приснился сон, будто идет она по потралленному скотом выпасу и несет на руках маленьку дочь свою Агнию, еще грудную. Скоро должна показаться кочевье, но что-то никак не показывалось. Агния останавливается, чтобы оглядеться, и видит, что за ней на стерне идет большая пегая коза. Вроде идет сама по себе, но остановилась Агния, и коза остановилась. Стоит, жует жвачку, смотрит на Агнию своими прозрачными козымыми глазами, нехорошо смотрит. Агния прибивала шагу и чувствует — коза не отстает. А кочевья все нет и нет. «Я заблудилась», — поняла Агния и, холода от испуга, побежала, прижимая к себе ребенка. И тогда позади затопотала коза, заблескала страшно, басом. Агния споткнулась, уронила ребенка на высокую стерню, скрикнула... и проснулась. И долго не могла унять бешеную колотящуюся сердце.

Однако, когда резкий, режущий слух звук охотничьего рога поднял от сна становище, Агния вместе со всеми спокойно вышла к берегу Борисфена. На той стороне реки, тускло блеск вооруженных в сером свете пасмурного осеннего утра, кружились на конях трои.

— Слушайте вы, ублюдки и отродье ублюдков! Готовьте высокие коля, скоро ваши безмозглые головы будут торчать по всей стени и кормить голодное воронье! Мадай Трехрукий, наш царь, хранимый богами, возвращается! — кричали всадники.

Люди, тесно стоявшиеся на берегу, безмолвствовали. Поры прета подняли и растрепали огненные волосы царицы, выступившей впереди всех.

Вдруг с того берега, насторож, перелетел заунывый свист и оборвался гулым стуком. Агния Рыжая, царица над всеми скифами, качнулась вперед и, раскинув руки, будто хотела обнять это холодное, неисточное утро, скатилась, ломая сухие ветки кустарника, под обрыв и упала затылком в воду.

Пряди золотых волос заколыхались, подхваченные течением. Опёрённая стрела торчала у Агнии в горле.

Страшно, как насмерть раненный зверь, закричал Нушибец и несколько стрел, словно поднятых этим всплесм, взвились над толпой и упали в воду у противоположного берега. Трое, поворотив коней, невредимые уносились в степь.

Нушибец, приподняв в ладонях голову Агнии, прижал ухо к груди ее, ловя слабое биение сердца. Потом поднял на руки бессильное тело царицы и, дико ѿщерившись, прошел сквозь расступившуюся в страхе толпу в царский шатер.

Люди остались на берегу, подавленные созиавшейся на них бедой, сразу поверив в новые, еще большие беды.

Когда же в шатре закричала и громко заплакала девочка, толпа поспешно разошлась в молчании. Становище казалось вымершим, даже псы куда-то попрятались. И только белобогая кобыла царицы, сорвавшись с привязи, храла и взвыкивала, свободно носилась между кибитками и шатрами.

Всю горечь поражения, весь позор бегства теперь вымешивали скифы на дерзких рабах и ненервных женщинах своих. Первые ставшие на пути кочевья и становища воняли выхлопом дотла, сорванными с землей, затоптанными конями. С рабов заживо сдирали кожу, рубили руки и ноги, головы насекивали на коля. Девушки и женщины насиливали скопом, пороли плетьми, кидали в огонь пожерши. Не щадили даже детей. Убивали новорожденных, засыпавших, закалывали коней, зашвыривших под седоком.

Спасаясь от безжалостной расправы, люди бросали свои очаги, скот и имущество и бежали к нам в становище.

Нушибец, мрачный, как туча, носился на взмыленном коне среди беженцев, распределяя вооружение между мужиками, сколачивал по признаку единокровия боевые отряды.

Агния Рыжая металась в жару, еще жила, не приходя в сознание. Старухи несущими стерегли ее, сманивали губы и лоб ледяной родниковой водой, прикладывали к ране пучки целебных разваренных трав. Нушибец часто заглядывал в шатер, внезапностью появления каждого раз пугая старух. Приседал лицом к горячей ладони царицы и долго оставался так. Потом поднимал голову, оглядывал старух горящими, сухими, черными, как уголь, глазами и, ничего не сказав, уходил.

Так же внезапно среди ночи он появился у деда Мая. Нагнувшись, вошел за полог кибитки, бежреко прижимая к могучей груди спящую дочь, закутанную в пущистые рыхкие лисьи шкуры. Май высипал меня и Ариимаса нести вооруженную стражу у кибитки и долго о чём-то шептался с Нушибцем. Потом Нушибец уехал, настегивая коня плетью, не оглядываясь. Когда мы, наскучив стражей, осторожно заглянули за полог, маленькая Агния крепко спала у очага, а дед Май нестривно смотрел на нее, спящую, и всклокченная борода его погрягивала.

Именем умирающей царицы Нушибец доверил ста-рому кузену жизнь маленькой Агнии. Ему, старику, предстоит нелегкая, полная опасностей дорога. Сопровождать его мы не можем — двум молодым воинам незачем просто так гулять за кибиткой в степи. Это будет глупой неосторожностью. Он не сомневается в нас, но лучше, чтоб его тури знали только он и боги.

Если боги пожелают, мы все встретимся. Он молит их об этом. Пусть и мы станем молиться. В оставшемся мы вольны поступать так, как хотим, но только не смеем предать тех, с кем выросли,

или, по зову скифской крови, поднять меч на несчастных наших товарищ. Ну-ну, не надо горячиться, он знает своих внуок.

Всю ночь мы втроем, переговариваясь, торопливым шепотом, мешая друг другу, собирали леда. Мая в известную одному ему дорогу. Уже совсем рассвело, когда кибитка, набитая всевозможным скарбом, была поставлена на колеса, съетые кони впряжены, спящая Агрина удобно устроена на волоках и шкурах.

Дед, в остророгой скифской шапке, выворотной куртке и таких же штанах, заправленных в низкие мягкие сапоги, деловито проверил надежность колес, упряжи и повернулся к нам.

— Простите, если в чем был виноват перед вами.

Мы обнялись. Дед молодо поднялся на высокое колесо, уселился на передок, разобрал вожжи.

— Ну, прощайте, — медленно произнес дед Май. — Живите вместе с жизнью: не спешите — буду нагоните, и не отставайте — буда нагонят.

Он тронул коней. Кибитка скрипела, качнулась и быстро покатилась по пристойной траве, сразу скрыв от нас за своим горбом дед Май. Вдруг полог ее откинулся, милое темно-смуглое лицо под шапкой кудрей выплыло наружу, и веселый голос прокричал:

— Аrimас! Сауран! Вы не скучайте, мы с дедушкой покатаемся и скоро вернемся.

Когда кибитка скрылась за край степи, Аrimас сгаснула меня в объятиях и, не стесняясь, разрыдалась.

Насколько хватало глаз, простирались желтая, обетравшавшая степь. Ветер, посвистывая, гнал по своей охоте, куда попало, круглые, серовато-ржавые, будто сданные вольным мехом, мотки перекати-поля. Кони шарахались от них, хряли, выдыхая белый пар из разодраных удилищ ртов и раздутых от непривычного ужаса ноздрей.

Временами волки малыми стаями обявлялись у края оврагов, издали, поджав полено¹, разглядывали коней и всадников и вдруг пропадали, будто проваливались в землю. Промерзшая нонами земля звенела под конями. Конька с хрустом, крошили тонкий, крепкий ледок, уже прихвативший воду в ложбинках. Конь оступалась, припадала на передние ноги, и тогда всадник, зло рванув повод и тихонько ругаясь, снова выравнивал конские бег и напряженно взглядывал вперед, под низкие облака, держась между товарищами.

Нубиц вел свои отряды навстречу Мадею.

Многие рабы неуверенно держались на конях, но все были исправно вооружены и без страха настроены к битве. Нубиц скакал впереди, закинув лодыжки к самому краю высокого вороного жеребца с подвязанным хвостом. Когда вскидывал черную руку, скваченную медным чеканным наручником, всадники натягивали поводья, разгорчченные кони фыркали, встряхивали головами, приплясывали на месте. Брызгали, стягиваясь, оружие.

Нубиц перегравил свои отряды через Борисфен и теперь двигался навстречу Мадею так, что зе время держать по левую руку берег реки.

И снова вперед ходкой рысью, сберегая силы коней...

Скифы открылись взглядом внезапно, как волки. Казалось, они вечно стояли здесь, словно врыты в землю на пологих склонах холма. Но они не исчезли с глаз, подобно волкам, а продолжали стоять

без единого заметного движения, будто непрступная, скованная металлом стена.

Нубиц поднял руку, передние резко осадили коней, задние, замешкавшись, с ходу наскочили на них. Ряды расстроились.

Туча стрел, посланная от неподвижной скифской стены, закрыла небо. Белоглазый Кельт, стоящий позади Нубица, охнул и скривился за щеку, в которую косо впилась стрела. Где-то в рядах пронзительно заржала лошадь. Выжидая второй залп, всадники прикрылись щитами, держа правые руки на рукоятях мечей, скимая коротким копьем, расплюя в себе ярость к битве.

И тут какой-то ополоумевший заяц, высоко кидая длинные ноги, вынесся в пустое пространство между войсками, стражнуя по седой от мороза траве и вдруг присел, новострии уши, привалив зажиравшей за лето задницей пушистый свой хвост. Его важная глупая фигура с торчащими ушами была хорошо видна по всей линии войск.

В рядах скифов прокатился смешок. Заяц, постриг ушами и продолжил сидеть. Смешок перерос в хохот в скифских рядах и отозвался искренним весельем в отрядах Нубица. Задние вытягивали шеи, становились коленями на спины коней, чтобы взглянуть на невероятного этого зайца. Заядлые охотники среди скифов пихнули боевые вороты в гориты и, заложив пальцы под усы, засвистали азартно и зловещо.

— Узы его, узы! — не выдержав, закричал сам Мадай и, стосковавшись по мирной степной охоте, мужчины подхватили:

— Узы! Узы!

Заяц, сложив уши, сорвался с места и, совсем одурев от шума, метнулся прямо в отряды Нубица.

— Узы его! — И с этим криком скифы, вырвав из ножен мечи, ведомые зайцем, бросились в атаку.

Рабы мужественно выдержали первый налет. Скифская конница, выйдя из боя, рассыпалась по стели отдельными отрядами. Напрасно Нубиц кричал, срывая голос, пытаясь остановить преследование убегающих скифов. Рас牌照ленные первой удачей рабы группами преследовали скифских всадников. Скифы же, носясь во всех направлениях по степи, подобно перекати-полю, отстреливались на скаку и внезапно с боку, с тылу налетали на преследователей, сминали; рубили, поднимали на конь.

Когда Нубиц с помощью верных своих соратников снова стянул отряды в цельное войско, стало заметно, как поредели ряды рабов. Повсюду вокруг валялись тела раненых и убитых, и даже при беглом взгляде было видно, что на одного убитого скифа приходится не меньше трех пораженных противников.

Этот вид усоянных телами поля вселял лихую уверенность в сердца скифов и поколебал души рабов. Теперь они оставили свои мечты о разгроме скифского войнства и думали только об одном: как пройти сквозь этот страшный заслон и бежать, бежать из холодных скифских степей. Или умереть свободными.

Чутым раба и опытом воина Нубиц без слов показал своих товарищ и сосредоточил всю волю на решительном этом усилии. Как литой кулак, ударили отряды рабов по скифам. Они прошли сквозь их рассыпавшиеся сотни, не соблазняясь роковыми преследованием, и устремились на юг, вдоль берега Борисфена. Скифы потянулись за ними и, нападая то на левое, то на правое крыло смокнутых отрядов, пытались оторвать воинов от сплитных силы, вклинившись в гущу, быть порозы. Но отряды уходили, наращивая бег коней, расчетливо поражая смелейчаков, особенно близко сунувшихся к лаве.

¹ Полено — охотничье название волчьего хвоста.



— Черномазого мне, живьем, живьем! — хрипел Мадай, крутя коня у самой лавы и прикрывая щитом голову, с которой был сшиблен шлем.

Тогда царские «отчаянные» заскочили в голову отрядов и нечеловеческим усилием отбили от остальных Нубицца и еще до сотни воинов.

Лава пронеслась.

Еще отдельные воины преследовали уходящие отряды, а скифская конница всей несметной силой теснила к берегу кучку храбрецов, оборонявшихся с мужеством отчаяния.

— Коней под ними убивайте, коней! — Мадай сам выпустил первую, тщательно прицеленную стрелу в шею вороного жеребца.

Жеребец упал на колени и стал валиться на бок. Нубиц разосплюзнул со спины, прыгнул вперед, как барс, и, рванув ближайшего всадника за ногу, сбросил скифра с коня, словно тот был не крепкий, одетый в тяжелые доспехи воин, а мешок сена. Но на пустой чепрак ему не дали запрыгнуть. Выставленные вперед копья недвижились, грозя острыми наконечниками. Нубиц отмахнулся мечом, попытавшись, присев, избегнув падения брошенного аркана, и прыгнул вбок, но был огнен встремлен оstryми копьями.

— Что это мы делаем, скифские воины? — зычно крикнул Мадай. — Мы боремся с нашими рабами! Пока они видят нас вооруженными, они считают себя равными нам, свободными. Сейчас я возвышу плеть вместо оружия, и вы увидите, скифы, они сразу поймут, что они только наши рабы!

Мадай соскочил с коня, отдал ближайшему к нему воинам меч, отстегнул колчан и протянул лук. Кольцо наставленных копий разомкнулось. Мадай Трехрукий вступил в круг, поигрывая длинной витой наганкой.

Они стояли друг против друга, оба высокие, мускулистые, оба в дорогих изукрашенных доспехах — один с мечом, другой с плетью.

Сражение остановилось. Сделалось необычайно тихо.

Нубиц медленно обвел горящими глазами сплошной заслон из копий, толпу вооруженных скифов, теснившихся за этим заслоном. На Мадая он даже не взглянул. Разлепив запекшиеся губы, коротко прошептал всего одно слово. Черные ладони скжали рукоятку меча. Обоядоострый клинок легко вошел в щель между поясом и нагрудным панцирем.

Я, Саурян, сын сколотов, и Аримас, винч Мая-кузнец, были среди тех, кто сражался рядом с Черным Нубицем до последнего его вздоха.

Агний!

Оставив своих воинов на поле подбирать раненых и обшаривать трофеи, Мадай во главе «отчаянных» неожиданно объявился в становище и, спрыгнув с коня, шагнул за полог царского своего шатра.

Старухи метнулись в стороны, как летучие мыши.

Агния Рыжая, неверная жена его, лежала перед ним мертвенно-бледная, вытянув вдоль тела бессильные руки. И, глядя в незнакомое лицо этой зреющей женщины, Мадай был поражен редкой ее красотой. Опытным взглядом жеонолюбия окинул Мадай всю ее фигуру, привычно отметив плавные линии бедер, круглые чашки высокой груди под простой рубахой, и снова жадно вспыхнул глазами в лицо Агнии.

Длинные, оттянутые к вискам глаза ее были прикрыты. Тень от ресниц подчеркивала горбинку короткого носа. Маленький рот с припухшими, вяло очерченными губами, казалось, не взялся с уверенной кривизной крепкого подбородка, и это казуяющееся несоответствие придавало лицу строгое и

вместе с тем беззащитное выражение. Прекрасное лицо забытой им жены откинутое с чистого лба волосы, точно медные змеи, заплетающиеся вокруг головы, и вся она раскаленным klejmom вдавилась в дрогнувшее сердце Мадая.

Зачем, о боги, во имя какого богатства и какой славы все эти долгие годы глотал он пыль на опасных своих дорогах, лез очертя голову на неприступные стены горящих городов, чудом уходил от стрелы и клинка?

Прав, тысячу раз прав черный раб, укравший у него это сокровище, которому он сам не знал цены. Его любовь, та единственная, о которой он грезил, которую искал, заворевшая полмира, ждала его здесь, в родных степях, в его шатре.

Агния застонала, повернулась, пучок трав сплюзнул на плечо, и Мадай увидел почурившийся от крова обломок стрельбы, торчавший в горле женщины.

Агния открыла глаза и взглянула на стоявшего перед ней царя. Она смотрела на него спокойно и строго, и он, не раз видевший смерть в лице, вдруг побрезговал.

— Ты здесь? — спросила царица одними губами.

— Здесь, — просто сказал Мадай. И, пересилив себя, ответив на ее немой вопрос: — Он драня, как подобает мужчине. Он умер свободным, царица.

Агния улыбнулась, по лицу ее пробежала судорога, веки сомкнулись.

— Агния, Агния, не уходи! — не помня себя, закричал Мадай.

И когда на его крик в шатре вбежали воины, он повернулся к ним до неузнаваемости искаленное страданием и яростью лицо и, указывая на обломок стрельбы в горле царицы, прохрипел:

— Кто?

Со смертью Агнии Трехрукий прекратил чинить расправу. Он оставил жизнь и свободу пленникам, которые вместе с Нубицем последними защищались от скифского оружия. У ног великой Табити-богини наша царица не забыла о нас. Так смерть Агнии подарила нам жизнь.

Как подобает царице — почтено и торжественно, — здумал Мадай похоронить неверную жену свою. Но сначала случилось вот что. Одноглазый скотоп, старый ветеран, сохранивший на правой руке всего два пальца, похвастался среди воинов, что, несмотря на свою увечью, пускать стрелу без промаха и так далеко, что она перелетает Борисфен в узком месте. Воины охотно подпаливали ветерана и потешались над его враньем. Пьяный, хитро подмигивая единственный глазом, вдруг невнятно пробормотал заплетающимися языком:

— Спросите Рыжую...

Тогда мы с Аримасом силой приволокли его, пьяного, к царскому шатру.

Мадай вышел к нам с золотой секирой в руках. Разделив нас и взяв под стражу, по древнему обычью скифов, со вниманием допросил в шатре каждого отдельно. Он ничем не выдал себя, когда выслушивал похвалью Одноглазого, и только спросил, хорошо ли тот управляется с конем. Ветеран даже слегка прорезвел от обиды.

Царь что-то шепнул Хаве-Массагету, своему телохранителю, и вскоре воины подвели на ременных растяжках дикого мышастого коня с опененной мордой и косищами, налитыми кровью глазами. По велению царя жеребца стреножили и, схватив хвосты, крепко привязали его за ноги к лошадиному хвосту.

Мадай сам проверил ременные узлы и произнес царский приговор:

— Мало кто из скифов перебросит стрелу через Борисфен. Но ты зря стал хвастаться без свидетелей. Скачи, найди Агнию Рыжую, царицу, жену мою... — голос Мадай сорвался, — пусь она подтвердит твою удаль.

Воины враз ослабили ремни, державшие ноги коля. Он прыгнул, изогнув шею, ударили задом, высоко подбросив привязанного к хвосту, и, молотя тяжелыми копытами, полетел в степь, унося с собой человека. В угон ему, стянувшись над землей, устремились натравленные псы. Мадай круто повернулся и скрылся в шатре. Начальник телохранителей скользнул за ним.

Мы отошли недалеко, когда Хава-Массагет догнал нас:

— Царь над всеми скифами пожелал отблагодарить вас. Просите, что нужно.

— Ничего. Мы свободные скифы, а не рабы царя и выдали убийцу не за награду. Царь и так одарил нас, дав сшибки с него шлем в бою.

Ариамас дернулся сзади за пояс, и я умолк. Массагет, прищурившись, твердой рукой сдерживал пляшущего коня.

— Я передам царю ваш смелый ответ. А вас хорощенко запомни. Обоих.

Он поднял своего аргамака на дыбы, крутанул в воздухе и ускакал.

Мы шли, стараясь не спешить. Но Массагет не вернулся за нами.

Тело Агнии Рыжей опустили в глубокую и широкую могилу, окруженную безмолвной стражей из отборных воинов. Царица с лицом, словно выточенным из мрамора, лежала, обряженная в драгоценную пурпурную ткань. Руки ее были увенчаны круглыми золотыми браслетами. Золотые бусы украшали высокую шею, пряча страшную рану. Широкая, черная, шитая золотыми нитями лента скрепляла тяжелые, рассыпавшиеся по изголовью волосы.

Бронзовое зеркало, подарок деда Мая, стояло в гробу у левого плеча.

По четырем углам могилы были врыты толстые высокие столбы, поддерживающие настеленный помост. Там, на помосте, горел неутасанным пламенем погребальный костер. Вокруг его огня Мадай со своими ближними спряталась погребальная тишина. Три дня и три ночи бесконечно, не пянясь, пил он крепкое неразбавленное вино, а в исходе третьего дня серое лицо его вдруг налилось темной кровью, и он ничком упал в костер.

Горбатый энхар-скопец, которого царь повсюду называл за собой, надрезал ему жилу на запястье, выигнал в глиняную чашу дурную эту кровь, и Мадай окликнула, но долго оставалась слабым, дергая щекой, и левая рука его плохо слушалась.

Тридцать две ржавые кобыльи, по числу лет умершей, принес царь в жертву богам. Когда тела рабов и прислужниц наполнили могилу, Мадай приказал опустить в ноги царице тело Черного Нубийца; не снимая с него боевых доспехов. Рядом положили бывшее в бою оружие его и узду чеку с вороного жеребца, убитого Мадаем.

А потом воины, старики и женщины потянулись длинной чередой к могиле, и каждый бросал свою горсть земли. Так повторялось много раз, пока не вырос высокий холм, видный далеко из степи.

И навеки простившись с Агнией Рыжей, царицей, Мадай увел пришедших с ним скифов за Борисфен, в сторону Герра¹, подальше от нашего становища.

Там на пологих холмах они разбили свой лагерь и объявили себя царскими скифами, а всех прочих скифов — детьми рабов и своими рабами.

А на месте сестрых с лица земли кочевый и становищ скифами, приказал вытесать из камня и поставить большие фигуры скифских воинов и высечь на них изображение меча и нагайки, дабы во все века знали от рождения скифские женщины, кто в наших степях настоящий хозяин.

Атой!

Глава третья

Агния сидела в воинчей темноте трюма, не слыша всхлипываний и шепота своих товарок. Волны мерно били в низкие борта, раскачивая судно, как огромную колыбель.

Агния, широко раскрыв глаза, полная няжского предчувствия скорой радости, бездумно уставилась в темноту и вдруг захмурилась от раскаленного сияния длинных быстрых искр, летящих из-под тяжелого молота.

«Дух! Дух! Дух!» — равномерно ударили молот, а она души в углу каменной кузницы и смотрела, как дед Май неустанно бьет по низкой наковальне. Нет, это не дед Май, это кто-то другой. Она не может угадать его в лицо, но знает, что любит его, любит больше всех на свете. А кто же второй? Кто поворачивает щипцами раскаленный брусок на наковальне? Вот взглянул на нее из-за плеча, улыбается. Саурэн! Ну, конечно, это ты, Саурэн! Ты хочешь загородить меня от летящих горячих брызг. Спасибо тебе.

Кузнец отбросил молот и протянул руку к раскаленному брусу. Что он хочет сделать? Ведь он обожает ее.

Нет, не обожгся. Держит в руке докрасна раскаленный короткий клинок.

Агния весело. Он прекрасен, ее кузнец. Она смеется.

Вот кузнец шагнул к ней, опускает руку с клинком. Все ближе, ближе горячее мерещащее острое.

Она хочет встать, но ноги затекли. Хочет заэродиться руками — руки не слушаются.

Она смотрит кузнецу прямо в лицо, чтобы остановить его взгляда, и вдруг понимает, что кузнец не видит ее — он спен...

Свежий ветер дохнул в удивленную темноту трюма, разбудив Агнию. В квадрат открывшегося люка на миг заглянули звезды. Потом чья-то тень закрыла небо, и перекладины лестницы заскрипели. Кто-то тяжелый Быстро спускался вниз. Агния сидела у самой лестницы. Шершавые ладони ощупали ее голову, плечи.

Жесткие пальцы вцепились в руку выше локтя. Кто-то, невидимый в темноте, обдал ее лицо горячим нечистым дыханием. И Агния, как рысь, вцепилась ногтями в это лицо. Вскочив на ноги, извиваясь всем телом в железных обятиях, била она коленями, вскрикивая, когда чувствовала, что ударила крепко. Невидимый во тьме скривил ее за волосы и отогнув голову, повалил наизнанку. Он не проронил ни звука, только шумно, прерывисто дышал. Тело, придавившее ее к мокрым доскам, медленно, всей тяжестью поползло по ней. Жесткая щетина бороды окоробила щеку. Задыхнувшись, она открыла рот и почувствовала, как скользит по ее губам липкая от пота кожа, как дернулось горло, когда невидимый судорожно скотнулся.

И тогда, извернувшись, Агния вцепилась зубами в эту волосятую глотку. Невидимый завизжал, как

¹ Герр — область, где жили царские скифы.

испуганный вепрь. И женщины в трюме закричали все сразу, весело и страшно.

Жесткие пальцы рвали ей уши, волосы, пытаясь добраться до лица, но она обхватила руками жесткую шею и грызла, грызла, пока горячая кровь толиком не заполнила ей рот, лишила дыхания.

По палубе захлебывались ноги бегущих. Матросы, светя фонарями, один за другим попрыгали в трюм. Ней-то сильный удар сбросил с нее тяжелое тело пришедшего во тьме.

Агния закрыла лицо ладонями и лежала так, ничего не желая видеть, только слышала хрюканье, захлебывающуюся ругань, выкрики матросов и дикий хожет женщины.

Потом весь этот шум перекрыл гневный голос хорызина.

Матросы, уводя своего товарища, выбрались на палубу.

Люк оставался открытым всю ночь. Всю ночь женщины, улыбаясь, смотрели, как над парусом плывут в небе высокие звезды. И только Агния пла-кала тихо, безутешно. Она обнаружила, что потеряла свою талисман — дедову свирельку.

И ей казалось — навсегда.

Эту когда-то обольстительную гетеру обдуманно изуродовал не в меру ревнивый обожатель, и с тех пор в Афинах она звалась Медуза.

Сквернословия и брызги слюной, Медуза сбивчиво объясняла, что сегодня утром купила у хозяина корабля трех девушек для своего «дома любви», да еще переплатила втридорога за одну из трех.

Теперь эти дядьки сбежали от нее. Она, Медуза, уверена, что лукавый финикианин нарочно прятет белаяяку здесь, на своей посудине и, по всему видно, поступает так не впервые.

Он, конечно, в слове с девчонкой: продаст ее, она сбежит обратно на корабль, и тю-тю — ищи ветра в море!

А денеки поделят. Ее, Медузы, честный заработок! Дуры нашли!

Пусть недежная страж золотых Афин, неподкупные скифы осмотрят воровское это корыто, обшарят его сверху донизу.

Медуза клянется Афродитой Критской, своей за-ступницей, что они найдут здесь то, что ищут.

И уж тогда лукавый финикианин сполна заплатит ей за обиду.

Такие уловки на торге и вправду случались нередко, и поэтому Арина строго потребовал хозяина триремы¹ к ответу.

Финикианин оставался невозмутимым. Темное, с моршинистой, загрязбившей под солнечным ветрами кожей лицо его ничего не выражало.

Он спокойно приказал команделе подать нам за-правленные маслом морские фонари и не двинулся с места, когда Арина в сопровождении Медузы и ее жирного прислужника-сирпийца, тоже взявшего фонарь, отправился осматривать палубные постройки.

Проверив, легко ли выходит меч из ножен, я спустился в трюм. Тощнотворный, рыбный дух мешался здесь с приторным, сладким запахом гнилых фруктов. Фитиль фонаря чадил и мигал, бродя в сырой темноте. Тулко отдавались в пустоту короткие всхлипывания волн, толкующихся между бортом судна и камнями причала.

Трюм был пуст. Никто не прятался за грязными дощатыми перекрытиями. Собравшись выплезать на-вверх, я на всякий случай заглянул за поставленную торчком лестницу. Ступня опустилась на что-то твер-

дое, маленько, раздался сухой хруст, нога поехала в арок, я едва устоял, ухватившись за щербатую перекладину.

Присев на корточки, я повел фонарем над самым дном.

Если бы передо мной представлена сама Змееногая, я, верно, не был бы так поражен. Круглая и короткая, выпиленная из полой кости скифская свирелька, вроде тех, что любил дед Май, лежала в грязи на досках с отколотым и раздавленным моей ступней загубником.

Я поднял ее так опасливо и бережно, будто она была жива, и бессмысленно уставился в простой, знакомый каждому скифу полуостершийся узор на ее загубниках.

Надежда, за долгие годы согнувшаяся в привычку, вдруг расправилась во мне, поднялась, поманила легкой женской рукой, взглянула ясными глазами. Зажав свирельку во взмокшей ладони, я вскочил на палубу, едва не сшибив ног друга, стоящего над лазом.

Я разжал ладони и показал находку.

— Арина... Арина... — больше я ничего не мог выговорить.

Да и нечего было говорить! Мы знали, мы оба знали наперед, что сейчас будет.

Прямо с низкого брата упали мы на спины лошадей. Коньки, захлебываясь, заполотали по деревянному настилу.

— Куда? Безумцы! Варвары! Куда? — истошно зорала вслед уродливая старуха.

Скорей, скорей!

Мимо темных кораблей со скелетами мачт и снастей, между горами грузов, под ерку ворот, в город.

Белая колоннада — мимо! Коньки выбивают синие искры из каменной мостовой. Храмы, дома, статуи богинь и героев — мимо, мимо, мимо!

Ошалевшие прохожие — мимо! Туда — на холм и вниз; скорей, скорей — высвистывают пласти. Через изгородь — а! Вокруг конюшен — сюда!

На всем скаку мы прыгнули с коней.

Небо качнулось всей своей глубиной, и чья-то одионюккая звезда, сорвавшись, полетела к земле, стремительно и беззвучно.

Скифы, стоящие плотным кольцом, расступились. На опрокинутой вверх дном банде, накрытая конской попоной, опустив в ладони лицо, сидела женщина.

Мы не проронили ни слова, не двинулись.

Она подняла глаза нам на встречу и поднялась с места. Попона скосыльнула на землю.

Смуглая, прекрасная богиня Надежды, она сразу узнала нас, шагнула к нам, не стыдясь своей наготы, глубоко и освобожденно вздохнула и заплакала тихо и жалобно, как дитя, обхватив нас руками за шеи.

Снова — но теперь на словах — шли мы по следам деда Мая и маленькой Агнии. Мы возвращались на дорогу нашей юности, но сейчас между нами по этим дорогам шла молодаая желанная женщина, и живое ее присутствие смягчало боль многих утрат. Мы снова были, как и прежде, веселыми и молодыми.

...Зимние пути трудны и опасны, и, преодолев переправы Тиракса и Пирета², дед Май решил зазимовать у добродушных гетов.

Особенно не сближалась дружбой ни с кем, дед занялся по мелочам кузнецким своим промыслом,

¹ Тиракс — тип галеры.

² Тиракс и Пирет — древние названия Днестра и Прута.

пережида холода, заботясь о девочке и обдумывая глухие, тревожные, случайные вести из скифских степей.

Однажды к позднему огню кибитки пришел человек.

Незнамец зябко кутался в раневе верблюжье одеяло, из-под которого торчали его на удивление тонкие ноги в истертых деревянных сандалиях.

Он оказался одним из многих рабов, счастливо ушедших из страшной битвы со скифами, эллин ро-дом.

От него дед Май узнал о гибели Черного Нубийца и обоих юношеских-скифов, выступивших вместе с рабами против царя Мадая.

Старик, не раздумывая, принял неимущего эллина, кормил его всю зиму и без конца заставлял пересказывать, как славно дрались и погибли молодые скфики Аримас и Саурон, его внуки.

Эллин терпеливо и даже охотно повторял, то ли вспоминая, то ли выдумывая новые убедительные подробности, а дед Май молча слушал, не прерывая, не отрываясь, глядя в огонь строгими, глубоко запавшими глазами.

Только раз, раздобыв где-то хлебного неизченчного вина, старый кузнец написал до безумия и, выворотив из кибитки тяжелую оглоблю, страшный, лохматый, с дикой резвостью гонялся за эллином, крича, что тот подослан, чтобы отравить маленькую Агнию, и что сейчас он, дед Май, казнит его ужасной, невиданной доселе смертю.

Эллин плакал от испуга, а маленькая Агния сначала смеялась, а потом, жалея деда, который полугодовым бегом по морозу, бесстрашно усмирила его, увела в кибитку и уложила спать, притихшего, дрожащего и покорного.

С началом весны тронулись втроем за Истр и дальше, держась близко понтийского побережья. Желания эллина и скифы совпадали. Эллин стремился в родные Афины. Дед Май долго жил там когда-то молодым, хорошо помнил звучную эллинскую речь и полюбил часто объяслять, что у старого кузнеца достанет еще сил и искусства сделать Агнию Богатой невестой. И протяжал к ней свои черные, хранящие кузнецкий жар ладони.

Эллин же всегда вторил речам деда и прибавлял от себя, что в Афинах умеют ценить женскую красоту.

Добираться в Афины решили морем. Суровые македонские горы страшны путникам, да и сами македонцы сплыли неласковыми к незваным гостям.

Византин эллин стоялся с владельцем маленькою кипрского суденщика. Продали коней, кибитку и нечужой скярб. Большая часть выручки ушла в уплату корабельщику, а осталное дед Май припрятал за широкий кожаный пояс под охрану кибитки.

Эллин шутил, что, видно, ему на роду написано быть скифским рабом и что в Афинах дед Май возьмет его в рабство за долги. И клятвенно уверял, что обрадованная богатая афинская родня щедро отблагодарит доброго скифа.

Прямо на палубе дед Май заколол нарочно купленную для этого черную овцу, чтобы задобрить жертвой своеvolentного бога Фагимасада — повелителя вода.

Отплыли весело.

Агния проспала приход бури. Когда дед Май вытащил ее на палубу, где, грохоча, перекатывались волны и от резкого ветра захватывало дыхание, кораблик уже несло на скалы.

Людей смыло в море еще до того, как суденышко, ударившись о скалу, раскололось, словно орех.

На Агнию была только набедренная повязка, в воде ее сразу сорвалась.

Дед Май никак не мог освободиться от просторной своей куртки и пояса, боясь хоть на мгновение лишить девочку своей помощи. У самых скал огромная волна накрыла их, оглушила, смяла, разъединила.

Богу Фагимасаду было угодно еще раз поднять их головы над водой уже далеко друг от друга, чтобы Агнию навсегда запечатлела в памяти облепленное седыми, мокрыми волосами лицо, и протянутую к ней темную широкую ладонь деда Мая, и раскрытый рот, кричавший что-то неразличимое в грохоте волн.

Потом прибой подхватил легкое ее тело и со свирепой силой швырнул вместе с запенявшейся водой в узкую каменную щель.

Агния очнулась маленькой тихой бухте, сплошь усеянной разноцветными камешками, мокрыми и блестящими на солнце.

Ободранные о скалу бок и бедро распухли и ныли тупой, непрерывной болью...

Высокие красные скалы замыкали бухту, нависали над ней, обещая скорую тень.

От моря бухту ограждали две мощные каменные глыбы, склоняясь, словно родные сестры. В узком проходе между ними, набегая, пенялась волна.

Агния ступила в воду, но сразу у подножия глыб-сестер берег отвесно уходил вниз, а встремочный прибой не давал выплыть.

Тогда, как ящицера, прижимаясь к нагретому гладкому камню, Агния влезла на одну из громадин.

Небо обнималось с морем. И эти объятия заполнили весь мир, и даже для нее, Агнию, такой маленькой, не оставалось в нем места.

— Дедушка! — надсаживая грудь, закричала Агния и в невыразимой тоске и обиде погрозила кому-то смуглым кулаком.

И вдруг ужас обял ее.

Беспредельное небо было над ней, и под ней бездонное море.

Она глянула вниз и содрогнулась от ощущения высоты, на которую решилась забраться. Сестр-скала не отвергла ее, подняла, держала на горячем своем плече, стояла крепко.

Но ведь и скалы послушны богам. Кому ты послала грозить, маленькая скифянка?

И увидела Агния, как волна, тряхнув белой грядой, наскочила далеко внизу на ее скалу, откатилась, свирепея, и опять ударила с роковым упорством.

И Агния поняла ясно и просто, что никогда больше не увидит деда Мая, что он ушел от нее навсегда и вместе с ним ушло ее, Агнию, детство.

Агния быстро спустилась со скалы, только потом с удивлением вспомнила, как легко нашла простой спуск, будто он отыскался сам собой.

Волна разбилась у ее босых ног, переворожив камешки, и склынула.

Костяная дедовка свирелька лежала поверх камней, подкапываясь к самой ступне. Агния присела, подняла свирельку, оттерла ладонь, подумала, облизнула посоленевые губы и тихо заскрипела тот самый напев, которому учил дед Май ее матер, царицу Агнию, а потом ее, Агнию, dochь Агнию.

Она сидела у самой воды и, превозмогая боль, играла на свирельке. А потом в бухту пришла тень, и Агния забылась в спасительной ее прохладе.

¹ Истр — древнее название Дуная.

— Агния! Агния!

Голова эллина торчала над краем красных скал, замыкавших бухту. Агния обрадовалась нескованно. Эллин, тоже радуясь, улыбался ей, растянув рот до щёек.

Волна вынесла эллина, прекрасного плавца, довольно далеко отсюда. Он целый день бродил в поисках живой души, но встречал только камни. Они одни среди этих скал.

Бедный, добрий, старый скиф! Агния не знает: как эллину спуститься к ней в бухту?

После нескольких пустых попыток эллин остался наверху. Так они провели еще две бесконечные ночи и один бесконечный день. Эллин научил Агнию смачивать губы и ополаскивать рот соленой водой, но самого его сильно мучила жаждка. Он отыскивал мох, росший в углублениях на камнях, жевал его и жаловался, что это мало помогает. Днем они спавали к подножию камней, ища тень, а ночью дрожали от нестерпимого холода.

Утром второго дня эллин с диким криком стал носиться, размахивая руками, по самому краю склонной гряды, рискуя сорваться и сломать себе шею. Агния была уверена, что боги лишили его разума, и, рыдая, молила успокоиться. Эллин продолжал волить еще долго, а потом лежал на камнях, совсем обессиленный. Теперь, невидимый ей, он не отзывался на любые вопросы Агнии.

Агния уже стало казаться, что он умер, когда в расщелине между камнями показался узкий членок и два подкрайних загорелых матроса с медными серьгами в ушах сошли на камни бухты.

Агния не разбирала их речи и только отчаянно со-противлялась желанию матросов взять ее в членок, настойчиво тянула пальцы вверх и громко звала эллина. Вдруг голова эллина возникла над краем гряды. Он увидел членок и матросов и с криком прыгнул к ним со скалы.

Он упал навзничь на разноцветные камешки, потеряв сознание и не приходил в себя, когда матросы перенесли его в членок, а только взигигло стоян, как обиженная женщина.

С финикийской триремы, идущей в Тир, все-таки заметили бегающего по скалам голого человека, и хозяин, подумав, приказал снять его с камней. Выяснилось, что эллин сломал ногу. Хозяин сам взялся лечить спасенных. Раздувшись бок и бедро, Агнию промыли белым вином и, обложив мелко нарубленными толстыми листьями какого-то странного растения, туто перетянули куском чистой холстины. Повязка сразу промокла от горького на вкус сока этих листьев, но боли ушла. Эллина перенесли и устроили на корме. На Агнию больше никто не обращал внимания, и она свободно бродила по всему кораблю.

Финикийянин спешил к дому. Трирема шла на всех вспахах и под парусом. Слава богам, попутный ветер не менялся.

Агния скоро освоилась на финикийской галерее. Опухоль быстро спала, царапины затянулись. Хозяин приказал ей помогать готовить пищу команде.

Агния не рассказывала с прещальным даром деда Мая. Она выпросила у матросов витой кожаный шнурок и носила свирельку на шее, как амулет.

Теперь все ее существо, жаждущее привязанности, обратилось к эллину. Она расспрашивала его об Афинах, о его занятиях, о родне. Эллин был с нею немногословен, но скучны его ответы Агния украшала своей фантазией и благодарила богов, что они оставили ей такого друга.

Как-то, выловив из котла особенно лакомый кусок мяса, не замеченный никем, пробралась она на корму, где в низкой палубной пристройке лежал эл-

лин. Она застала у него хозяина-финикийянина. Мужчины о чём-то совещались. С ее приходом они сразу замолкли. Эллин равнодушно уставился в потолок, а финикийянин с пристальным вниманием стал ее разглядывать, будто увидел впервые. Агния смущалась и выскользнула на палубу. Лакомый кусок она съела сама, прячась за бухтой свернутого каната.

Афины встали из моря неожиданно, ослепительно блестевшие на солнце крыши и белыми колоннами Акрополя. Город рос на глазах, поднимаясь из моря и облепляя светлыми легкими строениями оранжевые склоны холма. Матросы, горячно крича, убрали парус. Длинные брызги летели по воду с поднятыми лопастями узких весел. Быстро надвигалась пристань.

Агния по всему кораблю искала эллина, но его нигде не было. В жуткой тревоге, что с ее единственным другом случилось несчастье, Агния бросилась к хозяину-финикийянину.

Он стоял у борта, сладко, как готовят трап к спуску. Когда Агния подбежала к нему с расспросами, финикийянин, не отвечая, крепко схватил ее за руку и почти бегом увлек ее за собой на корму. Там он распахнул низкую дверь в пустую пристройку, где раньше лежал эллин, втолкнул внутрь и запер. Ничего не понимая, Агния кричала и молотила руками и ногами в дверь и стены.

Весь день и всю ночь она просидела взаперти, ослепнув от слез, думая страшное.

Наутро раздались резкие крики команды, пол под дверью качнулся. Агния припнула к щели под потолком. Трирема уходила от белого причала. Оранжевый холм погружался в море. Медленно поворачиваясь, удаляясь колоннада Акрополя.

Дверь в пристройку распахнулась. Финикийянин стоял на пороге. Агния теперь принадлежала ему. Эллин расплакался за проезд красивой смуглой девчонкой, как будто своей рабыней.

Агния не стала рассказывать нам про свою жизнь в богатом Тире, в доме хозяина-финикийянина, вдали от многих кораблей. Что-то мешало ей вернуться на эту дорогу вместе с нами.

Мы остановились и смотрели, как она, не оглядываясь, уходила от нас в свою тайну. Мы пытались угадать ее путь, понять молчание, видели затененное лицо под тяжелой копной кудрей, руку — темную тонкую кисть с набухшей веткой проложки; — беспомощно свисающуюся с колена, и понимали только одно: как дорога на Агнию.

В Тире от гостей хозяина Агния узнала о том, что покой Золотых Афин последние годы охраняет отряд волчьих скифов. Гости рассказывали, что скифы та и не сумели свыкнуться с ярким афинским солнцем, потому что упорно не желают расставаться с кожаными своими пропотевшими куртками и островерхими шапками. Что целыми днями по двое, по трое разъезжают они по городу, сидят верхом как-то по-своему, боком, и следят порядок на улицах и площадях, на пристанях и рынках. А вечером они скачут за городскую черту к подножию холма, где лошадей и людей ждут низкие, прохладные, вытнутые в линию строения конюшни, в одной из которых, освобожденной от перегородок, живут скифы.

А если заглянуть в высокие окна приспособленной под жилье конюшни, то можно увидеть, как кто-то из варваров спит, подложив под голову свернутый чепрак, другой с азартом играет в кости, а кое-кто даже читает по-гречески. По ночам скифы появляются в портowych притонах, пьют неразбавленное

вино и щедро платят за любовь доступных женщин. Сами скифы не затевают драк — они ведь поклялись охранять покой в городе, — а с ними в драку никто вступать не решается. Не зря же просвещенные Афины долго оплакивали свой наемный скинфский отряд.

И еще... Если обойти скинфские конюшни, то во внутреннем дворике станет виден огонь кузницы. Стучат маленьными молоточками и колотят тяжелым молотом, молодые скифы учатся отливать в формах, ковать и чеканить — по дорогим металлам фигуры птиц и зверей, людей и невиданных чудовищ. Эти изделия — варварских рун и фантазии, потом быстро расходятся, сплона оплаченные, по всей Элладе и упывают в корабельных сундуках, чтобы удивлять и восхищать многих людей за многими морями.

А трудятся кузнецы под наблюдением своего наставника, высокого, нетерпеливого, похожего на большую хищную птицу, скифа.

...В Тире и повсюду белого раба ловят, наказывают и оставляют у хозяина. Дважды бежавшего, поймав и наказав, заковывают и заставляют работать, как скотину. Трижды бежавшего раба убивают. Но работно, бежавшую хотя бы однажды, поймав, убивают сразу. Или продают далеко от дома. Агию решено было прородить в Афины. Ведь всем известно, что эллины умеют ценить женскую красоту.

Стремящийся узнать, кто распускает о нем слухи, похож на пса, который гоняется за своим хвостом.

С рассветом в Афинах не было человека, который бы не знал, что к скифам волей богов вернулась их темноокая царевна-рабыня. Медуза бегала по городу и кричала на всех перекрестках, что за свободу скинфская царевна должна ей заплатить по-царски. И безобразная старуха назначила неслыханный выкуп за белую свою рабу.

Толпы афинян осаждали скинфские конюшни, чтоб взглянуть на Агию. Начальник караульного отряда Ники Серебряный, известный тем, что, прогневавшись, ударом кулака уложил на мостовую боевого коня, сам выходил из элиниан, убедительно уговаривая разойтись. Но к поздну пришлося выставить вооруженную стражу, отозвав воинов из города. В городе им теперь делать было нечего: все Афины были здесь, у конюшни.

На расстоянии вытянутого копья вокруг жилой конюшни стояли верхами воины помоложе и, изнемогая от жары, укрыдкой молили бога Папая, а по-эллиниски — Зевса, потратив одну из своих молний на эти возбужденных афинян.

В прохладном полупрекреоне конюшни громадная, черная, пропотевшая шапка Ники Серебряного переходила из рук в руки. Золотые монеты разного достоинства: древние, совсем темные, грубо обрубленные, с истертыми, неразличимыми изображениями на них, может быть, побывавшие в руках народов, уже исчезнувших с лица земли; и новые — мацлено поблескивающие, носящие знаки тех стран, племена которых преуспевали сейчас и в гордые сытого достатка широке, рассыпавшие по миру золотые знаки своей силы; и просто слитки дорогого металла неправильных, причудливых форм, больший из которых не превышал размером куриного яйца; и камни — светлые и прозрачные, розовые и голубые, темные, зеленые, как кошачьи глаза, красные, как свежая кровь, в оправах и без оправ — все это медленно наполняло кулек скинфской шапки.

Обойдя полный круг, шапка вернулась к владельцу. И когда последний, держащий шапку за края обеими руками, воин протянул ее Ники, начальник

скифской стражи Золотых Афин отстегнул от пояса маленький кривой кинжал с изукрашенной резьбой рукояткой из драгоценной носорожьей кости и прямо с ножнами воткнул его в самую вершину груды.

И только тогда, перехватив свою шапку, Ник Серебряный протянул ее Агии, неподвижно сидевшей между скифами, словно изваяние из темного дерева.

— Один волос с твоей головы не стоит этой безделицы, царица — громко и отчаянно сказал старший скинф, и низкий, глубокий голос его, вылетев из высоких окон конюшни, покрыл гомон толпы и наbatim загудел в стенах.

— Агай! — боевым кличем отозвались скифы, сидящие вокруг Агии.

— Агай! — ответили им стоящие на страже.

И Агия, дочь Агии, скинфской царицы, медленно поднявшись, поклонились в ноги старому воину и долго не разговаривала стана, стыдясь показать горевшие ярким румянцем щеки.

От хорошей жизни не сбежишь наемников в Афины. Разными путами пришли эти скифы к берегам Эгейского пonta, — не возврат на родину был для всех равно невозможен. И только мы двое по наставию Агии решились вернуться на старое пепелище, под колытое коня Медая Трехрукого, царя над всеми скифами.

Степи! Родные скинфские степи...

Хорошо свеситься с передка кибитки и чувствовать, как опущенную вниз ладонь хлещут пушистые метелки высоких трав.

Еще засветло мы свернули со старой, наезженной дороги, и, поднявшись на плоскую макушку кривобокого холма, остановили кибитку, чтобы успеть разжечь костер и приготовить пищу до темноты. Знакомый кривобокий холм. Старый знакомый. Если спуститься по более кругому склону, пересечь дорогу и идти по стели так, чтобы Солнцеликий все время видел правое свое плечо, то вскоре травы рассступятся и поредеют, и ты окажешься у края узкой и глубокой балки. Отсюда надо двигаться прямо на востречу Солнцеликому, следя, чтобы твоя тень, не отклоняясь в стороны, послушно следовала за собой. Пройдя так далеко, как трижды пролетит из боевого лука стрела, ты наткнешься на маленький, теперь, верно, густо заросший травой курган. Никакими знаками не отмечен этот курган, и только случайный камень, серый и буристый, лежит, вдавившись в землю, на невысокой его вершине.

Под этим серым камнем погребен Светлый. Мой первый друг, мой конь. Не в лихой скакче, не в схватке под мечами и стрелами, не в работе, задавленный тяжким грузом, пал он, старый мой товарищ. Тогда давно, ступая позади нас по бездорожью, навыченный только двумя нашими торбами, он вдруг тяжело и шумно задышал, отрыгиваясь, и, не дав дотронуться до себя, раздув дрожащие ноздри на востречу ветру, навострив уши, поскакал в стель, не слушаясь ни нашего окрика, ни свиста. Далеко ускакав вперед, Светлый круто свернул и помчался, огиная нас по какому-то только ему видому кругу. Он скакал все разве и разве, длинная, давно не стриженная грива полоскалась над травами, и хвост летел по ветру.

Круг замкнулся, и Светлый встал как вкопанный. Вытянув шею, он, повернув голову в нашу сторону и заржал звонко и коротко, просяясь, может быть, с нами, а может быть, со стелью. Потом ноги его подались, и он рухнул в траву. Когда мы подбежали, все было кончено. Опустившись на колени, я при-

1 Эгейский понт — древнее название Адриатического моря.

поднял тяжелую мертвую его голову. Большая мутная слеза медленно скатилась из конского глаза, задерживаясь в короткой шерсти. Я нагнулся и почеловал его в теплые еще ноздри.

Мы погребли коня, привалив курган серым камнем. И шли дальше, пока нас не остановила рассекавшая степь балка. От нее свернули к дороге. Так я запомнил эту балку, эту дорогу и кривобокий холм.

Память упорно звала меня взглянуть на серый камень. Я отправился пешим, чтобы не оскорбить крылатую душу Светлого дружбы с другим конем. Весь путь я шел уверенно и быстро, а теперь, придя, кружки в траве, не находя даже следов кургана. Вдруг сильный порыв ветра пригнулся травы, и я увидел бургистый бок серого камня, торчащий из земли. Я понял подсказку ветра. Люди с сердцами шакалов, наткнувшись на одинокий курган в степи, разрыли его и, не найдя сокровищ, должно быть, испуганно смотрели, как беззвучно смеется над ними конский череп, ощерив длинные желтые зубы. Потом зверь расстянуло высокие кости.

Серый камень, зечем я пришел к тебе? Что ты можешь напомнить мне о моем коне, о Светлом, на горячей спине которого ускакала моя юность? Я сам, своими руками возвесил тебя, серый камень, на вершину кургана и оставил стеречь прах моего друга. И был ты мне послущен. И был ты послущен тем, что руки отбросили тебя сюда, в травы. Ты, видно, очень давно живешь на свете, серый камень, и твое послушание — от равнодушия к жизни. И не раз, верно, чьи-нибудь руки пригребут под твой тяжелый прах любимого существа, принимая спокойное твое равнодушие за немое сознание человеческому горю.

Я ненавижу тебя, бессмертный! Сегодня я сам зарою в землю твое сорваное бургистое тело вблизи живого горячего огня, усядусь на твою могилу, согрею над костром, руки и порадуюсь, что ты больше не смотришь на мир холодными, каменными глазами.

Расстываясь, я вывернул серый камень из земли, взвалил на плечо и понес. Передо мной, бесконечно вытягиваясь, ложилась на травы моя сгорбленная тень.

Холодный туман медленно поднимался от земли, заволакивая степь. Прямые стебли трав с острыми лавровыми листами казались колючими, бесчисленного воинства, ждущего только сигнала, чтобы броситься в атаку, сквозь этот туман, похожий на дым пожара. Тьма упала внезапно. Я остался один посреди этой ночи, совсем один, приделанный большим серым камнем. Туман, расплюсившись, заполнил пустоту ночных, смешав небо и землю, и если бы оказалась, что я стою вверх ногами на своей ноше, я бы не удивился. Я протянул вперед руку и, направляя глаза, едва различил смутное очертание своих расстянутых пальцев. Живая красная искрка вдруг вспыхнула на моей протянутой ладони. Я невольно отдернула руку. Огонек, мерцая, повис в тумане. Я перевалил камень с плеча на плечо и заспешил к желанному теплу.

Агния и Аrimас сидели у костра.

Боги! Пока я блуждал в тумане, что-то произошло здесь, без меня.

Они даже не повернулись мне навстречу, когда я подошел. Я сбросил камень с плеча и уселился на него у костра так, чтобы хорошо видеть их обоих. Они разом глянули, но не на меня — на камень, как он ткнулся в землю, и снова уставились в огонь. Я переворотил взгляд с лица Аrimаса на ее лицо и желал и боялся догадаться, что сделалось в мое отсутствие. И вдруг я понял, что так поразило меня в них обоих: странное сходство их лиц.

Нет, не явным сходством кровников, брата и сестры, были они схожи. Высшая печать родства лежала сейчас на их лицах. Так похожи между собой жрецы одного бода, воины одного войска, рабы одного хозяина. Так, должно быть, похожи друг на друга смиренные боги.

Что мне делать? Взять третьего смениного коня, обычно бегущего в пыли за кибиткой, и ускакать в туман? Разом потерять и друга и любимую?

Они давно ушли от костра. Туман укрыл их.

Заколотый! Наказать их. За что? За то, что они счастливы? Отомстить своей любви, как врагу?

Костер медленно догорает. Пламя, перелетая по черным головешкам, взмахивает дрожащими желтыми крыльышками и никнет, запутавшись в багровой пытине.

Убей меня, великий бог Палай! Сделай так, чтобы сердце мое не выдержало мухи!

Скрипнуло колесо кибитки. Кто-то идет ко мне сквозь туман.

Аrimас подошел, обхватил меня сзади за плечи, приник лицом к моему затылку, склон в объятиях так сильно, что у меня заныли кости и стеснилось дыхание. Я вспомнил первую нашу встречу, тогда, давно... Он обхватил меня и крепко держал, сидя со мной на спине Светлого. А я просил богов оставить мне его навсегда.

Благодарю вас, боги, вы были добры ко мне.

Несчастен беспутанный в дружбе. Жалок разувавшийся в ней. Считающий друзей по пальцам обеих рук либо лжив, либо глуп. Зовущий в друзья каждого встречного просто равнодушен. Но благословен называющий друга только одним именем. И про克лат предавший!

Аrimас повернулся ко мне, приблизив лицо к моему лицу, тревожно и пристально заглянул в глаза. Я не отвел взгляда. Мы оба молчали.

Аrimас принес от кибитки и положил у огня две стрелы из наших колчанов. Бережно поставил на прикрытую траву узкогорлую амфору. Я вспутил из колышка у пояса старую походную чашу. Аrimас расковырял восточную пробку, и вино, запенясь, наполнило чашу до половины. Мы опустились на колени, и, протянув друг другу левые руки, сплели пальцы. В правой каждой держали стрелу другого. Мы взглянули друг на друга и, прижав наконечники к запястьям, нажали на стрелы. Наша кровь, смешавшись, зелила сцепленные пальцы и побежала в чашу, быстро наполнила ее до краев. В этой полной чаше мы омыли наконечники стрел. Потом, передавая чашу друг другу, выпили вино, перемешанное с нашей кровью, по глотку до дна.

Теперь в мое сердце стучала кровь Аrimаса, а в сердце Аrimаса — моя. В моем колчане была стрела Аrimаса, а в его колчане — моя стрела. Мы стали братьями.

Агния, дочь Агнии, жена моего брата, стала мне сестрой. Любимой сестрой.

Агой!

Постоянными жертвами и покаянной молитвой умерли Мадай гнев Великой Табити-богини. Вернула Змееногат в родные стени своего жадного до сокровищ сына, оставила ему жизнь. Но простишь до конца за тайную измену скифской вере не захочешь. Много прекрасных наложниц отдают свою любовь скифскому царю, но ни одна не подарила ему наследника. Бездетен старый Мадай, сын Мадая. Нередко среди шумной трапезы или царской охоты уносятся Мадай Трехрукий помыслами и желаниями в придуманную жизнь свою. И затихает тогда пир,

и зверь уходит от невидящего взгляда царя невредимым. И никто не догадывается, что там, куда улетает душа царя, он бывает счастлив. Тогда любит Мадая жена Агния Рыжая, мать его сыновей: царицы.

И страшно Мадию пробуждение от этого сна наяву. Каждый раз после такого сна царь над всеми скифами повелевает зажечь жертвенный огонь на большом черном камне, отложить в бесчисленных табунах своих рыхую кобылицу и вороного жеребца, и сам приносит их в дар богу, имя которого страшится называть вслух.

И, очистившись, едет царь за холмы в открытую степь к заснеженной леваде. За просторным ее заслоном Мадай забывает свои печали и жестокую немилость богов. С отеческой нежностью следит Мадай, как послушный его тихому повинству спешит к нему могучий золотомастный жеребец. Этот потомок ниссийского аргамака и лидийской кобылицы, приведенный когда-то в скифские степи, не знает себе равных.

Мадай подолгу ласкает атласную щерсть своего любимица, с чувственным наслаждением ощущая под руками налитое упрогой звериной силой тело коня, щекочет жесткой бородой своей чуткие влажные ноздри и, наконец, с поцелуем простишись, вдруг вскрикивает воинственно и дико.

Жеребец принимая игру, прыгнув в сторону, взывает к на дыбы, перебирает в воздухе ногами и уносится прочь, прекрасный, как несбывшееся желание.

Дав, в который раз, подобные и строгие наставления слугам и вооруженной охране коня, царь возвращается к делам своим веселый и до времени спокойный.

Незваный гость вошел в кузницу, не спросившись. За стуком молотков мы не услышали шаги, и топота коней. Он, верно, долго стоял у входа, разглядывая нас за работой, прежде чем мы заметили его присутствие. Мы сразу узнали его, хотя он сильно разжирел за эти годы и низко надвинутая круглая лисья шапка со свисающим на плечо пушистым хвостом оставляла лицо в тени.

— Мир вам, свободные! — сказал Хава-Массагет пренчим, скрипнув голосом, и мы почувствовали, что он выполнил свое давнее обещание запомнить нас обоих.

Агния была рядом в кибитке, и я вышел из кузницы, чтобы не допустить ее случайной встречи с Массагетом. Незачем было им встречаться.

Снаружи верхами стояли четверо. Золотая отделька ножен, наручья и богато убранная сбруя остро поблескивали в лунном луче. Конь Массагета дурдил у коновязи, дергая головой и взрывая переднюю ногой землю. Вызвивали колыча удила.

Наша псы, обсвешившие всадников широким кругом, оставили сторожевую свою осаду и подкатились мне под ноги, ласкаясь. Всадники молчали, словно не замечали меня.

Знают ли они об Агнии, а если знают, то что именно? Зачем пожаловал среди ночи царский пес Хава?

Я прошел мимо всадников в кибитку. Агния уже спала. Я решил оставаться около нее на тот случай, если она вдруг проснется и вздумает наведаться к нам в кузницу. В полуночье я нащаришь лук и колчан, наложил стрелу и присел за пологом, держка в виду четырех всадников и ловя возможный подозрительный шум из кузницы. В осторожности Аримаса я был уверен.

Всадники у кузницы о чем-то переговаривались. Наконец Массагет вышел наружу. Хотя я ждал его появления, он все же возник как-то неожиданно, мне

почудилось, будто сразу вырос на спине своего коня. Я натянул тетиву. Круглая лисья шапка закачалась на острые нацеленные стрелы.

Аримас встал в освещенной прорези входа. Обычные слова прощания, лай собак, затухающий топот коней. Я опустил оружие и отступил тетиву.

Царский телохранитель передал: Мадай, сын Мадая, царь над всеми скифами, заказывает Аримасу-кузнецу, слава о мастерстве которого уже шагнула за красный полог царского шатра, украсить по своему усмотрению уздечку, нагрудную перевязь и вызолотить удила для любимого царского жеребца.

Заказ неотложный и спешный. Скоро у царского шатра собирается со всей степи свободные скифы многих племен с лучшими своими кобылицами. Царь сам выберет единственную, достойную пару своему любимицу.

И этот выбор положит начало небывалому в степи царскому празднику. Царь над всеми скифами приглашает Аримаса-кузнеца к своему шатру. И друга Аримаса, сына сколотов. И жену Аримаса. Ведь у него есть жена? Пусть приезжает с ней.

Агния чему-то улыбалась во сне.

Скрыться сейчас не значило навлечь на себя гнев

Мадая. Да и где скрываться? Повсюду в степях у царя были глаза и уши. Днем и ночью могла догнать неугодного отравленная стрела.

А может быть, мы просто преувеличиваем свои страхи? Ну что за дело царю над всеми скифами до жены бедного кузнеца?

Что было, то прошло. Давно прошло.

Старое наше становище мы застали покинутым. Люди ушли за Борисфен, поближе к царским скифам, под их защиту. Многие бросали кочевать, оседали на черных, жирных землях, становились хлебопашцами. Упорствующие в кочевой вольной жизни смешивали табуни свои и стада, родились племенами и забредали далеко от привычных мест в поисках новых, нетронутых пастбищ. Повсюду в племенах установили твердую цену на вещи и рабов, на хлеб и вино, на скот и даже на битую дичь и строго соблюдали установленное.

Теперь на дорогах все чаще встречались хорошо охраняемые обозы иноверцев — все больше элинов или персов, — бесстрашно заглядывающие в самые отдаленные степные пределы в надежде на удачную торговую поживу. Но в старой кузнице debris Маги гости случались редко. Поэтому Аримас особенно старался к искусной работой умножить силу о редкостном своем мастерстве.

Глядя на завершенные им изделия, мы с Агнией дивились вдохновенной силе его труда, жалели, что придется расстаться с этой красотой, которую всегда хотелось бы иметь перед глазами.

Без утаки мы рассказали Агнию о ночном посещении царского телохранителя и передали приглашение Мадая. Мы думали остеречь ее этим, но неожиданно для нас Агния загорелась ехать на царский праздник. Аримас, растерянный и сердитый, кричал, что скорее он убьет жену своей рукой, чем позволит ей показаться на глаза Мадаю Трехрукуму.

Тогда Агния измыслила хитрость. Она тайно сшила себе мужскую одежду, спрятала под островерхой шапкой свою кудри, опоясывалась мечом и верхом на старой крапчатой кобылине, за ненадобностью оставленной у нас кем-то из заказчиков, однажды появившейся около кузницы и засвиставшей, вызывая нас наружу.

Мы не сразу угадали, что за бравый парень оседал нашу клячу и вертится на ней у коновязи. Агния пришла в восторг. Она убедила Аримаса, что в праздничном многолюдье никто не заподозрит в ней

женщину, что она будет тише воды и ниже травы и не попадется на глаза Мадаю и его людям. И во всем будет послушна мужу и мне, своему брату. Она, конечно, не поедет, если мы трусишь. И Аримас согласился.

Целыми днями мы трудились в кузнице. Агния, наскучив хозяйственными своими хлопотами, садилась на краяную кобылу и уезжала к высокому кургану, под которым покоялся прах царницы и ее раба. Она забиралась на самую вершину кургана и подолгу просиживала там, обхватив руками длинные свои ноги и уперев подбородок в колени.

Старая кобыла шумно вздыхала, перебравая с места на место, чтобы нарыкать сладкую лечебную травку, а Агния оставалась недвижной, следя птичью птии в небе над степью и думая о чем-то своем.

— Ведут! Ведут! — заорали мальчишки, перебегая во всех направлениях широкое, устланное дорогами коврами открытое пространство перед царским шатром.

Со всех концов огромного праздничного лагеря люди устремились к шатру. Пыльная толпа опрокинула глянцевый бронзовый котел, обдав горячим бараньим жиром замешавшихся обжор. Всадники немилосердно давили пеших, торопясь занять места поближе к шатру, а пешие, озябши, сдиргивали их с коней и сами локтями, лбами, кулаками прокладывали себе дорогу к самым коврам.

— Ведут! Ведут!

Телохранители царя, грозя установленными копьями, оттеснили первые ряды прочь с ковров и сомкнулись подковой, колотя короткими древками жаждущих пролезть сквозь заслон. Вооруженные конные воины с насеком прорвались в давку и, полосуя нагайками, с трудом проложили узкую просеку до ближайшего холма в густом многолюдье за шатром.

Сбивая нестройный гомон толпы, звонко и торжественно пропел боевой рожок. Мадаю Трехрукий, царь над всеми скифами, вышел к гостям из шатра. Приветственный рев сотен глоток взмыл над степью и оборвался при виде золотого жеребца на вершине холма.

Пурпурное покрывало ниспадало с боков к передним ногам коня. Ветер тронул легкие эти ткани, взвил их над конем, и, казалось, конь не спускается с холма, а летит над степью на широких багряных крыльях.

Толпа раскачивалась, подывая от восторга. Крылатый жеребец медленно плыл к царскому шатру.

В степи не нашлось такого дурака, который не хотел бы породниться с царем, пусть даже через свою кобылицу. Из множества приведенных царь придирико отобрал десять лучших. Избранные эти ревностно оберегались от отравы, увечий и дурного глаза царской стражей и зверского вида бородачами из хозийской родни.

Сегодня жеребец должен был сам решать, которая из красавиц — царская. Жеребец сразу обнажил свой выбор любовным призвывом: мощное, страстное ржание отметит счастливницу и прозвучит золотой музыкой в ушах ее владельца.

Широкое позлащенное копыто ступило на мягкий ковровый настил. Подыпившие гости царя громко переговаривались, восхищенные. Глубокую грудь жеребца покрывал тонкое панцирь. Лик Великой Табиты-богини выпустил из черненого золота, обрамленный тугими завитками эмели-волося. Солнце перекатывалось в фигураном литье, и казалось, что змеи извиваются, крепко вцепившись сомкнутыми челюстями в нагрудные ремни, скрепляющие покрывало на

холке. Вспыхивали золотые огоньки в гневных глазах богини. Улыбался мягко оттененный рот ее с озорно выставленным между зубов кончиком языка.

Выпуклость панциря была неотделима от совершенных форм коня. Золотое литье — под стать медовой масти, представлялось, что сама Змееногая влетела в грудь прекрасного коня, чтобы звать толпе лисьи свой, пугающие и маниящие.

— Красиво... — прошелестал Аримас, восторженно и робко, будто не сам он, а кто-то другой вызвал к жизни этот странный образ.

Агния стояла в толпе между нами и не отрывала взгляда от высокой, грозной фигуры царя Мадая. Вот он поднял над головой руки, хлопнул в ладони. Снова запел боевой рожок.

На ковры перед шатром вышли первую избранницу. Даже из самых дальних рядов было видно, как гордо посажена у нее голова, какая чешка, какие ливовые, продолговатые, влажные глаза. Жеребец на-вострил уши.

— Тихо! — внезапно закричал кто-то в толпе. Слуги по бокам жеребца присели, с усилием сдерживая растянутые поздвы.

— Х-мм! — выдохнул жеребец в полной тишине. Растижку ослабили. Жеребец потянулся к Мадаю, играя, ухватил губами за плечо. Толпа веселым гулом проводила отвергнутую.

— Это ему не нравится, — пробормотал рядом со мной пожилой скиф, — не нравится ему эта.

Теперь выступала ворона, поджарая, профиль — как у жены Фафона. Шла, раскачивая крупом, мела хвостом по коврам.

— Тихо! — снова прокричал тот же голос. Полная тишина. Напряженные спины слуг.

— Хмм... — И все. Все?

Одна кобыла сменяла другую. Все напрасно. Бесславные уевы последнюю избранницу. В толпе нарастал неудержимый смех.

И вдруг, непонятно как проникшая за заслон, из-за шатра появилась наша старая крачкатая кобыла. Толпа взорвалась хохотом. Кобыла шла по царским коврам, понурив голову и растопырив уши, лениво обхватываясь хищным хвостом.

— И-и-и-а-г-р-мм! — это не ржание, это рев льва, это гром, это песня.

— Аах! — завопила толпа.

За всхолмившимися спинами я увидел золотую разметтанную грунту, стрелами торчащие уши.

— И-и-и-г-р-п-р-р-р! — толпа бросилась врассыпную.

Я побежал с толпой, потерял Аримаса и Агнию, упал, вскочил, побежал обратно. Аримас уже сидел на кобылике и лупил ее пятыми в бока, стараясь увести от шатра. Жеребец, не переставая петь свою песню, волочил по коврам оба слуг, вцепившихся в поводья. Поводью плысили мальчишки.

Праздник кончился. Царь укрылся за красным пологом. Знатные гости поспешно разошлись по своим шатрам. Только слуги и охрана продолжали стоять вокруг царского жеребца, ожидая приказаний и томясь дурными предчувствиями. Но царь, как будто забыл о своем любимице.

Мы с Аримасом метались по огромному праздничному лагерю, разыскивая Агнию. Ее нигде не было.

Когда Аримас обращался к людям с расспросами, от него отшатывались, как от чумного. Люди показывали пальцами ему вслед. Теперь гневный лик Табиты-богини с озорно высунутым дразнящим языком породил неуместную тревогу в людских сердцах.

«Недаром этот кузнец выковал такой образ, — сказали перешептываясь люди, — сама Змееногая направляла его руку. Разве не она, Табиты, провела невидимой через живой заслон охраны старую крачкатаю

тую кобылу? Разве не она вдохнула нелепую страсть в сердце прекрасного царского жеребца, чтоб унить царя перед всеми скифами? Зла любовь — кто-то, старый Мадай должен был помнить об этом. Но не только смеется умеет Великан...

Вспомнили люди, как перебегали гневные искры в глазах богини, осознали, как глупо хохотали онипрямо во лицо, чтобы срашать охватил их. А когда черные, низкие тучи взвызано заволокли небо над степью, толпа, стена, струилась вокруг большого жертвенного камня и, подставляя спины порывам холодного ветра, разогнала плахи.

Едва огонь окреп, в него полетели меховые шапки, копанки, гориты, ножны, деревянные походные чаши, пояса. Кто-то швырнул в пламя содранные с ног, густо расщепленные бисером сапоги. Все, что было ценнего на них и при них, когда смеялись они в лицо Табиты-богини, люди бросали теперь в жертвенный костер, стремясь отвести от себя гнев Змееногой. Плая бушевала, покирава людские подношения, металась под ветром, опалила сухим жаром лица стопившихся вокруг камня людей.

— Знак, дай нам знак, Великая!... — сложилось из разноголосого ропота толпы и вместе с пламенем поднялось к черному небу.

— Знак, дай нам знак...

Будто могущие руки разодрали сплошную завесу туч. Белая молния шипя, как змея, ударила в холм позади царского шатра, и яростный грохот отгремел стебль.

Люди пали ниц вокруг жертвенного камня и лежали так, не смея поднять перекошенных ужасом лиц, захлебываясь в потоках рухнувшего на них ледяного ливня.

— Жертвут! Жертвут, достойной Великой!... — прорыдал чей-то голос.

Люди поднялись как один. Толпа превратилась в огромного зверя, многоглазого, многорукого, жаждущего немедленно, сейчас же утопить в горячей крови первой попавшейся жертвы звериной своей страх.

Царский жеребец в мокрой, обвившись попоне все еще стоял у шатра на взбухших от воды коврах. Глаза человеческого зверя остановились на нем. Вот она, жертва, достойная богини!

И зверь, дрожа и задыхаясь от страха и ярости, потек к шатру, многоного оскользываясь в жидкой грязи.

Толпа нахлынула, давя охрану, повалила коня, подмяла под себя. Царский лбимец, оскорбленный причиненной ему болью, забился отчаянно, раздавая смертоносные удары золочеными своими копытами. Десятки руки вцепились в него, сорвали пурпурную попону и панцирь, сковали движения. Помятого, искалеченного толпа подняла коня на плечи и повесила к жертвенному камню. В опьянении священного восторга люди втаптывали в грязь лиц богини на раздавленном ногами панцире.

Костер, залитый дождем, погас. Поднимать пламя не стали. Жертвут притиснули к мокрому боку черного камня. Торопясь, вытащили ножи.

— Не сметь, собаки!

Толпа обернулась на окрик. Мадай Трехрукий, царь над всеми скифами,шел от шатра прямо на толпу, высоко неся седую голову, словно не видя людей перед собой. Мокрые волосы облепили лоб, глаза глядели мертвко и страшно. Обнаженный клинок подрагивал в опущенной руке.

Толпа смутилась. Перед царем расступались, но снова смыкались за его спиной, напряженно выжидая. Царь остановился у черного камня. Жеребец потянулся к хозяину, тошненько заржал. Толпа надви-

нулась в недобром молчании. Люди не прятали приготовленных ножей.

— Я сам, — тихо сказал коню Мадай.

Он схватил за уздечное кольцо, вздернув конскую голову, коротко взмахнув, полоснул клинком.

— Слава тебе, Табиты-богиня! — истошно завопили люди, вались вслед за конем подношением черного камня.

Мадай повернулся и пошел прочь, наступая на тела лежащих в молитве. Он скрылся в шатре, не оглянувшись. Люди, лягуя, принялись разделять тушу золотого царского жеребца.

В шатре было полутемно. Светильники еще не зажигали, и сумеречный сиреневый отсвет грозового этого дня лежал размытым пятном вокруг опорного столпа, на коврах, разбросанных подушках и блоках с остатками трапезы.

Шум дождя был здесь почти не слышен, но отдельные капли, ударяя в края защитной крыши над очажным кругом, заставляли ее звучать непрерывным медным гулом.

Мадай долгоостоял без движения, вслушиваясь в зачумленный этот гул, уставя глаза в большое серебряное бледно, до блеска вылизанное усердными едоками. Дохлевая капля, заброшенная первым ветром под щитовой заслон, с разлету звонко цокнула в салому середину блода, выведя царя из сцепленения.

И сразу же все беды этого дня навалились на него, скоснув ягода последнюю волю к жизни. Внезапная дрожь подломила колени и стала подниматься зябкой волной, сотрясая сильное и тяжелое его тело и удущем подбираясь к горлу. Стучи зубами, Мадай опустился на ковер и только тут заметил, что все еще скимается в ладони рукоять меча. Содрогаясь, он отбросил оружие. Меч проплыл мимо опорного столпа, сверкнув лезвием в грозовом отсвете, и беззвучно канул в темноту. Мадай проводил его взглядом. Там, в темноте, куда упал его меч, происходило какое-то неясное движение. Что-то приближалось оттуда к Мадаю, а что это было или кто — Мадай не мог определить. Он хотел окликнуть, но дрожь отняла голос.

Из-за столпа выдвинулось нечто бесформенное, растрепанное. В неясном, быстро убывающем свете медленно проплывали очертания лба, с глубоко запавшими темными глазницами под ним, обознавшись нос и рот, растянутый в жуткой, мертвленной улыбке. Кольца змей-волос сплетались вокруг лика и тощнули в темноте. Кончик высунутого языка подрагивал между зубами.

Табиты-Змееногая!

— Сейчас ты умрешь! — произнес лик.

«Я готов! — хотел ответить Мадай. — Я не был счастлив в этой жизни. Быть может, там...»

— Агния! — вдруг громко крикнул кто-то в шатре, и Мадай узнал свой голос, молящий и жалкий.

Вспышка пламени озарила стены, отринув мрак. Круглая шапка Массагета заслонила лицо богини. Лязнуло оружие. Старый меч царя упал, ударившись о серебряное бледно, и, вышибавши, завертелся по ковру, сшибая кувшины.

Но Мадай уже не видел это. Силы оставили его.

Дождь лил не переставая. Он не дал развести огонь вокруг врывающихся в землю больших медных котлов. Поэтому около черного камня пыпал огромный общий костер. Временами барабанные сполохи вырывали из темноты цвета даже самых дальних шатров и кибиток.

Тени пляшущих людей бесновались на расхлябанной дождем, широко освещенной земле, корчились, спивались, разбегались, бросались под свалившихся с ног или бесконечно вытаягивались, соединяясь с мраком, когда человек почему-либо отдался от огня.

Баранов, пригнанных из степи, резали тут же. И, насадив куски мяса на острия копий, протягивали к жару костра. В эту ночь перепились все, даже женщины. Они сквернословили наравне с мужчинами, громко горевали и жадно веселились. То тут, то там всыхивали драки, спыхивали яркий визг, рычание мужских голосов. И все это тонуло в шуме дождя, в нестройном пении обезумевших людей и в диком их хохоте.

Мы с Аримасом напились вместе со всеми и, не принимая участия в общем буйстве, всю ночь бродили под дождем, спотыкаясь о рас простертые пьяные тела, отчаявшись найти Агнию.

Красный шатер царя высыпал недалеко от черного камня и казался тоже огромным костром, холодным и застывшим. Бродя по лагерю, Аримас то и дело останавливался и подолгу ощупывал глазами четко высвеченный купол шатра с медной крышкой наверху, от которой искрился веером разлетающиеся дождевые капли.

Под утро, когда даже самые испытанные гуляки свалились от усталости, Аримас, не сказав мне ни слова и не оборачиваясь, твердой походкой направился к царскому шатру.

Я выбралась из-под чьей-то кибитки, где мы провели без сна остаток ночи, и поспешил за ним. Я догнал его, и мы пошли рядом. Я не знал, не мог постичь, зачем он идет туда, что собирается делать, но что-то необыкновенное удерживало меня от расспросов. Может быть, выражение его лица — гордое и отрешенное.

Таким я уже видел его, когда мы скакали рядом в отрядах Черного Нубийца, чтобы принять смертельный бой со своими братьями. Так же хищно горбатился орлиный этот нос, так же плотно были скаты тонкие губы под редкими усами, так же далеко и пристально смотрели эти глаза.

Выпitoе накануне и бессонная ночь не оставили никаких следов на лице Аримаса. Только темные тени легли под глазами, подчеркивая острую и светлую их голубизну.

Начальник царских телохранителей вышел нам навстречу так, будто давно поджидал нас. Он не выражал ни удивления, ни протеста, узнав о желании Аримаса видеть царя над всеми скифами. Только потревожил сдаты оружие.

Повинувшись взгляду Аримаса, я отстегнула пояс вместе с мечом и протянула его Хаве-Массагету. У Аримаса не было оружия, но Хава, тихим свистом вызвав из шатра еще двоих, велел им осмотреть кузнеця. И сам, приняв от меня меч, легко провел быстрыми ладонями по моей одежде от плечей до лодыжек. И вслед за Массагетом мы шагнули за красный полог.

Несмотря на то, что утренний свет уже пробивался в шатер, светильники горели поэвсюду. Золотые отблески перебегали по белым воилокам среди вышитых ярких цветов и диковинных птиц.

Массагет, неслышно ступая по коврам, нырнул за второй, внутренний полог, оставил нас одних.

Время тянулось бесконечно медленно. Мне показалось, что я разгадал намерения Аримаса. Я уже готов был спросить его об этом, но белый полог за колыхался, и Мадай, сын Мадай, царь над всеми скифами, представал перед нами во всем великолепии царского одеяния.

Белая атласная рубаха, схваченная широким наборным поясом, с которого свисал маленький кинжал, закрывала ноги ниже колен. Черная с проседью борода рассекала сплошную полосу позолоченных на плачей. По коврам волочился длинный багровый плащ, нижний край его царь небрежно отбросил в сторону ног, обутой в расширенный золотом мягкий красный скифский сапог.

Головного убора на царе не было. Седые длинные волосы, открывая одутловатые щеки, были стянуты к затылку и убраны за спину. Тяжелая золотая серьга покачивалась в мочке левого уха, рассыпая красные рибоневые искры.

Выйдя и дав нам рассмотреть себя с ног до головы, Мадай медленно опустился на высокие подушки, усаживая вбитые массагетовой рукой. Не поднимая на нас взгляда, царь протянул руку, унизанную перстнями, и произнес:

— Говори.

— Царь, — сказал Аримас странно высоким и глухим голосом, — отдай мне жену.

Мадай нахмурился. Казалось, он с пристальным вниманием изучает вышивку на ковре под ногами.

— Это ты послал ее убить меня?

— Нет, царь, — спокойно и твердо ответил Аримас. — Я верю тебе, — тихо сказал Мадай. Вдруг он вскинул голову. Узкие черные глаза его округились. — Ты не послыпал ее, — прокричал Мадай. — Ты только выковал лиц Табити-богини, чтобы навлечь на меня ее гнев. Ты воспользовался правом делать что тебе угодно и употребил это право против меня! Ты...

— Он задохнулся. Седая прядь выбилась из прически и приплипла к взмокшему лбу. Мадай раздраженно махнул рукой в сторону Массагета. Хава подскочил и наполнил простую деревянную чашу вином из кувшина. Мадай пил маленькими глотками, не сводя с нас взгляда. Потом он откинулся на подушки и закрыл глаза. Массагет убрал чашу.

Медная крышка над очажным кругом гудела на зонтико и звянула.

— Где моя жена? — раздельно выговаривая слова, спросил Аримас.

Мадай вздрогнул усмехнувшись.

— О ком ты говоришь? О черной рабыне, которая покушалась на жизнь царя над всеми скифами?

Он не изменял позы и не открывал глаз.

— Сейчас она развлекается с моей охраной. А если окажется малопригодной к такому веселью, я прикажу ее задушить.

Он выжалд тишину и, открыв глаза, впился взглядом в Аримаса. Лицо Аримаса было белее воилок царского шатра. Он стоял прямо, выпятив грудь, только пальцы судорожно мяли края короткой куртки.

— Моя жена — свободная скифянка... Агния...

— Врешь! — Мадай вскочил. Красный плащ метнулся за ним, накрыв и загасив светильник. — Врешь! — Мадай, дрогая щекой, приблизил свое побагровевшее лицо к лицу Аримаса. Они почти со-прикасались носами. — Она отродье моего раба и моя рабыня. Понял, кузнец? — Он круто повернулся и пошел в глубь шатра, волоча за собой плащ.

Я делал над собой неимоверные усилия, но слезы заполнили мне глаза и теперь скатывались по лицу... Я не стоял их утират.

Мадай мерил шатер широкими шагами.

— Впрочем, — сказал он, останавливаясь и глядя вверх под скажной заслон, откуда ясным потоком по тек утренний свет, — ты можешь ее выкупить. Что ты дашь мне за нее?

— Все, что имею! — крикнул Аримас



— Все, что имеешь,—медленно повторил Мадай.— Молот и наковальня, пару коней с кубиткой да десяток худых баранов. Не дорого же ты ценишь царскую рабыню.

— У меня больше ничего нет, царь.

— Опять врешь,—сказал Мадай.— У тебя есть глаза. Твои глаза, которые сумели увидеть лицо Великой богини, незримый для простого смертного. Давай меняться: я верну тебе мою рабыню, твою жену, а ты оставил мне свои глаза. Что, согласен?

— Да! — не раздумывая, ответил Аrimас.

— Люди! Люди! — запрокинув голову, кричал Аrimас. Дождь хлестал ему прямо в лицо. Кровь из пустых глазниц залита щеки, бороду и двумя темными полосами проступала на мокрой куртке. Агнию он крепко держал за руку.

Люди, сбежавшиеся со всех сторон огромного лагеря, широким кольцом обступили кузнеца и его жену. Все молчали, потрясенные, не смея даже пререшептываться.

— Люди! Люди! — звал Аrimас.

— Мы здесь, кузнец! — крикнул кто-то из толпы. — Мы с тобой.

— Я Аrimас, внук Мая-кузнеца, свободный скиф. Вот моя жена! — Он поднял руку Агнию, склонив ее в своей ладони. — Я любил ее, люди, и думал, что она любит меня. Но она обеспечила и себя и меня.

Он повернулся к Агнию голову, взглянул пустыми глазницами. Потом снова запрокинул лицо и закричал:

— Всё видите: я смыл бесчестье своей кровью! Пусть и она смоет свой!

Он протянул к толпе руку, растопырил пальцы.

— Кто-нибудь, дайте мне меч.

Пожилой скиф вошел в круг, вынул меч-акинак из старых ножен, поцеловал клинок и вложил рукоятку в ладонь Аrimаса.

— Свободные скифы! — Аrimас поднял меч високо над головой. — По законам скифской воли спрашиваю вас: кто хочет взять в жены обесценненную эту женщину? Пусть выходит биться со мной, чтобы своей кровью смыть ее позор.

Все глядели на меня, когда я вступила в круг.

— Есть! — кто-нибудь — выкрикнул Аrimас.

— Есть! — многоголосо ответила за меня толпа. — Назовись! — Аrimас кротил головой, пытаясь угадать, где стоит его будущий противник.

— Я, Сауран, сын сколотов, свободный скиф, хочу взять в жены эту женщину и обещаю, соблюдая обычай, биться с тобой до первой крови.

Клинок дрогнул в руке Аrimаса. Я повернулся и оглядел круг.

— Пускай давший свое оружие подойдет и заявляет мне глаза.

Пожилой скиф подошел и положил мне руку на плечо.

— Доверяешь ли вы, люди, этому человеку судить нашу поединок?

— Доверяем! — закричали голоса. — Пусть поклянется!

Клянусь! — громко крикнул скиф. — Клянусь недремлющим пламенем великого бога Агния!

Я сбросил куртку, снял рубаху, и, разорвав, подал скифу длинную полосу ткани. Сложив ее вдвое, он обвязал мое глаза, тугу стянув узел на затылке.

— Отведите женщину в сторону, — услышал я голос пожилого скифа и шлепанье многих ног по грязи. Потом наступила тишина, только дождь шелестел.

— Агний! — И скиф легонько толкнул меня в плечо.

Я пошел, неуверенно ступая, выставив вперед руку с мечом. Повязка сдавливала голову, врезаясь в переносицу. Понятия совсем не хватало, я остановился и прислушалась. Постепенно сквозь шум дождя я начал различать чьи-то осторожные шаги впереди слева. Тогда я нарочно сильно ступил в грязь несколько раз и снова замер. Шаги затихли, но скоро послышались снова, приближаясь. Совсем приблизились. Я сделал короткий, несильный выпад в пустоту и, присев, закружили меч перед собой, стараясь обронить голову и грудь. Вдруг болезненный укол сзади в лопатку заставил меня крутко развернуться. Меч Аrimаса свистнул у меня над головой, сталь заседла о сталь, я рассек клинком воздух, поскользнулся и упал.

Я непреклонно пытался вскочить, когда услышал голос людей и быстрое шлепанье чьих-то ног по воде. Кто-то навалился на меня, снова отбросив на землю, потом толка взвевел, тело, придавившее меня, дернулось, чьи-то руки сорвали с глаз повязку.

Сначала я увидел Аrimаса, топтавшегося на одном месте, в двух шагах от меня, и только потом...

Пожилой скиф быстро поднял на руки беспомощное тело Агнию.

— Продолжайте! — крикнул он твердым голосом и, поимав мой взгляд, отрицательно помотал головой.

Люди надвинулись так тесно, что, протянув руку, я мог бы их коснуться. Я посмотрел на Аrimаса. Клиник его меча был весь в крови. Аrimас сделал несколько неверных шагов в сторону толпы. Люди отхлынули.

— Сауран, — вдруг позвал он и остановился, опустив меч, видно, всплывший.

— Она мертва, — шепнул мне пожилой скиф в самое ухо.

Голова Агнию бессильно свесилась, рот был полуоткрыт, губы уже побелели.

— Сауран, — снова позвал Аrimас с возрастающей тревогой в голосе.

Скиф бережно положил Агнию на протянутые из толпы руки многих людей.

— Ответь ей, — шепнул мне скиф.

— Я здесь, — сказал я.

Аrimас резко повернулся на звук моего голоса.

— Ты ранен, брат мой? — спросил он.

Я беспомощно посмотрел на скифа. Он энергично кивнул головой.

— Да, — ответил я.

Аrimас уронил меч и, выставив вперед руки, пошел ко мне.

Скиф обхватил меня за плечи и заставил лечь на землю, лицом вниз. Я тогда не понимал, зачем он это делает, но слушался беспрекословно. Аrimас накинулся на меня, упал на колени, опустил свою голову, спину, и отдернул руку, коснувшись лопатки.

— Брат мой, брат мой, брат мой, — без конца повторял Аrimас.

Я сел и обнял его.

— Моя глаза, — вдруг сказал Аrimas. — Моя глаза — закричал он. — Я больше не смогу никогда, никогда...

Он захлебнулся в рыданиях. В толпе эхом заплакала какая-то женщина. Внезапно Аrimas вскочил на ноги.

— Агния! Где Агния?

— Она убежала, — ответил пожилой скиф. — Мы не смогли удержать ее. Люди могут подтвердить мои слова.

— Она убежала, — сказали люди.

Аримас бросился на землю и лежал неподвижно, закрыл ладонями пустые глазницы. Дождь кончился.

— Как тебя зовут? — спросил я.

— Сикер, — ответил пожилой скиф. — Я сделаю все, как ты просишь. Мы похороним ее в кургане царевны Агнии Рыжей со стороны восхода. Я сам прнесу в жертву эту старую кратапу и обоих вших коней. Ты можешь на меня положиться.

— Ты не боишься немилости Мадаи?

— Я ничего не боюсь. — От его грустных серых глаз разбежались веселые морщинки. Ровные зубы молодо блеснули в рыжеватой курчавой бороде.

— Да будут добры добрь к тебе. Спасибо за все.

— Прощай. Может быть, еще встретимся когда-нибудь. Ступай к своему другу, его нельзя сейчас оставлять одного. — Он легко запрыгнул на спину высокого гнедого жеребца — Сикер. Запомни. Сикер, который боится только одного — испугаться.

И с места поскакал полным махом, припав к шее коня.

Когда я очнулся еще раз, совсем рассвело. Знал, второй день Аримас будет ждать моего возвращения. Он будет ждать еще долго, ведь он верит, что я найду Агнию.

Бедро одеревенело, я с трудом повернулся на бок. Хава-Массагет приподнял голову и смотрел на меня из-под уродливо распухших век. Ничего, я все-таки переживу тебя, Зубастая Овца. Я хочу посмотреть, как ты будешь подыхать. Еще один валился, скрючившись, на склоне холма. На нем уже сидело воронье. Третьего не было видно. Его я уложил там, за холмом.

Если бы удалось поймать лошадь, я, может быть, выбралась бы отсюда. Но обе уцеплевшие лошади их сразу ускакали в степь. А теперь сюда не забредет никакой конь: зверь вокруг уже почуял падаль. Вчера я слышал волчий вой.

Малая плата за глаза Аримаса, но с паршивой овцы, с паршивой Зубастой Овцы хоть шерсти клок. Хочется пить. Я вызываю росину траву и дышу, как собака, высунув язык.

Массагет что-то пробормотал. Опять борчится.

— Добей меня, сын скотолов. Добей меня.

Только бы не потерять сознание. Я скимаю зубы и, медленно перекатываясь по склону холма, приближаюсь к Массагету.

— Добей меня, сын скотолов.

— Поклянись... Нет, не надо. Мы лучше вместе дождемся часа, когда шакал будет грызть твою поганую рожу, а у тебя не станет сил его даже отогнать.

Хава застонала.

— Ты мне не веришь, — зашептал он, — а я знаю... знаю, что тебе нужно. Агния была... — Он тяжело дышал, проводя по выбитым зубам посиневшим языком. — Она была там, за пологом, когда вы привели. Я только связал ее и заткнул ей рот. Мадай не позволил тронуть ее пальцем...

Я наступал на пялье нож и, привстив на руке, вошел лезвие ему в глотку. Он захрипел и выкатил глаза.

На вершину холма поднялся волк. Нет, это не волк. Всадники остановили коня и оглядели ложбину, в которой мы лежали. Потом спешинися и стали спускаться по склону. Воронье слетело с трупа и закружились над живым. Вот осмотрел труп, идет ко мне. Мадай!

Я стиснул нож в руке. Я притворюсь мертвым, а когда он подойдет... Мадай склонился надо мной.

Я выбросил руку с ножом. Трехрукий увернулся, из железной хваткой сковал мое запястье, легко вырвал нож.

Ну, что ж, смотри, царь, как умеют умирать твои скифы.

Мадай присел возле меня, вспорол ножом штаны, осмотрел рану. Потом отстегнул короткий скрафт, крепко и болезнно обернул им мою ногу. Схватив за руки, поволок по траве вверх по склону. На самой вершине подхватил под мышки и рывком взвалил на спину своему коню.

— Держись за чепрак! — приказ. И огrel коня плетью.

Когда коня взбирался на соседний холм, я опять увидел Мадая. Он сидел, сгорбившись, уронив голову в колени. И если бы я не знал Мадая Трехрукого, сына Мадая, царя над всеми скифами, я бы подумал, что он плачет.

Агой!

Засыпать становится страшно. Расцвеченная странными зорями мгла, следя ударам сердца, медленно и неотвратимо покидают бесчувственное тело, расчленяя его суставы за суставом.

И все, что я есть, собирается в душе моей, недремлющей и неразделимой. И эта душа, вдруг разнувшись, уносится неведомо куда, оставляя бесслильно телу быстрое ощущение ужаса расставания и жуткой радости от мимолетного прикосновения к торжествующей тайне вечной жизни.

Первое, что я чувствую, просыпаясь, — это ветер. Горький и кисличный запах ветра. Лежа с закрытыми глазами, я жаждо взглянув его, расширил ноздри. Сквозь щелки век, за сеткой ресин и вину кончик своего носа, блестящую от пота розовую раковину ноздрей. Это мой нос. Это я. Бесценный и прекрасный я сам. Какое счастье лежать и разглядывать свой нос, врезавшийся в слепящее светом небо!

Я лежу на спине. Затылок, лопатки, левый ягодицей и пяткой я чувствую свою тяжесть, тяжесть земли, покачивающей меня, как в колыбели. И вот только теперь я начинаю слышать. Я слушаю тишину, мерно гудящую во мне. Этот гул, сплетаясь с запахом ветра, сливается в зрильный образ: тень коня и всадника на песке.

Волны Меотийского озера, неутомимо набегая, цеплют белые от соли губы дюн.

Я проснулся, о боги! Я проснулся.

Поднимайся и ты, брат мой. Не отставай, клади мне руку на плечо. Идем.

Там, у самого моря, стоит белый город Ольвия. Может, Агния ждет нас в прекрасном этом городе. Не спеши, брат, нам незачем спешить. Где бы она ни встретилась, мы узнаем ее сразу, даже с закрытыми глазами.



Наталья
ХМЕЛИК

ПОЛЬСКИЕ ПЛАСТИНКИ

РАССКАЗ

Рисунок
Е. МУХАНОВОЙ

58

Таня увидела Мишу в первый раз, когда пришла с мамой в гости к ее подруге. Он вылез из-под стола, бросил на пол красный паровоз с желтой трубой и сказал:

— Мне уже шесть, седьмой, а тебе?

— Мне тоже, — сказала Таня.

В тот день он подарил ей медведя.

Оранжевый медведь с коричневыми глазами вот уже много лет сидит на диване. От пылесоса на нем свалилась шерсть.

Каждого своего знакомого Таня относит к одной из трех категорий: друзья — это те, которых Таня любит кормить, приглашать — это те, с кем которых она любит ходить в кино; в остальных можно влюбиться.

Миша не входит ни в одну из категорий. Он называется «друг детства». Она любит его кормить, ходить с ним в кино и любит ходить к нему в гости и слушать польские пластинки. Он звонит и говорит:

— Приезжай, есть новый диск.

И она приезжает. Однажды он сказал:

— Приезжай, есть новый диск.

— У меня народ, — ответила Таня, — я не могу.

— Можешь приезжать с народом. Я его знаю? Таня засмеялась и сказала:

— Нет, не знаешь.

Миша тоже засмеялся и спросил легким голосом:

— Как его хоть звать-то?

— Лешка, конечно, — сказала Таня.

— Привози, — сказал Миша и положил трубку. Они сидели на кухне, Миша варил пельмени, а Леша от смущения без конца рассказывал анекдоты:

— Обвалялся слон в муке, подошел к зеркалу и сказал: «Ничего себе пельмешко».

Таня засмеялась. Миша серьезно сказал:

— Смешно.

Потом Миша включил проигрыватель. Польские пластинки лежали в ярких конвертах, на конвертах были парни с гитарами. Обычные майки, обычные волосы — сразу видно, иностранцы. Таня села рядом с Лешей на диван. Миша подошел, дурашлив-почти теплоно склонил голову и спросил:

— Вы не танцуете?

— Совсем озверел, — сказала Таня.

— У тебя есть сигареты? — спросил Леша у Миши.

— Есть последняя, раскурим пополам.

Таня увидела на столе раскрытую тетрадь. Там были стихи. Она протянула руку. Миша схватил тетрадь.

— Не цапай, что за привычки! — и убрал тетрадь.

— Затылок у тебя взъерошенный, — сказала Таня. — Как будто тебе шесть лет.

Ей было почему-то жалко Мишу.

— Не строй из себя женщину с прошлым, — отрыгнулся он.

В метро Леша спросил:

— А откуда ты его знаешь?

— Это мой друг детства, — сказала Таня, — мы знали с шести лет. — Почему-то ей стало жалко Лешу, и она добавила: — Он сын маминой подруги.

Миша не звонил неделю или две. А потом позвонил и сказал:

— А он ничего, этот твой. Не пижон. Только у него совсем нет чувства юмора. Не понимаю, как может нравиться мужик без чувства юмора.

Таня хотела сказать, что у Лешки есть чувство юмора, просто он сдержаный, но Миша не стал ее слушать и произнес целый монолог о том, что чувство юмора — это главная движущая сила нашей жизни.

— Я бы с ним в разведку не пошел, — ни с того ни с сего закончил Миша.

— Он тебя и не зовет, — разозлилась Таня.

Это было в девятом классе.

Когда Таня кончила школу, время пошло гораздо быстрее. Миша позвонил и сказал:

— Мисс не забыла, что мне в пятницу двадцать лет?

— Приди, — сказала Таня.

— Можешь взять с собой этого, забыл, как зовут.

— Он уехал учиться в Минск. Еще в прошлом году.

— Я был неправ, — сказал Миша. — У него есть чувства юмора.

На дне рождения у Миши были его школьные приятели, которых Таня всех знала. Они слушали польские пластинки. А потом пришла девочка. У нее были длинные волосы. Миша пригласил Таню танцевать и спросил:

— Ну, как тебе Лена?

— Волосы длинные, — сказала Таня.

Домой Таню провожал Володя, с которым сто лет назад Миша сидел за одной партой. Он все время молчал, а в конце дороги вдруг произнес:

— Нефти у нас в стране очень много, и она высокого качества.

— Очень интересно, — сказала Таня.

У подъезда Володя сказал:

— Я бы взял у тебя телефон, да боюсь, Мишка мне лицо начистит. Или наплевать, как думаешь? Он заглянул Тане в глаза.

— Нет, все-таки опасно, — ответила Таня и побежала наверх.

Дома звонил телефон. Миша спросил:

— Как доехала?

— Чего это ты вдруг? — удивилась Таня.

— Я вежливый хозяин. Я Леночку проводил и вернулся. Дай, думаю, позвоню. Ты давно пришла?

— Сто лет, — сказала Таня.

— Как тебе Леночка? — с мужской тщностью спросил Миша.

— По-моему, она щука, — неожиданно для себя сказала Таня. — Ам карасика — и нет карасика.

— Во дает, — ответил Миша и опять долго не звонил.

Их мамы перезванивались каждый день. Они говорили о служебных делах и о воспитании, хотя воспитывать им было уже некого.

— Он у тебя очень самостоятельный, — говорила мама, — а то, что не получил стипендии, это ничего, ведь экзамен всегда потеря. Ну, Таня, Таня — другое дело, Таня все-таки девочка. Как она живет? Она всегда в кого-нибудь влюблена. Сейчас у нее очередной Витя, я очень беспокоюсь... Я надеюсь, что очередной, а не окончательный.

Миша позвонил вечером.

— Ходят слухи, что у вас очередной Витя.

— Не лезь в душу, — сказала Таня. — Где тебе воспитывали?



Анатолий Кравченко



Теплей и прозрачней дождей,
чем эти,
не сышешь на юге.
В цепочке отмеренных дней
не думаешь так о досуге,
как в городе,
полном витрин,
машин, суеты и погони...
Сижу на веранде один,
дождиками ловлю на ладони.
Шумят высоко тополя,
и море синеет напротив.
И вся предо мною земля
сегодня
в счастливом полете.

— В детском саду, потом в школе, — хмуро сказал Миша. — Тут про тебя все время Вовка спрашивает, просит телефончик. Вульгарное, между прочим, слово.

— Этокий из нефтяного института? Очень, очень, очень симпатичный. Как поживает Леночка?

— Я ее давно не видел.

— Волосы у нее длинные-длинные, — пропела Таня.

— Дура ненормальная. Когда увидимся?

— Сэр, наверное, забыл, что мне субботу двадцать лет. Поскольку у сэра денежные затруднения, подарок можно не покупать.

Он принес ей тоненький серебряный браслет.

— Банк ограбил? — спросила Таня.

— Не ваше собачье дело, — ласково ответил Миша и, хотя в комнате было много гостей, сразу нашел глазами Витя.

— Первый тост за именинницу, — сказал Витя.

— Оригинал, — похвалил Миша.

— Ладно вам, — сказала Таня, — у меня день рождения.

— Второй тост за родителей, — сказал Витя.

— Да он у тебя просто веселый и находчивый.

— Слушай, ты, — сказал Витя и сделал вид, что хочет выплыть из-за стола.

— Витя, пожалуйста, без нервов. Миша друг моего детства, я его знаю с шести лет, он сын маминой подруги.

Потом они танцевали, и Миша сказал:

— У нас в институте все жениются, как с цепи сорвались.

— И у нас, — сказала Таня.

— А ты не собираешься?

Таня почувствовала, как у нее на спине окаменела Мишина рука.

Тридцатого мая, тридцатого мая...
И грозные тучи всю ночь в карауле.
Лиловые гроздья сирени ломая,
весна уходила прощальным разгуле.
Над крепостью седой и таинственным

Джвари

органно гремели последние грозы.
И тихий грузин говорил: «Ниагари!»,
и шла Ниагарская вода на утесы.

А там — высоко, в ледниках недоступных,
где некогда крылья над бездной шуршили,
на синих, как гроздья сирени, уступах
две тени зурне одинокой внимали.



Этот свет ночных дорог,
эта млечность серпантина,
эти запахи бензина.
Ветра встречного глоток.
Эти лунные стада
вдоль бетонной автострады:
переезды, эстакады,
хутора и города.

Эти парочки всегда
на окраинах, где травы...
Огоньки на переправах,
в блестках темная вода.
Этот мир больших дорог,
эта страсть ночной погони:
эти мысли между строк
на сто первом перегоне...

¹ Ливень (грузинск.).

— Пока нет.

Рука опять стала как рука.

— Чего тебе спешить? Что тебе, не возьмут, что ли, правда? А этот Витя, он ничего...

— Только у него ноги короткие! — спросила Таня.
Мише вдруг изменило чувство юмора. Он поглядел Вите на ноги и сказал:

— Нет, почему, ноги как ноги.

— Может, у него глаза косые?

— Глаза как глаза. Только, по-моему, он бабник. Видишь, почему-то все время садится рядом вон с той, беленкой.

— Ага, это его сестра. Я пойду с ним потанцую, — и не двинулась с места.

Таня мама разливала чай и поглядывала на Таню. Мама ничего не говорила, но Таня видела, что маме нравится, как они сидят с Мишой рядом, как Миша держит руку на спине ее стула и как они по-хорошему разговаривают, не ссорятся. Мама протянула руку и погладила Мишу по голове.

Неделю назад Таня позвонила Мише и сказала:

— Сэр придет в воскресенье ко мне на свадьбу? Он молчал, молчал. Потом спросил:

— Все-таки выходишь за очередного Витя?

— За очередного, — сказала Таня. — Володю из нефтяного.

— Могла бы и получше найти, — сказал Миша.

— И не смей говорить мне, что у него разные уши. Я сама все знаю. Придешь?

— Приду. Как же без меня? Я же друг детства.

На свадьбу Мишина мама приехала без него.

— А что Миша делает? — спросила Таня.

— Слушает польские пластинки.

Станислав Кулиев



Не бесплодны людские труды.
Здесь в пустыне — повсюду следы
человеческой мысли и страсти.
То рокочущий ракетодром
на границе горячего мира,
то в песках затерявшимся холм —
безымянная чья-то могила.
Здесь монгольские кони брели,
сознавая свое превосходство
над просторами бедной земли
и тщету мирового господства.
Здесь идет на посты караул,
и собак храшеватые уши
напрягаются, слушая гул
исполинских лавин Гиндукуша.

Детство

Мы жили в пограничной полосе
средь хуторов, когда-то заселенных.
По клеверам, по молодой росе
я дотемна бродил в лугах зеленых.
Я слушал, как над клевером висят
гуденье пчел, собирающих нектары,
и волновал меня разъятый быт,
пусты окна, темные амбары.
Солома истлевала на стерне,
сады дичками в тягостном покое.
Таилось нечто в этой тишине,
и взыгревало что-то роковое.
Недаром озверевшие коты,
блестя остервенелыми глазами,
в пустых жилищах разевая рты,
мяукали дурными голосами.
Недаром, различенный с огнем,
втешали, как гробы, пустые печи,
и ржавчина съедала день за днем
тяжелые колодезные цепи.
А на исходе плененной весны
вдруг вспыхнули — прекрасны и зловещи —
на темных елях алые цветы,
как будто бы рождественские свечи.
Давным-давно так ярко не цвели
евловые леса в начале лета.
Огонь и зелень...

Слухи поползли,
что не к добру подобная примета.
Быстрее хлеба вызревало зло,
и черный дым окрестности окутал,

когда, кренясь,
на левое крыло
лег «юнкерс»
и спикировал на хутор...

День Победы

Калуга, как и вся страна,
своих героев разыскала,
восстановила имена
и привинтила ордена
из разноцветного металла.
В Москву и в Киев салют —
да так, что слышно в целом мире,
и ветераны чарку пьют
да песни старые поют,
куда ни глянь, в любой квартире.
Не то чтобы работать лень —
всю жизнь работаем, не ропщем,
но есть в том смысл, что этот день
навек объявлен нерабочим.
Наш праздник весел и тяжел,
он — слава, но и он же — трагизм,
недаром по стране прошел
девятый вал патриотизма.
Недаром синяя весна
в полях или в домашних стенах
вновь высыпает имена
забытых или незабвенных...



«Так Буря этих лет прошла».
А. БЛОК

В бору шумит весенний ветер —
его дыханье все влажнее...
Мы — тоже дети грозных лет,
и неизвестно, чьи грознее.
Когда в дыму горел вокзал,
и мать металась вдоль перрона,
я сам от смерти узопал
и, как щенок из-под вагона,
выглядывал на белый свет
в его минуты роковые...
Да что там! Не было и нет
благих и беззатяжных лет
у нашей матери — России.
В дыму борьбы, в огне побед,
в объятьях славы и разора
мы жили... Но глядел весь свет
на нас, не отрывая взора.
Опять весна и синева!
Гуляют по сосновым чащам
ветра, и старая трава
горит в огне животворящем.
Не пряча глаз — вглядясь в судьбу:
увидишь знак преодоленья,
начертанный на чистом пубу
у молодого поколенья.
Живи, мой сын! На белый свет
глядя пристрастными глазами.
Прокладывай в пространстве след —
и знай: вы дети новых лет,
и ваше время будет с вами.

Бесконечная песня

Стали старые деньги — новыми.
Стали новые песни — старыми.
Стали злые прозренья — добрыми.
Стали крупные планы — малыми.

Стали пьяные речи — трезвыми.
Стали краткие ночи — долгими.
Стали пряные блюда — пресными.
Стали сладкие губы — горькими.

Стали легкие страсти — трудными.
Стали полные реки — мелкими.
Стали бедные рифмы — чудными.
Стали частые гости — редкими.

Стали острые шутки — плоскими.
Стали близкие други — дальными.
Стали малые дети — взрослыми...
И так далее, и так далее...



А что же он сделал, тот гений,
свяшивший себе монумент
из несколых светлых прозрений
и несколых темных легенд?

Но вы-то попробуйте сами
хоть несколико нитей связать
и вымученным устами
хоть несколико истин сказать!

Железо стандартной ограды,
которых так много подряд...
Но кажется, что листопады
над ним чуть нежнее шумят.



Я люблю тебя, море, но знаю —
шутки плохи с тобою, когда
волны слепо сбиваются в стаю
и на берег бегут, как орда.

Я люблю тебя, время: но все же
не настолько ты правишь судьбой,
чтобы сделаться чести дороже,
чтоб заносить перед тобой.

Шум прибоя огромен и влажен —
отзвук вечности в туме времен...
Этот мир и прекрасен и страшен,
нелидим перенаселен.



Прощай, мой ненадежный друг,
нам не о чём вести беседу.
Ты воинки выпустил из рук,
и понесло тебя по свету.
В твоих глазах то гнев, то страх,
то отблеск истины, то фальши...
Но каккий, кто себе не враг,
скорее от тебя — подальше.
Спасати тебя — предать себя.
Я лучше отступлю к порогу,
не плакальщик и не судья —
я уступлю тебе дорогу.
Коль ты не дорог сам себе —
так, значит, я тебе не дорог...
Как желтых листьев в октябре,
шумят воспоминаний ворох
о времени, когда гудел
январский лес в ночи морозной,
а ты в глухую ночь глядел
и любовался ширью звездной.
Храним призваньем и судьбой,
глядел в грядущий день без дрожки,
и были оба мы с тобой
друг друга лучше и моложе.

Дмитро Навычко



Родное слово, что я без тебя!
С пути-дороги сбившийся бродяга,
Безродный, безымянный бедолага,
Тот, что утратил собственное «я».
Мое ты сердце, песня, и ставга,
И молодость, и сила, и семья.
Ты вся душа раскрытая моя,
В снегу — огонь, в пустыне знойной —
влага.

Тебя в наследство передали мы
Отцы, что отзвук твой лловили в громе,
Что за тебя сгорали на огне.
Так не засни наевки в пухом томе —
В судьбе народа ворзодись вполне,
Звени в моем и в правнуковом доме!

Нива

Поля, и нивы, и далекий луг
Росою блещут, словно сединою.
Тот старый шлях, что свел меня с мечтою,
Что смышил сердца любящего стук,—
Запахан. Чернозем лежит вокруг.
Клочок стерни торчит передо мною,
Как будто бы под глыбой земляникою
Спит русыи ветер, мой давниший друг.
Плынув стога, плывут порой туманный,
Как айсберги, в печали и тоске,
И в сердце слышен рокот экеанский.
А я иду, зажав звезду в руке,
Столетьями иду к своей желанной,
Что деревом застыла вдалеке.

Звезды

Бескрылой плоти в небе не летать.
В нее вливается, как когти, звезды.
То криком сотрясаю черный воздух.
То прахусь в темноте, как жалкий татъ.
Как в зверя — остый нож — по рукоять,
Я погружан взгляд в простор морозныи,
Но не дано постичь мне тайны грозныи,
Безбрежность — взором мысленным обнять.
Нет связи между космосом и мною.
Не вспомнити камень древнюю пращу.
Сталь мыслю не проникнется людскою.
Но лишь приходит ночь — и я ишу
Глазами звезды дальние с тоскою
И, вновь плененный небом, трепещу!

Перевел с украинского
Л. СМИРНОВ



ИЗ КОГОРТЫ ТИТАНОВ

ТИЦИАН
Вечеллио
1477—1576



Тициане написана уйма исследований, книг, статей на разных языках. Проследить его влияния — прямые и косвенные — на протяжении четырех веков, которые нас отделяют от него, но прелест его не тускнеет и загадочность его глобальной личности не уменьшается, а скорее увеличивается в сложной прогрессии.

Если принять версию, по которой Тициан родился в 1477 году, то он прожил век без одного года и умер от чумы в 1576 году глубоким стариком. Старшими современниками Тициана были Колумб и Коперник. Младшими — Шекспир и Джордано Бруно. Тициан был мальчиком, когда корабли Колумба проторили путь в Новый свет. Юношем был Джордано Бруно, когда закатилась звезда Тициана, великого новатора в области живописи. За несколько лет до смерти он написал картину «Мученическая смерть св. Августина», леденящую сердце изображением варварской жестокости. Не взошел ли уже тогда над тициановским Августином, пытавшим огнем, геройеский ореол Джордано Бруно?

Чтобы представить Гамлета живым носителем губительных страсти эпохи, достаточно обратиться к портрету Ипполито Риминиальди. В худощавом бледном лице — печальная настороженность, в глазах —

решимость, а рука сжимает перчатку, как будто рукоять меча. И в этом замедленном жесте танится скрытая отвага, воля, прямодушие. Зато в облике очаровательной Лавинии можно усмотреть черты простирующейся Офелии, доверчиво прославляющей дары юных щедрот. Образ Лавинии — излюбленный Тицианом тип женской красоты. В нем угадываются приметы сходства с Венерой Урбинской, Магдалиной, Данаей и даже с наименее ранней по написанию многофигурной композицией «Аллегория Алфонсо де' Авалос», изображающей сладостный пир жизни.

Энгельс писал, что эпоха Возрождения породила титанов. Таким титаном был и Тициан. Перед величием тициановских полотен как бы не немеет, а слова бледнеют, мертвятся, становятся набором закостенелых штампов.

Иследователи творчества Тициана разделяют его жизнь в искусстве на два этапа. Первый — безоблачный, радостный, полный покоя, гармонии, ясности, и второй — поздний — восхождение на самую высокую вершину живописного мастерства. В первом периоде длившемся около тридцати лет, Тициан еще близок к своим учителям — Беллини и Джорджоне. Тот, кто хорошо помнит знаменитую «Спящую Венеру» Джорджоне, выставлявшуюся у нас в числе других щедр-63

ров Дрезденской галереи, усмотрит в «Венере Урбинской» Тициана черты сходства с ней, а вместе с тем и различия. В «Венере Урбинской» больше пространства, простора, воздуха, дыхания, несмотря на то, что аккордаженовская «Спящая Венера» изображена под открытым небом, на фоне прекрасного сельского пейзажа, тициановская Венера лежит в глубине спальни, отстравленная от окна бархатной портьерой. И кажется, что она излучает золотистый ровный солнечный свет всем телом своим и взглядом, затуманенным ожиданием.

На склоне лет Тициан создает композиции-пoэмы, насыщенные любованием чувственными красотами мира, восторженными поклонением женскому телу. Облеченные в мифологическую сюжетность, эти композиции дают нам бесценные образы свободной матери тицианова письма, озаренного идеями Высокого Возрождения. Сам Тициан свои мифологические картины называл пoэмами, вкладывая в это слово особый, величавый смысл. К ним относятся «Персей и Андромеда», «Диана и Актейон», «Венера перед зеркалом», «Похищение Европы», «Пастух и нимфа», «Венера и Адонис», «Диана и Каллисто» и многие другие. С одной из «пoэм» москвичам удалось познакомиться на недавней выставке «Сто картин из музея Метрополитена». Это «Венера и Адонис». На полотне живет пурпур богатых тканей, золотистая, приглушенная нагота тела, влага взора и радуга, пересекающая насыщенное мерцающим свечением небо.

Владея фантастической по своему совершенству живописной техникой, Тициан в последние годы создавал неповторимые красочные симфонии, благодаря чему его картины искрились, переливались сотнями полутоонов. В каждой картине был свой хроматический ключ, изображение наполнялось пластическими формами красочной лепки с натуры. Изысканность прославленного тициановского колорита достиглась тем, что мастер умел извлекать колористический эффект из сопоставления оттенков тканей и обнаженного тела, из материала холста и наложенного на него мазка. Шедевром тициановской живописи по праву считается «Венера перед зеркалом», в которой предвосхитила не только пишницотелая монсенья Рубенса, но и кокетливность Ватто и пластическая сила Делакруа. Из русских художников, пожалуй, Троинин ближе всех к Тициану. Недаром его называют «золотым», подчеркивая тем самым особую приверженность Троинина к тициановскому душевному золотистому фону, тончайшим иносказаниям в передаче цветового движения складчатых тканей, колыхания позушиных и световых пленей. Известно, что Тициан первый применил цветовую гамму в качестве психологической характеристики портретируемых. Сколько портретов, столько и характеров. Портреты его кисти, как и портреты Рембрандта, заражают нас и по сей день скрытой душевной болью, волнением, смятением. Как не вспомнить при этом трагических героев Шекспира, духовно близких современникам Тициана!

А каким был сам Тициан? Представление о нем дает нам автопортрет, написанный в шестидесятые годы: высокий, властный старик с крупными чертами бородатого лица. От чьей скульптуры под тяжестью темной темперы складчатой одежды, только узкая светлая полоска воротника врезается, как луч, в серебряную бороду. Черная шапочка мастера обостряет матовую напряженность мускулистого профиля.

В автопортрете обнажена своего рода мускулатура ауха великого старца, обрекающего его на бессмертную славу. Пальцы правой руки нежно скимают хрупкую кисть. Он полон жажды и воли творить, тем самым давая понять всем своим врагам и недоб-

рожелателям, что и в старости Тициан не намерен уступать никому лавры первого живописца. А ведь именно в эти годы Тициан подвергается нападкам со стороны своих недругов и хулиганов. Завоеванная в неистовом труде и совершенствовании неслыханная свобода живописного изображения вызывала тайную и явную неприязнь современников. По мнению все-ведущего Базары, было бы лучше, если бы Тициан более щадительно заботился о сохранении гои репутации, которую он приобрел в свои ранние годы, «когда талант его еще не был на склоне». Другой современник Тициана не без тайного злорадства отмечает, что он уже не видит, что делает, и что его рука настолько дрожит, что он ничего не заканчивает, оставляя все помощникам». Сохранились драгоценные свидетельства того, как яростно работал Тициан над своими полотнами, уподобляясь то добруму хирургу, убирающему все вредоносное, то злому врачу, безжалостно расправляющемуся со своим пациентом, то придирчивому музыканту, наводившему последнюю рятушь наричным постукиванием пальцев, а когда и это не удовлетворяло его, то он запускал руку в палиту и, словно ваятель, лепил красками желанный образ. Так достигал великий мастер неповторимого звучания своего прославленного красочного хроматизма.

На картины Тициана трудно смотреть вблизи. Они тяготят к монументальному искусству, предназначенному для постижения целиком и всеобщенно. Вглядываясь в мерцающие колеблемым светом полотна Тициана, ловишь себя на страстном желании постичь тайны его искусства, с такой удивительной безошибочностью, волшебством красочных оттенков мира.

Рожденный как художник Венецией, небо которой, как, впрочем, и небо любого другого угла земли, украшено прелестной живописью света и теней и жителей которой исконом веков умели явиться разнообразно оттенков, являвшихся взору, Тициан пытался выразить природу с таком силой естественности, на какую до него никто не был способен. Вот уже более четырехсот лет, глядя на золотистую ткань земли, облитую солнечными лучами, на семицветную радугу, вставшую после грозы, на ликующие девичьи волосы, на благородную оливковость мудрой старости, запечатленные замечательным тициановским мазком, тициановским колоритом, тициановским светом, люди благоговеют перед мастерством Тициана. «Св. Магдалина», «Св. Себастьян», входящие в сокровищницу нашего Эрмитажа, несут на себе следы титанической борьбы художника за право жить по законам счастья, правды, красоты, разума. Он умирал, терзаемый жаждой жажды постигнуть гармонию мира, пусть даже ценой нечеловеческого страдания.

Полотна Тициана рассеяны по разным музеям мира. Среди спасенных шедевров Дрезденской галереи «Динарий кесаря» и «Дама в белом» выставлялись в нашей стране. На последней выставке живописи из музеев США мы познакомились с менее известными работами Тициана — «Рануччо Фарнезе» и «Мужчина с флейтой».

Блок называл Тициана вдохновителем передвижников. Андрей Вознесенский поднял имя Тициана на знамени своей поэзии. Эдуардас Межелайтис в одной из своих микропозм взвыает к светоносной правде Тициана:

Спокойно мое лицо, словно холст живописца. Я знаю Судьбу свою, да и сбудется... Ты свою часть постиг!

Тициан из когтей титанов. Мы постигаем его всю жизнь.

Маргарита НОГТЕВА



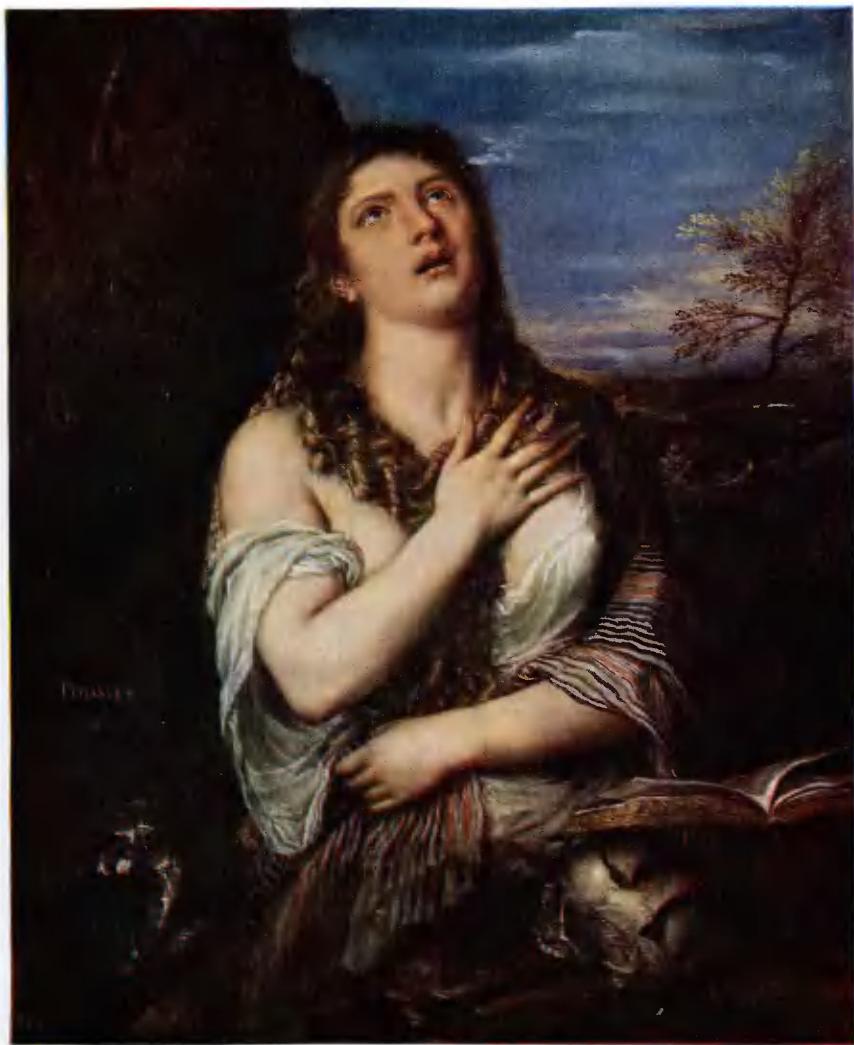
Портрет Лавинии. 60-е гг. 16 век.

Из произведений Венециано ТИЦИАНА. 1477—1576 гг.

14—40 стр. выпады



Динарий Кесаря. 10-е гг. 16 век.



Кающаяся Магдалина. Около 1565 г.



Аллегория.
Альфонсо д'Аvalos
Около 1530 г.



Ипполито Риминальди
(фрагмент).
Около 1548 г.



ДВЕСТИ ПЕРВЫЙ СЕЗОН

Недавно советская и мировая общественность широкой отметила двадцатилетие одного из крупнейших театров нашего времени — Государственного академического Большого театра Союза ССР. Ровно двести лет прошло с тех пор, как на сцене бывшего Петровского театра стала выступать первая труппа актеров и музыкантов, тогда их было семидесят четыре. Сегодня в группе театра почти девяносто артистов. За двести лет на сцене Большого театра было поставлено около сорока опер и балетов, дано почти ста тысяч спектаклей.

В своем юбилейном приветствии коллегам из театра Леонид Ильин Брежнев отмечал: «Многие поколения людей приходили и приходят в Большой театр, стремясь приобщиться к высоким ценностям культуры, к сокровищам отечественной и мировой музыки. Они испытывают истинное наслаждение от прекрасного искусства талантливых мастеров Большого театра, утверждающих в седем георгических благородных идеалах нашей партии и народа».

В дни юбилея Большой театр был награжден орденом Ленина, четырнадцать солистов получили высокое звание народного артиста СССР, семьдесят два артиста удостоены звания заслуженного артиста РСФСР. Многие работники Большого театра награждены орденами и медалями.

О предстоящем — двести первом — сезоне, о молодежи Большого театра — наша публикация. С народным артистом СССР, лауреатом Ленинской премии, главным балетмейстером театра Ю. Н. ГРИГОРОВИЧЕМ и с народным артистом СССР, лауреатом Государственной премии, главным режиссером театра Б. А. ПОКРОВСКИМ беседует Татьяна ОТЮГОВА. О молодых солистах театра: ЛЮДМИЛЕ СЕМЕНИЯКЕ, БОРИСЕ АКИМОВЕ, теперь заслуженных артистах РСФСР, и АЛЕКСАНДРЕ ВОРОШИЛО рассказывает Марина КНИЗЕВА.

— Чем памятен вам лично юбилейный — двухсотый — сезон?

ГРИГОРОВИЧ. Прежде всего тем, что после долгого перерыва вернулся к современной теме. Мой самый первый балет назывался «Аистенок», и это была современная история. С тех пор прошло много лет, и вот возвращение к сегодняшнему дню: «Ангара», поставленная мною на музыку Элпера, — это балетная версия знаменитой «Иркутской истории».

ПОКРОВСКИЙ. Специально к юбилею я восстановил спектакль, вошедший в золотой репертуарный фонд нашего театра — оперу Римского-Корсакова «Садко». Яставил ее на этой самой сцене в 1949 году. В последние три года спектакль у нас не шел — наступило его естественное моральное обветшание. Восстановить спектакль, поставленный тобою же двадцать семь лет назад, — дело очень нелегкое. Естественно, что сейчас я мыслю иначе, у меня уже дано другие творческие принципы, но ведь восстанавливать спектакль надо именно в той стилистике, в какой он был создан. Это возвращение к себе виновному — не самое интересное в режиссерском деле. Потому основным моим занятием в юбилейном сезоне была работа над тем, что произойдет после юбилея. Ведь юбилей — это прежде всего определение перспектив...

— Какие творческие проблемы, на ваш взгляд, предстоит решить в ближайшее время труппе Большого театра?

ГРИГОРОВИЧ. Думаю, что в ближайшее время балетной труппе Большого театра, как, впрочем, и всем балетным труппам страны, предстоит решить одну из сложнейших и очень существенных проблем — проблему возвращения на балетной сцене современной темы, создания полноценного и полнокровного современного спектакля. Но это не должны быть спектакли-близнецы. Хочется ставить и видеть разные спектакли, друг на друга непохожие, аруг с другом спорящие, которые и определят стиль современного балета Большого театра. Это одна задача. Но есть и вторая, от первой, кстати, неотвратимая и не менее значительная — сохранить то наименее ценное, что есть в нашем балете, что накоплено за время всех его историй. Проблемы эти всегда существуют неразрывно вице зависимости от любых юбилеев.

ПОКРОВСКИЙ. Я думаю, что опера сейчас точнее, чем когда-нибудь, начинает осознавать свою природу, неповторимость, свое отличие от драматического театра, от концертного зала. Конечно, развитие оперы, как и любого другого искусства, происходит под влиянием вкусов тех, кто ее воспринимает, но тем не менее это развитие идет в своей определенной специфике. Долгие годы в этом вопросе было много путаницы. И только недавно начали проявляться истинные свойства оперы. Я убежден, что оперное искусство у нас сейчас накануне очень большого взлета. Часто можно услышать выражение: «Пойдем послушать оперу». Но слушать ее надо в концерте, в театре же оперу можно воспринимать только комплексно. Когда композитор пишет оперу, он ее обязательно видит, иначе, наверное, нарисовал бы симфонию. Только в сочетании видимого и слышимого и есть подлинная природа оперы. Сейчас оперное искусство не в спокойном состоянии, происходит серьезный и напряженный процесс, настоящая художественная битва. Консервативные тенденции основаны на привычках, когда все новое воспри-

нимается с трудом. Но так было когда-то и с Про-кофьевым, который сейчас на нашей сцене — классика. Новые шаги трудны, но процесс идет — значит, опера близится к очередным своим победам. Все это очень серьезные проблемы, и решать их предстоит всем оперным труппам и Большому театру тоже.

— Вот-вот начнется двести первый сезон...

ГРИГОРОВИЧ. Признаюсь: для меня предстоящий — двести первый — сезон Большого театра не начало чего-то нового, а просто продолжение работы. Той, что была вчера, той, что будет всегда. Хотя, конечно, сама мысль о том, что вступаешь в третье столетие, ко многому обязывает.

ПОКРОВСКИЙ. Не могу сказать, что я сегодня испытываю какие-то особые чувства. Они те же, что в каждый день работы. Не будь юбилея, я делал бы все то же самое — работал и снова работал. Но Большой театр — больше чем место работы. Всю сознательную жизнь я был связан с этим театром, еще задолго до того, как стал в нем работать. Самым волнующим в наынешнем юбилее было то огромное внимание, что проняли к нам друзья театра, все наши зрители и слушатели, — это прекрасно и это большая ответственность. Сегодня, оглядываясь назад, мы вспоминаем тех, кто принес на сцену нашего театра нечто новое, неожиданное, сделал и подарил людям свое открытие. Тех же, кто просто добросовестно повторял то, что было раньше, мы забыли. Это факт, звучавший сегодня вполне отчетливо. Это наука для всех нас: сегодня работающих в театре, но и огромная поддержка всем нашим исканиям.

— Позвольте более конкретный вопрос: ваши планы в двести первом сезоне?

ГРИГОРОВИЧ. Лично мои ближайшие творческие планы — постановка балета «Иван Грозный» на музыку Прокофьева на сцене Гранд-оперы в Париже, Парижская премьера должна состояться уже в октябре. Вернувшись из Парижа, начну репетировать на сцене Большого театра одноактный балет на музыку Чайковского. Глауциной работой будет новая постановка балета Глауциной «Раймонда».

ПОКРОВСКИЙ. Собираюсь ставить две новые оперы, написанные специально для Большого театра. Одна из них написана грузинским композитором Отаром Такаквили и называется «Похищение луны», вторая — «Мертвые души» Родиона Щедрина.

— Какого вы мнения о молодых солистах труппы?

ГРИГОРОВИЧ. В настоящий момент состояние молодежного состава балетной труппы Большого театра у меня, как у художественного руководителя, беспокойства не вызывает. Молодежь очень сильная, интересная, все они не похожи друг на друга, все разные. Достаточно назвать Семенику, Павлову, Прокофьеву, Леонову, Акимову, Богатырева, Годунову, Гордееву, Цыбина. Впрочем, в таких перечислениях обязательно кого-то упустить. Есть у нас и совсем молодые ребята, только что окончившие училище. Мои слова о том, что с молодежью у нас благополучно, относятся не только к солистам — интересен сейчас и кордебалет, почти целиком обновленный.

ПОКРОВСКИЙ. Сейчас в Большом театре есть много очень интересных, пока еще малоизвестных

молодых певцов, которым в скором времени предстоит занять ответственное, ведущее положение в труппе. Я не хочу называть их имен — многих уже слышали, а других вскоре услышат. Очень люблю работать с молодыми, получаю от этого большое удовольствие. Не только потому, что они голосистые, но и потому, что у них новое, очень своеобразное мышление.

ЛЮДМИЛА СЕМЕНИКА

Каждый балетный исполнитель по необходимости — вундеркинд. Когда школьница шестнадцати лет становится актрисой кино, мы говорим, что это исключительный случай. А что сказать о девочках из балетного училища, выступающих с одиннадцати лет?

Людмила Семеникав двадцать четыре года, но на сцене она с девяти лет и уже исполнила Одилию и Одетту, Машу и Жизель, Фригию и Ширин, Аврору и Валю в премьере двухсотого сезона — «Ангара» Энпаза... Всего партий почти столько же, сколько ей лет.

Семенику «Семенечку», как ее до сих пор зовут в ленинградском Кировском театре, где она танцевала первые полтора года после училища, представлять себе в театре трудно. Вероятно, она затерялась бы в толпе: небольшого роста, детски тональная, хрупкая, словно только что сошедшая с картины Пикассо «Девочка на шаре», и челка чуть не до самого кончика носа. В обычном «дневном» быте Большого театра среди махровых «банных» балетных халатов в буфете, между старины важности пухлых кресел в уборных, среди пепельных чехлов-полотнищ в зале она выглядит чуть первым, серьезным подростком. Но в глазах этого подростка — воля и пристальность, неистовое стремление к счастью и способности постичь трагедию. В этом взгляде подчас чувствуешь какую-то разгадку ее желанию танцевать героянико-наричные, судьбы неблагополучные, крутые; жажду поймать и волю притянуть мгновение несущественности, такого напряжения, когда схлестнулись желанное и несбыточное.

Марина Цветаева сказала как-то, что поэт, по сути, пишет всю жизнь одно стихотворение. А балерина? Как бы она была непохожа, отдалена друг от друга ее партии, она все-таки перекидывает между ними нить единой, избранной темы.

Люда говорит о Жизеле:

— Жизель — это целостная натура, человек такого богатства, что, может быть, она стояла бы с необычайными, но ничего другого принять не хочет. Она монолитна, цельна. Она не способна пойти на компромисс. Сколько она прожила — 14 лет? — но это неважно. Пусть она погибла, но она прожила так емко, что позади все: любовь, страсть, и предательство, и прощение. Она осуществлялась.

Зал встречает Семенику аплодисментами: «Легенда о любви». Легкая, в белом одеянии вздевает — ожидает на сцене юная Ширин. Мгновения и кроткая судьба этой поначалу капризной детски отделенной от мира всеобщей любимицы. Судьба — взлет от лука зорьства, резвой шалости к героизму, к тяжелой отгivenessности самопожертвования.

И когда в последней сцене в мятущихся, распахнутых арабесках, склоняя белые голуби летят она по сцене, решаясь отказать от Ферхада, своего любимого, потому что за время разлуки он стал нужен целому народу, и она не имеет права его увести варуя чувствами нерв этой партии, этого образа где легкие поначалу движения становятся к концу цельными эмоциональными эпохами.



На снимках:

Людмила СЕМЕНЯКА — на репетиции,
Борис АКИМОВ — в сцене из балета
«Конек-Горбунок» и Александр
ВОРОШИЛО.

Предельно насыщенными, предельно емкими.

Творческая судьба Людмилы Семеняки сложилась легко и счастливо. Сбылись все мечты; с детства — на сцене, с самого класса ученицы имени А. Я. Вагановой — участница в международных и всесоюзных конкурсах; она становилась лауреатом, победительницей, получила высокий приз имени Анны Павловой Французской академии танца, премию Ленинского комсомола, с прмой логической последовательностью восходя на ступени успеха — но мир не замыкается, не становится более простым, а жизнь задающей.

Чем больше она раскрывается как балерина, тем шире становятся ее интересы, потому что она считает, что найти новые идеи для танца можно во всем.

— Я не понимаю, не принимая жизни, когда в ней нет напряжения, перегрузки. Мне сразу начинает чегото не хватать. Поэтому я всегда больше всего не люблю людей, которые не умеют жить полно, скучали.

Балет с его хронометражной строгостью и геометрической точностью неизбежно воспитывает в человеке стремительность. Стремительность Семеняки — это не просто поиседневная дисциплина, строгая элегантность движений, но и присловье: «Кто хочет много сделать, должен жить узко и глубоко».

Это желание емкости, наверное, и наполняет движение Семеняки к образам все большей и большей сложности, многозначности.

Люди возвращаются вновь и вновь к книгам любимого писателя — Достоевского, она мечтает о таком балете, где смогла бы воплотить главную его героиню — Настасью Филипповну.

А самый дорогой для нее образ — дерзкая и прекрасная Маргарита из «Мастера и Маргариты» Булгакова. Такого балета еще нет, но Семеняка убеждена: мы еще сами плохо представляем себе возможности танца. Это сложнейшее искусство еще не раскрыло себя до конца, время балета только начинается.

БОРИС АКИМОВ

Борис Акимов начал с того, что становился трех принцев в «Лебедином озере», в «Спящей красавице», в «Солуньке». Казалось, ему открылся беспринципный спектакльный путь, но Борис искал другого — он вдруг захотел сделать своих принцев более активными, резкими. И в условиях героях неожиданно стали притягиваться какие-то узываемые, земные люди. В классически выстроенных партиях прозвучала вдруг пристрастие к современной манере поведения, раскованной пластике, динамичности нашего века.

Поэтому следующую исполненную им — современную — партию, Ильику в «Аселии», Борис считает своим вторым дебютом. Работая над этим образом, он напел свою манеру, свое художественное кредо.

Говорят он об этом так:

— Мне нравятся современные герои. Современный спектакль — это балет, в котором всегда есть синтез: новые отшельники классики и модерн есть выразительная простота. Но главное, современный спектакль дает мне больше свободы: я могу принять естественные, раскрепощенные позы, воспринести движения, которые нашел сам в жизни. Мы создаем новый язык для современности, смотрим и отбираем; в работе над новыми спектаклями исполнитель более активен, он как бы соавтор балетмейстера.

Сзади одних танцоров — во внешней выразительности, в запоминающейся позировке; другим удается прыжок или вращение; Акимов наиболее интересен в пластике. Он «лепит» свое тело виртуозно, и способен передать тонкие оттенки состояния героя и свое-го отношения к нему.

Раздаются тревожно-победоносные аккорды, тяжелый занавес Большого театра распахивается — и в заносчивой, фанатичной позе предстает зрителям фигура завоевателя Красса.

Его движения запальчивы, как жесты агрессивной марionетки. Его стихия — опьянение властью, возможностью унижать, разрушать, уничтожать. Но это не Красс Аиенса, который придал своему тирану некую законченность, провинциальность — фанфарную чванливость, напирное позерство, постоянный взгляд на себя со стороны: прекрасен, прекрасен... Красс Акимова не столько деспотичен, сколько свободен. Вот он, идя вперед войска, каприсен отточил губу... Да это же ребенок! Недородный, неустановившийся характер, он и себя-то не разглядел — не умеет: пуст. Красс не страшен. Он жалок и смешен. Акимов с самого начала снимает со знаменитого героя орел величия: бравурно-деревянные, нетуристичные движения сменяют он неожиданно полузумами, турилько-размазанными. Так понимаешь, почему походил его Спартак, не уничтожил во время поединка: пренебрение свое показал, унизиться не захотел.

Но в то же время, если приглядеться к этому «барбисту» повнимательнее, увидишь в нем словно ве-роятность другого поворота характера: он мог бы быть другим, в нем словно бы заложена крүпка не-уверенности. Да, Красс Акимова стремится подавлять, но за этой агрессивностью проглядывает сом-вение, какая-то внутренняя шаткость.

Суждение актера не бесповоротны, он словно по-стоянно оставляет возможность еще что-то предо-ложит в своем герое...

Есть одна комната в Большом театре, которая до-рога Борису, как никому другому. Трельяж, кушетка — гимнестка солистов. Здесь два года проходила почти полностью вся балетная жизнь Бориса.

...Это случалось в 1970 году, после его первой та-сторонней поездки за границу, в Италию. Внезапно опухли ноги, пронзила нестерпимая боль. Он еще пытался заниматься, упражнениями заглушить болезнь. Стало хуже. Никакие домашние средства не помогали. А однажды на спектакле один из исполните-лей вывихнул ногу. Не задумываясь, едва успев за-гримироваться, не остановив действия, Акимов вы-шел на сцену, на замену. Танцевал с болью, а на сле-дующий день уже не смог встать. И тогда, обратив-шись к врачу, он услышал нечто обескураживающее: семья(!) внутренних переломов. Перетянулся. Полная невозможность выступать. Врачи предложили инва-лидность. Говорили о перенеме профессии.

Профессии?

Балет не профессия.

Балет — это судьба.

Он и был его судьбой с самого начала, когда Борис пришел в Московское балетное училище сам, танцом от домашних — в шестом классе. Его принял в до-полнительную группу для запоздавших. Борис еще увлекался тогда всем сразу: пел, рисовал, учился в музыкальной школе, был чемпионом Москвы по фи-гурному катанию среди мальчиков. Пришлося от все-го отказаться. Это была не только школа балета, но и установление жизненного стиля.

И теперь молодой солист черпал силы в том опыте стойкости. Он не мог танцевать, но он приходил в театр каждый день, в свою гримерную. Завел себе коврик, и, пока днуде занимался в классе, он ло-

жился на пол и делал сложнейшую, им самим изобретенную гимнастику.

Так прошел год — время, достаточное, чтобы любой балетный актер полностью потерял форму. А Акимов уложил свою «лежачую программу», наблюдал за собой, тоинко фиксируя изменения. И, когда подобные внутренние переделы от перенапряжения случились у другого молодого танцора (мастера буффонады и гротеска В. Борохобко), Боря помог ему, заставив заняться рядом с собой.

И через два года сказал себе: «Все, пора».

За полтора месяца подготовка-восстановление сложнейшую партию — принца в «Лебедином озере» Чайковского. На спектакль пришла вся труппа. В первом ряду сидели врачи. В успех просто не верилось... А он станицал. Наверное, тогда-то особенно сильно прозвучали новые, волевые и острые неканонические тона в его principe.

А Акимов сразу стал готовить новую партию.

АЛЕКСАНДР ВОРОШИЛО

Пение — это отдача избытка сил», — так говорил великий Карузо.

Оперного исполнителя всегда представляли себе волевым, могучим. Есть что-то монументальное в оперности. В оперу и приходит позже, чем в балет: начало — 25—28 лет (а бывает и позже: Нежданова пришла в профессиональное пение в 30). Здесь приносит на сцену иную молодость, чем в балете — не возрастную, а артистическую, молодость поиска, критики, пафос новизны.

Таков и Александр Ворошило. В нем заключено и ощущение силы, устойчивости, возникающее от крепкой, плотной фигуры, и то изнутри идущее, просветленное и сосредоточенное обаяние, которое профессионально называется «певческое состояние».

Его сценическая манера соединяет два начала: пуританскую и экспрессию, открытое чувство и сдержанность — благородную, чутко замкнутую. Причем одни не противоречат другому, а как бы подчеркивают его. Ворошило строит партии так, что в них звучат контрасты и переходы.

Ария Роберта из «Иоланты» Чайковского — «Кто может сравниться с Матильдой моей! — одна из самых опшеломляющих в мировом репертуаре. Георгий Роберт, жених Иоланты, вошел в обще сознание именно этой арией — ликующей, полетной. Его роль в опере невыразимая — ведь он едет отказаться от невесты, которую представляет монахиня: холодной и беспустынной, во имя другой, и тормозит действие; «взорит», препятствует Аргусу (Водемон — прекрасная работа З. Соткилавы), главному герою, который и должен быть самым ярким и привлекательным. Но Ворошило трактует образ неожиданно: его Роберт словно развивает образ Водемона, кажется даже, что это один характер, только проделанный во времени сопоставленный разными состояниями: Водемон стремится вперед в поиске чувства, Роберт берегает чувство, уже обретенное. В обеих ясная романтическая чистота в поклонении любви, но один свободен, другой нет, один события гонит, а другой останавливает. Ворошило играет героя-скептика, для которого холод — только защитная маска.

Пять Ворошило начал поздно: ведь в школе совхоза Майка Днепропетровской области, где он рос, не было учителя пения, и он увлекся музыкой только после армии. Поступил в музыкальное училище, но со второго курса его исключили — не было начального музыкального образования.

Он поехал поступать в Одесскую консерваторию и хотя на вступительных экзаменах по солейфюжоне не смог записать ни одного знака, во приемной комиссии решили, что ноты знают многие, а голос такой, как у него — бархатный, пластичный баритон, — редкость.

И он начал учиться, переживая огромные психологические трудности: неудачи на внутривузовских конкурсах, постоянное ощущение того, что другие подготовлены лучше. Но решив не перегружать себя занятиями, и отбрасывая то, что казалось творческой необходимости, было созвучно. Воспитывал себя: не озлобляться, не замыкаться, причины неудач искать только в себе. И к Александру пришел, наконец, успех: он победил на конкурсе имени Глиники, еще будучи студентом четвертого курса начал петь в Одесском оперном театре, затем стал лауреатом конкурса имени Марии Каналес в Испании...

Иногда слушаешь классическую оперу, — говорит Ворошило, — и если отважешься от слов и музыки, а воспринимать только голос и поведение певца, то не поймешь, в чем там дело. Пение такое бесстрастное, жесты одинаковые, заученные, словно человек вышел просто отбыть на сцене. Кого я готов слушать бесконечно и учиться — это Елену Образцову и Владимира Альтанту. У них настояще оперное искусство, они покоят всем своим существом: самоотрешились. Я считаю, что главное в пении — мысль, точное выражение того, что именно переживает и видит твой герой, способность переступить порог гримерной — и совсем забыть о себе, полностью войти в другого человека. Тогда на сцене появится и дыхание и хороший звук, само раскроется то, что есть «высший пилотаж» в пении, в опере.

Двухсотый сезон Большого театра был первым сезоном Александра Ворошило в Москве. Исполненные им партии Елены в «Пиковой даме», Моралеса в «Кармен», Илюши в «Октябре», ли Поза в «Дон-Карлосе» — каждая была проникнута собственным стилем. Однако он не спешит «захватывать» все новые и новые партии, избегая столь свойственной дебютанту «преподаварской жадности».

— Онегина я петь еще не готов, — говорит он, — покажу, мы его представляем слишком простым сегодня, и этот образ нуждается в переосмысливании.

Теперь он готовится к работе экспериментальной — роли Чичикова в «Мертвых душах» Р. Щедрина, одной из наиболее сложных в этой опере-метафоре.

Наталья Астафьева



Смеркается,
и розовый
с раствором слабым купороса
свод неба побелен, как хата,
известкой, по старинке, просто.
Неоущаемый прибой
космического океана
вокзальной крышей над землей
сияет матово-стеклянно.
Давно пропорот он насквозь
ракетами,
заснят на плёнку,
но, как грозой груженый воз,
еще мерещится ребенку.



Могла б давно я провалиться в ад,
в тартарары, сквозь землю,
в неизвестность,
когда б не сердца золотая песня,
когда б не твой, меня держащий взгляд.
Меня неудержимо тянет вниз
или возносит вихрем смертоносным,
но я дерусь за нежность, как за остров,
как держится пунатик за карниз.
А если покачает меня недуг,
чтоб удержаться так немного надо:
кусты орешника или людского взгляда
восторженный и жалобный испуг.



Вновь на дворе окивают
тысячи метров весенних:
ночью сквозь тонкие ели
в снег осыпаются звезды.
И невысокие тучи,
и невесомые тени,
чуть истончавшие сучья
да отсыревшие гнезда...
Вижу твой взгляд скопиной,
словно здесь синее поле,
словно вдвоем мы с тобой
в сене степном на покосе
или
над речкой летящей,
крепко держась за перила...
Пусть нас с тобой качает,
пусть нас с тобой уносит,
пусть далеко увлекает
необоримая сила!



Ты огромным серым камнем
показался мне сегодня,
мне тебе хотелось сдвинуть,
окружить большой водой,
чтобы в ней сверкало солнце,
чтобы в ней мелькали тени,
птиц рассветные зигзаги.
Воды сдвинули запруды,
льдины двинулись по водам,
глухо рухнули с водоводов
почерневшие снега...
Мы теперь вдвоем с тобою,
мы теперь с одной судьбою,
в нас теперь одни прибои
ходят с ног до головы.



На привычном бездорожье,
сердце в холодок закутав,
трудно различить в прохожем,
кто прохожий, кто попутный.
Но, поверив в невозможность,
лишь похожего замечу,
смело и неосторожно
я шагну ему навстречу!



Я оживаю медленно и робко —
после дождя затоптанной тропки,
пока ее однажды не разроет
живущее железной травой.
Не думаю, тебя не вспоминаю,
а просто очень трудно засыплю,
и просыпаюсь медленно, часами,
и говорю невежливо с гостями.



Любовь, как зонтик, надо мной раскрыта,
дождь скучных будней для меня —
не страшен.
Безденежья глубокий снег, забот болото,
пусть засосут, пока дышу — дышу любовью.
Над лесом — утренних лучей благословение,
над полем — птицы, над тобой —
мое волненье.

Гнездятся птицы по любви
и пчелы в ульях.
Нет смысла людям без любви
в столов и стульях.
Над птицей — небо, надо мной —
твое внимание,
твое лицо, твои глаза, твое дыханье.
Был страшный год, была война
и Хиросима
а я живу, а я люблю, а я любима.



Дорога еще далека
непелкая,
пусть будет тебе легка
любовь моя.
Пусть будет песней в пути,
пусть будет сказкой,
пусть будет тебе цветсти,
как солнце красное.



Борис
Янчук



ПЕПЕЛ СТУЧИТ В СЕРДЦЕ

Копище... Село на Житомирщине, затерянное в глубоких, кажущихся непреходимыми, лесах на границе с братской Белоруссией.

Село это, как и многие другие села, ничем не отличающиеся друг от друга, расстил достойную смену, наше, сеят, собирает хлеб и голубоглазый лен.

Село как село, а присмотреться, вспомнить... На окольице от ветра колышется седая полынь. В зарослях инвоника и полыни замерли позднедевятые глыбы со сладкими гарни.

Здесь на рассвете 13 июля 1943 года головорезы гитлеровской карательной экспедиции расстреляли и сожгли живьем 2887 мирных жителей, из них 1347 детей.

Каратели «чисто» выполнили эту ужасную операцию: село исчезло с пламенем и дымом за несколько часов.

Фашисты были спокойны, они аккуратно придерживались приказа из немецкого командования полчищ города Житомира от 26 августа 1942 года, который требовал:

«(...) Пункт 8.

Запрещается фотографировать акты истребления в пределах немецкого рейха и за ними. Запрещается также давать рас-

поряжения с целью фотографирования актов истребления лицам, не служащим в полиции охраны порядка.

Разрешения фотографировать в служебных целях могут давать только начальники государственной полиции.

Все ранее сделанные снимки забрать и уничтожить (...)

Келле».

Но как ни старались фашисты замести следы кровавого злодействия, они все же остались...

Житомирский писатель Алексей Опанасюк, с которым несколько лет мы вместе работали в редакции областной молодежной газеты, как-то показал старую фотографию, на которой запечатлена группа детей, оборванных, полуоголых и босых, испуганно глядящих в объектив. Это они чудом уцелели, вырвались из огня и смерти, когда фашисты сжигали Копище. Где они сейчас? Как сложилась их судьба? Наконец, кто автор фото?

На эти и ряд других вопросов более десяти лет искал ответа молодой писатель. Письма-запросы, кропотливая работа в архивах на первых порах не приводили к успеху. И Опанасюк было прекратил поиски, ведь живых свидете-

лей в селе, по существу, не осталось.

Непредвиденная встреча с жительницей Копища Ульяной Таргонской помогла развязать, казалось бы, навсегда завязанный узел...

Со всех уголков нашей Родины посыпались письма от рано поседевших свидетелей, чья детская память навечно зафиксировала тот страшный июльский день, когда фашистские изверги загонили их отцов и матерей, братьев и сестер в саран и амбары, обливали бензином, жгли, расстреливали из автоматов, а бегущих и причуяющихся добивали в спелой ржи.

Так родилось прадвное повествование об одной из самых кровавых расправ фашистов над непокорными жителями, которые оканчивали сопротивление оккупантам.

В одной только Житомирской области гитлеровцы расстреляли, повесили, сожгли в замутили 322 тысячи человек, в том числе большое количество военнонеподчиненных. Более 60 тысяч граждан увезли в Германию. Судьба Копища — судьба белорусской Хатыни и литовского Пириниша, чехословакского Лайдице и французского Орадура.

Трагедия украинского Копища и трагедия далекого вьетнамского села Сонгми, сирийского города Эль-Кунейтра! Как они разительно похожи между собой, эти трагедии! Ибо и здесь в там действовала беспощадная и жестокая рука завоевателя, «почерк» которой не изменяется ни от места, ни от времени.

Там, где когда-то был центр села — две берески и памятник.. Женщина и старый партизан со знаменем скорбят над могилой. На мраморе три строчки: «Вечная память 2887 землякам, зверски замученным немецкими фашистами во время Великой Отечественной войны в июле 1943 г.».

2887.. Перед глазами кровавые отблески кошмарного пожара, пепел погибших стучит в наши сердца...

Документальная повесть «Копище» вышла в издательство ЦК ЛКСМУ «Молодая». Предисловие написал известный украинский писатель Герой Советского Союза Юрий Збранецкий. Книга адресована молодому читателю, не знавшему ужасов войны.



ПРИГЛАШЕНИЕ НА АНГАРУ

На «Советской России» (изд. «Советская Россия», 1975) — вторая итоговая книга Анатолия Приставкина. Первой такой, на мой взгляд, была для него «Лирическая книга»

(1969). Трудно сказать, какая из них для самого автора «главнее», потому что обе они из тех книг, о которых принято говорить, что за ними — «всё»: и писатель, и читатель, и ученики, и даже учителя этих покоров, о которых ихтиологах, о будущем Ангара... И как-нибудь случайный разговор с шефом четырех «журналов», про славянских шинах, о склоняющихся тарифах, о диспетчерской службе, об ответственности перед то-

что далеко не всегда и не всем литераторам удается так выразить свою тему и себя в ней, что можно было говорить об «итогах».

«Освобождение Ангара» для писателя началось без малого двадцать лет назад, когда студент Литинститута, проехал на стометровке Братской ГЭС, обрел здесь профессию гидростроителя, стал непосредственным участником превращения Ангары в республиканскую, печатал свои «оттиски» на страницах «Литгазеты» (с них, к примеру, началось мое знакомство с писателем), готовил научно-исследовательскую работу на материале не из вторых рук, а добавляя его собственными мозолями и потом. Дипломный проект Приставкина курировал Всеволод Ильинов, сразу отметивший добросовестность автора, его цепкую наблюдательность. Затем были первые публикации, опубликованные в «Юности», документальные повести, книжка «Мой современник» (1960). Между прочим, сибирские новеллы вшли в «Лирическую книгу».

Но вот когда годы и расстояния не отделяют, а приближают писателя к истокам его творчества, тогда рождаются такие книги, как «На Ангаре». Широкая география Ангари — от Братска до Усть-Илимска и Бугучан, усвоившиеся масштабом и техникой строек, отражающиеся в природе приходили новые поколения строителей, по-разному складывались судьбы ровесников писателя и писатель, отрываясь от старых проблем. На гребе прошедшего десятилетия точнее можно было увидеть победы и поражения, понять, какой ценой оплачен Братск — первенец ангарского каскада...

Так, копиляясь ангарские тетради писателя, и складывалась книга «На Ангаре».

Она вышла в Серии «По земле Российской», это, конечно, не путевые очерки в привычном смысле, хотя в книге множество дорожных встреч и во всех ее десяти главах очень много говорится о том, какое впечатление об исчезнувших и вновь рождающихся пейзажах, рассказы о гибельных, таинных пещерах и скелетах, о учениках этих покоров, о учениках-ихтиологах, о будущем Ангара... И как-нибудь случайный разговор с шефом четырех «журналов», про славянских шинах, о склоняющихся тарифах, о диспетчерской службе, об ответственности перед то-

варицами и прочими производственными «мелочами» оказывается по-настоящему интересным для нас именно потому, что он никогда не был, не нариком, как все в книге, напоминает нам о старой, вечной новой истине: труд благороднее чистого человека. Эту истину национальное и кровью не только фантическое богатство книги, где статистических данных, национальной позиции автора и его героя.

Как всякое правдивое свидетельство о времени, книга «На Ангаре» дает обильную пищу историку, энтомологу, гидрологу, но не только глазное в творчестве Приставкина. О чем бы он ни писал, в каждой строке его ощущается атмосфера народного и национального человечества, которая, собственно, и отличает художественную книгу от любой другой. Не говоря уж о том, что каждой строке занимает здесь не половина ее текста. Без него книга просто утратила бы свое обаяние. Как и без своих молодых, беспокойных героя.

«Дорогой, Братск, встречаешь!» — названа одна из глав. И вся книга — это приглашение на Ангару, на великие сибирские стройки...

Виктор РОМАНЕНКО

«ПОДЗЕМНЫЕ РЕКИ»

Наверное, не слу-
чайно литовский поэт Альгимантас Балтансис назвал свою новую книгу стихов на русском языке (издательство «Художественная литература», 1975). «Подземные реки» — это постоянно меняющиеся подспудные течения в поэзии этой мысли, почва, излучини приудившие пути, это — глубинное в духовной жизни самого поэта, то, что жизнь еще не вывихнула из-под поверхности, но, вот-вот, вы-
пластнет, сверкнув неожи-
данной, новизной и глу-
биной.

Прошли шесть лет со времени выхода предыдущей книги поэта на русском языке — «Песни птицы» («Вага», 1969).

Кредо его поззии зву-
чало так: «20-й век в ре-
альном верит хлеб, а б
стакции рукины прове-
ряя». «Первое поколение

от плюга», к которому принадлежал А. Балтакис, принесло в литовскую литературу реалистическое миросозерцание и смелую лирическую душу. Лирический герой поэта постиг жизненный опыт отцов, ему прежде всего была присуща самостоятельность мышления, способность вертеться на ходу. «Сам себя неплохо я верчу». Он раз и навсегда понял, что «очень страшно, когда за тебя пересудят, хотят и правды». Он был честен перед самим собой как нравственно сильный человек с присущим ему острым чувством моральной ответственности.

«Подземные речи» — это по-прежнему лирика действия, потому что «души отважные. Когда кричат ветра в оконоголовье», в то же время это и болезненное эстетическое осмысление потока жизни. Размыщление о судьбах великого человека — Альберта Эйнштейна, о судьбах труженика — Ганса Леснича влечет за собой ряд сложных ассоциаций. Духовный облик его лирического героя так же склонен к тем облики «сторожного и стоногого» города. В «Подземных речах» А. Балтакиса приснулся неожиданно для него космический ученик, живущий в «духовой» жизни — погода («Весенняя в душе заглохна»). Поз — не только романтическая наука, способная к «криковому» поражению за грань трехмерности, земной». Но, в то же время, человек мыслящий, различающий «мечты и ямы».

Одна из самых главных тем поэзии А. Балтакиса, разумеется, тема любви, в которой, как во всяком проявлении духовности, есть момент проникновения с вечностью («Женщина»).

В «Подземных речах» читатели встретятся с нравственно изменившимися лирическим героями А. Балтакиса, который все время идет по пути поисков. На смену подчас общим декларациям приходят философские раздумья. На смену традиционному стилю — верлибр.

Неизменным же остается союз простой, «неукрашенной» формы и емкой мысли, а также требования совпадения позитических деклараций с жизненным поступком.

Евгения
ВЕТРОВА

АДРЕСОВАНО МАЛЬЧИШКАМ И ДЕВЧОЛКАМ

В прошлом году в Военном издательстве Министерства обороны СССР вышла книга Я. Ершова «Соколь» продолжение «Сокола», поиска. В поэтической книге рассказывается о деятельности школьного следопытского клуба «Сокол». Ребята ищут героев Великой Отечественной войны, записывают их рассказы, собирают материалы для школьного музея боевой славы. Они узнают, какие героические поступки совершили наши братья в боях и непримитивы в повседневной жизни. Так воспоминают гордость людем, отстоявшими в борьбе с фашизмом своих и чужих братьев, наших Родин, закалены юные характеры. Встречаются с ветеранами войны, записывая их рассказы, решают не только как привезти данную, но и, обнаружив неоправдившую, вступают в борьбу, доказывают, что истины помогают восстановить и привести в порядок.

Со многими интересными людьми встречаются они, много узнают о мужестве и отваге тех, кто живет и работает рядом, даже в одном доме, даже в одной школе. Автор рассказывает о партизанской связной Ане Шумиловой, скромной и незаметной труженице войны, смело идущей на самые трудные задания. И совсем уж неожиданно открывается для ребят подвиги связной Кати Абросимовой, работающей теперь в школе техники, а также Гали Ручевой, тоже связной партизанской связной, а затем бойца-автоматчика, павшей в боях за Берлин...

Острые вопросы воспитания подрастающего поколения ставятся автором и в повести «Найден на поле боя», такжеющей в новую книгу. Давно она не писала войны, в сражении за небольшую деревеньку подобрал сержант Алексей Каганов на поле боя совсем еще маленького ребенка. Решив, что матеря его убита, сдал сержант Ваня в детский дом. Уже после войны потерявший семью Алексей вспомнил о мальчике и начал его искать. А Ваня тоже живет в смятении. Он хочет знать, где его

мат и отец. И он бежит из детского дома в надежде найти своих родных в том самом селе, где когда-то нашел его самого сержант Каганов...

Есть в поэзии ясное, громкое, смелое изложение, не всегда оправданное и идущее от авторской заданности. Не удалось автору избежать и схематизма в обрисовке рода бородатых бывших лиц.

Почему пишут о книге Я. Ершова? Мне хочется привлечь внимание читателей к важной и благородной теме.

Прикосновение к героической истории нашей Родины вызывает у ребят тягу к подвигу, воспитывает в них качества, как наставничество в достижении цели, упорство в учебе. Их влечет романтика труда и поисков, они учатся преодолевать трудности, нацелившись на цели.

Семен
БОРЗУНОВ

КНИГИ О ПИСАТЕЛЬСКИХ СУДБАХ

Писатель — это прежде всего, разумеется, его творчество. Но это и его биография, от которой творчество подчас неоторвимо.

Танов и Сергей Борзунов «Погребение прошлого», так называется его известный роман. Это название символично. И в романе и в повести, посвященной погребению беспомощных участников минувших сражений, писатели как бы заставляют и нас пройти по тем же дорожкам, по которым прошли они, чтобы уделить внимание тому, что сам видел, в чем сам участвовал.

Даже я, я бы сказал, обостренная любовь к детям, всегда отыскивала трагетии в воспоминаниях. К ним обсыплюсь в какой-то мере, я думаю, во споминаниями о детстве своего поколения, которое было обрачено войной, и (погребено в земле твердо уверено) такое не должно повторяться.

На эти мысли наводят недавно вышедшая в издательстве «Детская литература» книга — монография литературоведа Д. Орлова, на обложке которой я прочитал: «Сергей Борзунин. Очерк творчества».

Д. Орлов пишет о борзунинских рассказах,

стихах, повестях и одновременно — об общественной деятельности писателя, о его биографии, но, возводя перегородку между тем и другим, понимая что существует в данном случае «повторение пройденного», говоря о войне и в годы мира, который надо защищать, оберегать во имя настолого и грядущего, во имя детей наших.

Критик очень внимателен и чуток к творчеству писателя... Сергей Борзунин заслужил такое отношение к своим книгам и тем, что сам он необычайно заботлив по отношению к собратам по перу. Результатом этой заботливой работы и является его книга «Заметки о детской литературе», выпущенная тем же Детизгом.

О десятках своих друзей из литературы и художников пишет Семен Борзунов — и о тех, что живут в Москве, и о тех, что вдали от нее. О тех, которых посыпали всю свою жизнь юношескими и о тех, которых хоть и пишут для взрослых, но порой дарят свой талант и прекрасному миру детства, отечества, юности.

В течение долгих лет создавались эти «заметки», а по сути дела, «умные, очень серьезные исследования» сферы той литературы, которая вошла в историю как наших строителей новой жизни. Статьи и заметки С. Борзунина о произведениях, адресованных «дорогим наставникам» и «девичникам», печатались в газетах и журналах. Ну, а собранные теперь все вместе, они представляют собой интересный и познавательный писательский судей и судеб многих произведений, любых наших юных читателями.

Внимание к труду своих собратьев из перегородок это добрые традиции. Хорошо, что он живет в книге С. Борзунина. В несложных однотомниках, вышедших в эти годы, Семен Борзунин «Заметки о детской литературе» он словно подводит итог своих собственных творческих исканий и размышлений о творчестве писателей. Что ж, в дни, когда писателю исполнилось 50 лет, такое «подведение итогов» перед новой дорогой вполне своевременно!

Анатолий
АЛЕКСИН

Как хорошо, когда ты, читатель и автор!



3 дравствуйте, друзья из «Юности»! Я знаю, что молодые люди самих разных специальностей пишут вам о своих проблемах и иногда даже просят помочь им. Ваш журнал часто публикует очерки о выборе молодыми жизненного пути, в которых речь идет и об отношениях к скромным профессиям людей, работающих в сфере обслуживания. Поэтому я обращаюсь к вам, надеясь, что и мое письмо покажется редакции заслуживающим внимания.

Пять лет назад приехала я с подругой держать экзамены в Московский университет. Обыкновенная история — не прошла по конкурсу. Но из Москвы решила пока не уезжать, а устроиться на работу и поступить на подготовительные курсы. Так через некоторое время пришла я работать в библиотеку услугы московской фирмы «Заря».

В чём она заключалась, первая в моей жизни работа? Комплекс бытовых услуг: легкая уборка квартиры, или доставка цветов и подарков, или помочь престарелым и больным людям, или уход за ребёнком. Моя должность называлась длинно: агент по бытовому обслуживанию населения. Мне повезло: с самого начала мастер поручила мне уход за маленькой ребёнком. Я богоотечей детей, и эта работа была для меня самой подходящей. Семья оказалась прекрасной. За три года моей работы в этой семье мы с ребёнком так привыкли друг к другу, что его родная мать стала мени ребёнок: он звал меня «тетя-мама», и бежала я к этому Сашке, как к родному сыну. До сих пор мы не забываем друг друга. Родители мальчика зовут мне, приглашают в гости, даже выручают, когда тяжело бывает, словом, настоящие друзья.

Были у меня и старички-пенсионеры, с которыми надо было погулять на улице, сеять обед, почитать книгу, даже просто поговорить. Магазин, аптека, уборка — уставала неизвестно, но чувство, что в тебе нуждаются кто-то, и благодарное отношение людей окапали все. А как приятно приносить людям цветы, неожиданные подарки! Особенно, когда свадьба.

Но иногда приходится иметь дело с недоброжелательными людьми, капризными. И отношение к нашей работе разное, часто пренебрежительное, барское. Бывали случаи, когда наши девочки чувствовали себя униженными. Приходили с намерением помочь людям (заказана уборка квартиры), а хозяйка, молодая и здоровая женщина, лежит на диване, делает замечания, сама же и пальцем о пальц не ударит. На лице такая умешка, что про падает всякое желание помочь ей.

Я приехала в Москву совсем девчонкой: восемнадцать лет, масса иллюзий — «все люди хороши», мечта — университет. Конечно, когда встречаешь разных людей, общаясь с ними, взрослеешь, начинаешь многое отчетливо видеть и понимать; я довольна, что у меня именно так сложилась жизнь, несмотря на трудности, — без них не получилось бы. Но ведь можно и ожесточиться...

Иные спрашивают: «Без образования, наверное? Хоть восемь-то классов кончила?» Когда узнают, что учились в институте, то скорее не приятно, чем радостно, удивлены. Обращаются исклюючительно на «ты»... Да это ведь у них, а не у меня отсутствие культуры!..

Вот случай. Одна семья попросила через нашу фирму помочь по хозяйству на полгода. Поручили этот заказ двадцатилетней девушке, очень милой. После знакомства с этим домом девочка приехала бледная, расстроенная, у неё был серебчий приступ. Оказывается, там был собранный совет, на котором заказчики волнивались вспух: а едущая воровка? А иначе зачем ей было уезжать из родного дома? Если не ворует, значит, имеет какие-нибудь пороки. А бедняжка пришла к нам с открытым сердцем — с искренним желанием просто помочь этим людям.

Или когда дюжий мужчина ходит по квартире в нижнем белье при тебе. И чувствуешь, что для таких ты не существешь как человек.

Часто приходится сдерживать слезы. Хочется, чтобы изменилось у людей отношение к службе быта. Ведь именно поэтому у некоторых девушек нашей профессии вырабатывается комплекс неполноценности и они скрывают от знакомых и родных место работы. И я не могу примириться с этим: разве мы, непосредственно приносящие своей работой людям радость, заслуживаем меньшего уважения, чем другие молодые люди, не попавшие в суд и с помощью родителей отыскивающие теплое, не слишком хлопотливое место? Разве наша работа менее почетна?

Ведь службу быта называют службой улыбки. Улыбнитесь и вы нам, пожалуйста.

Светлана АФЛИЯН

О Т РЕДАКЦИИ:

Очень важные нравственные проблемы затронула Светлана в своем письме. И хотя все мы с самого детства знаем слова: «Нынче всякий труд почетен», — попадаются еще некие личности, которые делают профессии на «чистые» и «нечистые». Со временем их, конечно же, не будет, но пока они еще портят жизнь и Светлане и ее коллегам в очень нужном, очень важном и очень благородном деле — в оказании людям столь необходимых им бытовых услуг. Недаром Леонид Ильич Брежnev, обращаясь к работникам сферы обслуживания с высокой трибуны XXV съезда, сказал: «Товарищи, от вас, от вашего труда во многом зависит и благосостояние, и настроение советских людей».

Мы надеемся, что и работники сферы обслуживания и вообще читатели «Юности» напишут нам о том, какие мысли и чувства вызвало у них письмо Светланы Афлиян.

Владимир Леонович



Там угор, а там деревня,
там живет моя царевна —
столь пригожа — тонь баска¹.

Семь домов, да лес, да поле,
Это кто!
Она ли, что ли!

Тропочка — не разойтись.
Ближе,
ближе,
ближе,
ближе —
— Здравствуй... Ничего не вижу.
— Здравствуй, милый.
— Здравствуй, жизнъ...

Сентиментальные стихи

Фотографический портрет
в просторной северной избе,
где встречен ты и обогрет
и рады угодить тебе.

Простые мягкие черты.
В глазах — печаль судьбы чужой.
— Ты кто! И где была! — А ты?
— И говорит душа с душой.

А где я, правда, был тогда,
когда я молод был
и слеп и глух... Забыл! Ах, да,
ведь я — одну любил.

Боялся счастья — не беды,
боялся счастья своего —
такого ясного... — А ты?
— Я не любила никого.

Сквозь дождь
и дерево нагое
свет фонаря едва прошел —
и ломкой
золотой дугой
широкий
вспыхнул ореол.

И поэтическое зренъе
подобную
имеет власть —
и жизнь
вокруг стихотворенья
сомкнулась
и переплелась.

Я вижу свет
перед собою
и жизнь кругом —
и вся она
и каждая черта —
любовьс
осмыслена,
озарена.

Буксиричик,
отрывисто воя,
взбирается вверх по реке.
Пыткенье его паровое
в ночной тишине,
вдалеке.

И барку
и долную сплотку
на плёс он выводит,
вздохнув.
Его обожала самоходка,
как стерпядь,
бортом попыхнув.

Натягивается —
провисает —
как в прорыву
уходит канат...
Костер на откосе
мерцает,
светила над Волгой
горят.

Невидимо,
бремя какое,
невидимое самому
он тянет,
буксуй и воя,
приветствуя Кострому.

Сердце падает и бьется.
Постою возле болотца,
где зимуют камыши.

Легкая трава сухая
шелестит, не утихая,
еле-еле, без души.

Небо ясно, поле чисто,
солнечно и леденисто —
слепнешь — выйдешь из леска.

¹ Так хороша (диалектное).



Александр
ШВИРИКАС

ТАЕЖНАЯ ДРУЖИНА

Рисунки
В. БЫЛИНКИНА

Сургут встретил его густой машинной армадой, рвущейся к промыслам и буровым. Надменно фыркали оранжевые «Гатти», лягали трубовозы, нервно обходили игрушечную машину Соловьева вахтовые «Уралы». Все торопились работать, и прогулочный вид серых «Жигулей» раздражал водителей. Соловьев сосредоточил все внимание на управлении машиной. Это позволило хоть на время выкинуть из головы вопрос, который не давал ему покоя всю длинную дорогу: почему его так неожиданно отозвали из отпуска? Чем объяснить спешный вызов к начальнику нефтегазведочной экспедиции?

Миновав Сургутский речной порт, «жигуленок» подъехал к двухэтажному, обшитому досками «в елочку» зданию конторы. Соловьев еле нашел место для стоянки среди дежурных «газиков» и вахтовок. Наконец определился рядом с точно такими же «Жигулями», узнав по номеру машину бурильщика из своей бригады Эдуарда Чернышева. Защелкнув дверцу, Соловьев ловко выскочил из машины, ладный, в спортивного края куртке, коротким киком бежав на приветствие, он прошел в контору.

Эдуард Чернышев стоял в коридоре в клетчатом ярком пиджаке. Разделяя, видимо, в кабинете Жоры Полторака — бывшего своего помощника, который работал теперь в конторе. Сам Полторак тут же, высоченный, поджарый — идеальное сложение для верхового. Отчаянно жестикулируя, он что-то объяснял Эдуарду. Издали заметив мастера, Чернышев вдруг, придержав собеседника за рукав, как обычно делают люди, желающие замять разговор при свидетеле.

— Привет отпускникам! — притянул он Соловьеву руку.

Мастер не почувствовал в его веселом взгляде удивления. Значит, этот спешный вызов не был для Чернышева неожиданностью.

— Всего недельку и погулял, — сказал Соловьев как можно беззаботней. — Не дали отдохнуть, как положено.

Эдуард улыбнулся, но ничего не сказал. Мялся и Полторак, всегда цеплявший свой осведомленностью.

Бард от неловко пригнулся к Соловьеву.

— Не выходит из меня кабинетного работника, я обратно в бригаду надумал. Возьмете?

Вот так-так! С чего это вдруг?.. Обнадеживать Жора Соловьева не мог, бригада была укомплектована полностью, пожалуй, впервые за три года.

— С удовольствием бы взял, а некуда, — тебе же это известно, — испытывающе посмотрел он на обеих. От мастера не укрылось, как переглянулись Полторак и Чернышев, словно и впрямь знали что-то неизвестное ему.

— Известно, известно, — поспешил успокоить его Полторак. — Я так...

Но Соловьев было трудно привести в порядок кабинету начальника, он думал, что неспроста затеял Жора этот разговор.

Начальник Сургутской нефтегазведочной экспедиции Николай Михайлович Морозов сидел за столом в кожанке, делающей его похожим то ли на легчику, то ли на комиссара, седой, плотный, басовитый.

— Ну вот и Соловьев! — обрадованно протянул он. — Догуты не дал. Покорно прошу прощенья... Но свидеться нам есть нужда. Иначе ты, мастер, будешь поставлен перед фактом. А у тебя самолобие, с которым мы договорились считаться.

Владимир понял, что имеет в виду Николай Ми-

хайлович. В прошлом году без согласования с ним в бригаду направили двух буровиков. Соловьев так решительно начал бороться против вмешательства в кадровую политику молодежной бригады, что Морозов тогда же заключил с ним джентльменское соглашение, которое старалась выполнить.

— На дни мы получили из главка план на будущий год, — сказал Морозов. — Понятно, мы ожидали достаточно высокого задания. Это можно было предвидеть. «Лучшая экспедиция министерства», «передовые бригады страны» — все эти титулы нам дали не для любования собой...

Николай Михайлович откашлялся и сказал неожиданно тихо:

— Но такого подарочка мы не могли предвидеть. Еще раз блестяще подтвердили парадокс: ходить в первооткрывателей краин невыгодно. Нам надо будет бурить на тридцать тысяч метров больше, чем предполагали. На тридцать! — Он замолчал.

— Тридцать тысяч — план целой бригады! — влез в «шум» Соловьев.

— И хороший бригады, заметь, — припнулся к нему Морозов. — Короче, надо создавать дополнительную бригаду, быстро, с первых днейбросить ее в дело. Мне предлагают переселить к нам неплохой коллектив из одной расформированной экспедиции. Но это значит надо срочно искать сорок квартир для новеньких Сорок! А у нас... Сколько в твоей бригаде заявлений на квартиру?

— Восемь остронуждающихся, — быстро ответил Владимир.

— И в других не меньше, я знаю. — Морозов вздохнул. — Мало еще строят, плохо строят для первооткрывателей. Но не об этом сейчас разговор. Бригаду все равно создавать надо. Мы решили обратиться ее из своих резервов.

Морозов выключил краинкувший было селектор.

— Каждая из бригад экспедиции передаст новенькой пять человек. Такая же разнозарядка на твою бригаду. Маневр спасет нас. Ну как?

Мастер молчал. Слиником неожиданно свалилось на него это известие. Пять человек — легко сказать! С таким трудом удалось сколотить свою «сборную», вывести ее в число лучших бригад. Главтюменгеология. И вдруг на взлете потерять чуть ли не четверть состава!

— Пять человек! — жестко повторил начальник экспедиции. — Ты должен представить мне завтра список. И помни одно: вы отыскиваете от себя людей не в штрафную роту, а для выполнения очень серьезного задания.

Впрочем, Морозов сейчас же пожалел, что произнес обязательное в общем-то предупреждение. Ему очень захотелось сказать что-нибудь ободряющее растеряному, как мальчишке, мастеру. Но он не имел права на это. Он и так позорил Соловьеву самому принять решение, хотя в его власти было просто отобрать у него пятачок лучших буровиков. И все же Морозов избрал хлопотный путь. Думая о новой бригаде, ветеран нефтегазведки не забывал, что надо еще и сохранить единственную в Сургуте комсомольско-молодежную бригаду геологов.

— Николай Михайлович! — оторвал взгляд от пола Соловьев. — Мне нужно вылететь на буровую. Разрешите!

Морозов сделал вид, что очень удивился просьбе.

— Пожалуйста, пожалуйста. К тебе в бригаду сразу направлена Зверев. Можешь лететь с ним. Впрочем, это совсем не обязательно. Передай список и спокойно дотуляй очередной. Больше уж не потребожим. — Он пробасил эти фразы торопливо,

словно не верил в реальность своего предложения: кто-то, а он хоронил молодого мастера.

В коридоре Соловьев встретил еще одного бурильщика. В руках Василия карточка на получение зарплаты, глаза весело блескивают. Сульдин потряс узкую, совсем мальчишескую ладонь мастера. Он доволен. Хорошо «закрыли» месец.

— Мотор присмотрел... «Москва». Деньги как раз кстати, — повертел он в руках бумагу. — Советуете?

Соловьев утвердительно кивнул. Если человек покупает здесь лодочный мотор, значит, надолго прибился к берегу. Примета верная. Он рассказал Сульдину о разговоре с начальником экспедиции.

Василий смотрел на мастера с видом человека, который только из учитывости вынужден слушать анекдот с бородой. Владимир понял: Сульдин, как и Жора, уже в курсе.

Но почему он так спокоен? Соловьев еще не успел прикинуть варианты, еще сам не знал, что предпринять. А Сульдин, похоже, уже решил, что все предстоящие перемены его не коснутся.

Василий небрежно спрятал карточку в карман пиджака, словно дипломат «визитку». Мастер проводил взглядом бумагу и тут же сообразил, что это объясняется эта уверенность бурильщика. Что ни говори, определить ценность работника очень просто: достаточно заглянуть в его расчетную ведомость. Победителей не судят, тем более не отдают их в другие бригады.

У мастера к Сульдину претензий не было. Буровик грозинской закалки, он, оказавшись в Сургуте, круто взялся за свою вахту и полгода вывел ее в лидеры. Хорошавша вахта. Такую нельзя раздергивать. Сульдин, конечно, понимает это.

— Мастер, у меня Ненашев приболел. Промэр в своей «льяльке». Его бы не надо... — Он замялся было, но быстро нашелся: — ..Не надо от меня отлучать. Верховой из него цепкий получился.

— Где он? В больнице? — забеспокоился Соловьев.

— Да нет... Болится в больнице идти. Хворает пока сует выходных. Не хочет пропускать перевахтовку.

— Передай ему, чтоб не мудрил. Пусть оформляет болелку и спокойно болеет. Останется он в твоей вахте, я обещаю, — сказал Соловьев и, наскоро поклонившись, зашагал в кабинет заместителя главного инженера Дмитрия Степановича Зверева.

— Чем обязан? — спросил Зверев, когда Владимир вошел. Спросил суховато, но выцветшие глазки его были хитры.

Соловьев объяснил, что ему надо лететь на буровую. Зверев ничем не выказал своего удивления. Только сейчас он заметил, что мастер расстроен. У него с Соловьевым давно сложились близкие отношения. Строгота Дмитрия Степановича лишь прикрыла его привязь к мастеру. Было в характере Соловьева то, что с лхой искупало недостаток опыта: он не боялся нового, сложностей. Но, презирая сложности, он не боялся и обстоятельств, а этому противостояла осторожная натура Зверева. Потому так безжалостен был он иногда: «остуживал» слишком горячего, по его мнению, мастера.

Узнав, что Соловьев только что от Морозова, Дмитрий Степанович сразу понял и причину подавленного настроения Владимира. Ему самому не раз приходило раньше бывать в подобных ситуациях. Сколько «специальных» буровиков взяли из его, известной на Севере в прежние годы, бригады. И каждая потеря всегда казалась невосполнимой.

— Ты вот что, — сказал Зверев мягко, — носа-то не вешай, я в твоей шкуре не один годок походил. Ког-



да у меня Нажмитдена забрали, а умал, рассыпалась моя бригада! А что вышло? И моя, слава богу, еще погремела, и Жумажанов стал мастеровать не хуже. Теперь вот Герой, мой Нажмитден! Вся страна к нему за опытом сидит.

Соловьев нахмурился. Гордость мастера страдала, когда ему ставили в пример Жумажанова, бригада которого была основной соперницей его бригады. Слишком часто двум мастерам приходилось вспоминать друг о друге. На очередной рекорд бригады Жумажанова Соловьев отвечал своим, а Нажмитден Уакпаевич слова готовил сюрприз. Не будь этого пристального интереса друг к другу у соперников, этой истовой «демонстрации сильы», вряд ли бы обе бригады двигались так ходко. Часто приходилось им доводствоваться ничьей, но это была всегда не примирительная, а подхлестывающая обоих пичья.

— Надолго в бригаду собрались? — спросил Зверев.
— Дела надо провернуть...

— Ясно, не для прогулки летиши в самом разгаре отпуска. Тогда уж заодно и новую точку посмотрим. Она там рядышком. Место хорошее — глухариное...

— Как рядышком? — вскинулся мастер, и Зверев почувствовал, что решение руководства экспедиции застало отпусканика врасплох. Слишком много новостей для одного дня.

— Мне же обещали совсем другой номер, здесь, недалеко от Сургута, — горько сказал Соловьев.

— Не прошел номер, — Дмитрий Степанович снова напустил на себя строгость. — Бы оставшись на Севере, а вану скважину будет бурить новая бригада. И тебе меньше перезяжать, и новичкам полегче. У них — первые блия. Войди в положение.

Он прищурился.

— Или твоим рекордсменам подарить легкие метры, а новая бригада пусть ковыряется на глубокой северной скважине? Так, что ли?

Зверев был обдуманно безжалостен. Ему хотелось, чтобы Соловьев наконец понял: бригаде, названной в прошлом году вместе с бригадой Жумажанова лучшей по министерству геологии, надо защищать титул не в типичных условиях. Требовать снискождения, поблажек Владимиру на лицу. Обязан он осознать, что интересы его бригады должны быть подчинены политике экспедиции. Сейчас лидеры-одиночки не делают погоды на крупнейшем нефтегазодобочном предприятии страны. Только общий рывок гарантирует им успех. Для этого необходимо поставить бригады в условия, соответствующие их силе. И место Соловьева — на самом краю карты, на глубоких скважинах, где каждый метр дается трудно.

— Вылетаем завтра с утра, — сказал Зверев, пряча фотографшар в футляр. — Если, конечно, погода не задержит. Впрочем, тебе виднее. У меня дома связи метеостанций нет.

Намек был достаточно прозрачный. Жена Соловьева работала синоптиком, и ему часто приходилось выслушивать подобные колкости.

— За погодой дело не станет. — В первый раз за сегодняшний день Владимир улыбнулся.

И Зверев подумал, что этот парень все же непозволительно молод для такой солидной должности — буровой мастер.

Попрощавшись, Соловьев забежал на рабочую пристань ребят, чтобы задержали вахты, собирающиеся на выходной. Он решил проквести на буровой общее собрание. У аппарата дежурил старший дизелист Капустин. Капустин слушал голос мастера, далеко отставив трубку, досадливо морщаась от сильного фона. В трескотне и гуле половины слов было

не разобрать, несмотря на то, что Соловьев, по правилам, несколько раз повторял фразы. Капустин только изредка нажимал кнопку приема, подтверждая, что понял своего собеседника. Надо быть неторопливым, чтобы не сообразить, о чем шла речь. Пятеро человек должны вылететь из бригады. Что тут неминуемого?

Капустин взял ведерко, чтобы пронести воды, и пошел, поспирившая снежком, к берегу протока. Он шел беззаботно, насыщаясь что-то из репертуара любимого певца, сам не сознавая еще, что же у него получается.

А высматривалось вот что: «Третий должен уйти». Ситуация и вправду смахивала на пессимистичную.

Капустин разделил с мастером самый сложный период его бурной биографии. Владимир и сейчас молод мастеровать, а застал его дизайнер и вовсе начинаяющим. Незаметно Капустин стал другом и первой опорой мастера. И хотя ранние в штатном расписании не числилась должность помощника мастера, он, по существу, взял на себя эту несладкую ношу. Так продолжалось до недавнего времени, когда вышли штатную единицу для официального помощника и с Капустином эти полномочия сняли. Ему бы радоваться — можно наконец вдохнуть свободнее, но Капустин не испытывал облегчения. Помощником назначен Анатолий Смирнов, давний приятель обоих, бывший бурлыщик. Он, понятно, лучше разбирался в самом бурении.

Капустин шел по узенькой тропке. Снег в иенном свете фонарик казался серым, как застывший цемент. Идти по легкому морозцу приятно. Колючий декабрь присмирел, перед тем как взяться норовистым рождественским морозом. Полукружьем обступил буро-вую крепенский кедр. Пар от котельной, подсвеченных фонарями, перегибаясь через переплеты стальных ферм, казался зеленым ватой.

Капустин заметил на льду протоки дизайнера Певцова, своего помощника, и одного из Шигаповых — Рената. Парни пробовали сдвинуть установленный на салазках центробежный насосик.

Этот насос не числился в хозяйствстве старшего дизайнера. Ему бы зачерпнуть водички да идти обратно, чак кинять. Да и Певцову нечего было делать возле «чужого» насоса. Мало ли на буровой своих забот? Но Капустин уже не мог думать о часе.

— Эй, слесари-одиночки! — крикнул он весело. — Где ваша малая механизация?

— Нет у нас лома, — узнал его Певцов. — Не думали, что понадобится.

— Перекурите пока! — великолюшно разрешил Капустин. — Сейчас принесу.

Он принес лом и тюкнул им, как посохом, пошел по льду, уверенно ступая в своих огромных валенках с галошами, склеенными из автомобильной камеры.

— Ну, тяя, ты как Дед Мороз! — прыснула от смеха Певцова.

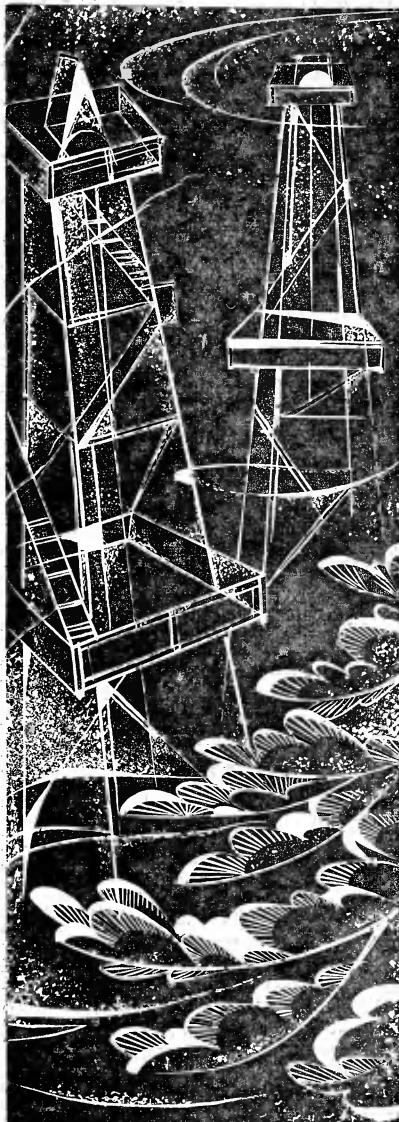
Это привычное обращение помощника сейчас было не по душе Капустину.

— Каково я тебе «тяя»! — пробурчал он, отдавая лом. — Я сюда не за пенсней, а по комсомольской путевке прибыл.

Капустин предусмотрительно умолчал, что это было уже вторая в его жизни комсомольская путевка. Первую он отметил на алтайской целине. Хотел и братьев в Сибирь смынать из Курска. Тогда не удалось. А вот на нефтяную целину перетянули обоих, да еще и батык захватили.

Втроем взялись за насос. Ренат впереди, Певцов сбоку.

— Раз, два, три, — скомандовал Капустин. Они рванули. Салазки заскользили неожиданно легко, так



что Ренагу пришлось быстро перебирать ногами, чтобы не упасть. Под тяжестью скользящего насоса лед рассыпался тресну, и Ренат почувствовал, что теряет опору. Когда вода охлаждала ноги выше колен, судорожно уцепился за выступ насоса. Капустин первым сообразил, что произошло, с удивительной быстротой наклонил салазки, чтобы переместить центр тяжести, крикнув Певцову:

— Давай назад!

Тот сориентировался быстро. Они откатали насос с винты на нем Ренатом на безопасное расстояние. Смуглое лицо Шипанова бледнеюло на глазах. Шерсть на ушах висела сосульками.

— Шаманского со льдом захотел под Новый год? — буркнул Капустин, оглядывая парня. — Марш в вагончик! Там в шкафу мокрые брюки и меховые носки. Чако покрепче завял. И — спать!

— Мне нелзя, — стараясь выглядеть беззаботным, сказал Ренат. — У меня вахта.

— Бурильщики я и предупрежу, — отрезал Капустин. — Найду тебе замену.

— Я его подменю, — быстро вставил Певцов. — Дело не новое.

— И то ладно, — смерил его оценивающим взглядом Капустин.

Занялся насосом. Буровая ждать не будет: у нее жаждка измеряется не ведерками... Они возились добрые полчаса. Когда снова подсоединили фланец к укрупненной стекловатной трубе и насосик затарахтел, Капустин повернулся к Пенцову.

— Знаешь, комсорк, Соловьев завтра здесь будет. Собрание надо проводить.

— У нас только-только собрались прощаться, — насторожился Пенцов. — Чего вдруг такая спешка?

Он внимательно оглядел Капустина раскосыми стекловатными глазами. «Тятька» — мастах на разыгрыши. Но, похоже, Капустин не шутит.

— Ну, ладно, хватит прохажаться, пора и своим делом заняться, — сказал старшина, грея задувшиеся руки в рукавах полупухлника. — Погнали.

По дороге на буровую он рассказал комсоргу все, что знал.

На буровой слыжотно, пинип пар в трубопроводах. Проекторы высвечивают площадку, словно сцену. Около бурильщика Василия Трунова, чуть сзади, чтобы не поменять ему, стоит помощник мастера Анатолий Смирнов. Несмотря на глубокую каску, похожую на солдатскую, вид у него совсем не военный. Капустин решил сразу же доделать о недавнем разговоре с мастером. Ему пришлоось говорить довольно громко — мешал шум работающих дизелей. Трунов, рука которого лежала на отполированной многими ладонями рукоятке ручага, паверника тоже услышал старшего дизелеста. Он так нахал на ручаг, что стрелка индикатора сразу плеснула вправо, показывая, что нагрузка увеличилась. Трунов явно пересудировал Смирнова сдвинул брови, но ничего не сказал бурильщику. Капустин старался говорить как можно беззаботней, обычным шутливым тоном. Но это удавалось плохо. А Анатолий молча переводил взгляд с прибора на чистую сущу бурильщика, старательно избегая встретиться глазами с давним товарищем. Он, конечно, сразу понял тревогу Капустина. Один из них, по всей вероятности, может оказаться «третим лишним». Никак не предполагал Смирнов, что придется ему когда-нибудь стоять на площадке под перекрестьем светом прожекторов и так неуклюже уклоняться от взгляда друга.

Любой вариант оказался для помощника мастера проигрышным. Самое скверное, если из бригады попросят его. Врастать в новый коллектив, где сорок незнакомых людей, сорок характеров, к которым надо припроровиться! Смирнов всегда завидовал уме-

нию Соловьева незаметно и просто сходиться с людьми, требовать, не попукая, примирять, оставаясь не примиримым. Этой гибкости так не хватало пока ему самому, и он знал, что еще не готов сам принять бригаду. Никакие курсы мастеров не могли бы его выучить так, как ненавязчив и требовательная помощь Соловьева. Неожиданно Капустин поморщился, словно музыкант, уловивший фальшив. Смирнов тоже вслушался, пока не понял причину странного поведения друга. Нечисто, со сбоями, выпевал насос — видно, под клапан попал посторонний предмет. Теперь уже никакие ухищрения бурильщика не могли поднять давление промывочной жидкости, которая вращала турбобур на двухкилометровой глубине.

Трунов, раздраженный тем, что его усилия оказывались напрасными — еще полчаса назад долото шло, как в репу, — давил на ручаг, но стрелка упорноклонилась влево. Разгоряченный бурением и странно неспокойный после появления Капустина, Василий Иванович не знал, что делать. Он еще надал ручаг, что было совсем уж неосмотрительно.

Надо было что-то предпринимать. Капустин решительно сделал шаг к бурильщику и прокричал ему в ухо, перекрывая гул буровой:

— Остановливай бурение — насос отказал!

Трунов повернулся к советчику. На лице его было недоумение. Почему тот командует, когда на площадке есть помощник мастера, приказу которого только и должен подчиняться бурильщик? Василий Иванович отыскал взглядом Смирнова. Может, он пресечет это явное нарушение субординации? Не в том ранге сейчас Капустин, чтобы отдавать распоряжения руководителю вахты. Но, к удивлению Трунова, Смирнов спокойно выдержал этот взгляд. Капустин расудил верно. Если они станут продолжать бурение, того и гляди затянет турбину. Пытаясь выиграть лишний метр проходки, они могут оказаться в ловушке. Странно, что бывший бурильщик не понимал или не хотел понять этого. Осторожному Трунову такая нерассудительность несвойственна. Что-то произошло.

Трунов ждал команды.

— Надо играть подъем, Василий Иванович, — Смирнов сказал, это спокойно, словно решение пришло к нему не сейчас, а гораздо раньше.

Капустин уже бранил себя за отсутствие выдержки. Но то, что Анатолий поддержал его, не расценил его порыв как подкоп под свой авторитет, разом успокоило бывшего помощника.

— Пока вы будете поднимать трубы, мы тут по-смогаем насос, — сказал он чуток виновато.

Впервые за всю их беседу Смирнов посмотрел ему в глаза озорно и свободно.

Он узрал Капустину. Этот несносный, по-крайней мере, прижимистый куринин пересорится со всеми, а не даст загонять и без того дряхлое оборудование. Он не позволит ради сегодняшних рисковых метров забыть о завтрашнем дне. И он тысячу раз прав!

— Давай, — сказал Смирнов, — действуй.

Ничего, кажется, не изменилось. Но только сейчас помощник мастера понял, что самый невеселый вариант — если уйдет Капустин. Он был нужен этой громыхающей в тайге буровой, любой звук которой улавливал абсолютным слухом музыканта.

Бахта начала подъем. Ловко, как матрос по ванtam, взялся по гулкой железной лесенке на двадцатиметровую высоту верховой Михаил Сарваров. Подъем с большой глубины — операция длительная. Сто спаренных труб — сто «свечей» — предстояло извлечь из скважины, и каждую Михаил, крепко при-

тороченным к вышке монтажным поясом, должен поймать.

Автоматический крюк отвивчивал первую свечу. Пока кильи держали колонну, помощники крючками отводили подвянутую свечу, а Сарваров нахрев ногами им.

Трунов двигал рычажками пульта, направляя автомаг. Уйдя в работу, он на время отвлекся от своих невеселых дум. То, что он невольно подсдушил, не было для него большой неожиданностью. В комсомольских бригадах всегда остро стоит проблема омоложения коллектива. Люди в его возрасте не должны обольщаться. Пожале, Трунов противится естественному ходу событий: решит доказать осталым — не растратил еще запас умелости, несмотря на критической возраст и надеодливые радикул!

Известие, которое принес Капустин, лишь подстегнуло его. Трунову очень нужны были метры, потому он и не хотел начинать подъем. Метры позволили бы смены Трунова «достать» наконец смену Василия Сульдина. Но теперь по распоряжению Смирнова пришлось извлекать инструмент. Трунов сразу подумал о том, что благодаря незаланированному подъему его сопернику достается чистое бурение и, значит, незначительны пока отрывы станет еще заметнее. Оставалось одно: четко провести эту самую сложную для буровиков операцию, чтобы хоть как-то заявить о себе. Пусть знают, что Трунов еще не выдохся и может смело тягаться со своими вчерашними учениками. Так получилось, что через вахту Трунова прошла чуть ли не половина ребят, которые составили теперь ударный костяк бригады. У Трунова набирались хватки и опыта, а потом переходили в другие смены. А Василию Ивановичу присыпали новые помощники, и он так же основательно готовил их, пока и они не получали повышение.

Трунов сознавал: решение, которое избрали Капустин и Смирнов, было единствено верным. Кому, как не Трунову, прошедшему хорошую школу глубокого бурения на Северном Кавказе, знать последствия неосторожности в обращении со скважиной. Он был всегда самым предусмотрительным бурильщиком бригады и этому же учили других. Миша Сарваров, горячий, но еще мало знающий тонкости бурения хлопец, иногда считал это перестраховкой.

Сейчас, глядя с двадцатиметровой высоты, через сужающиеся книзу троны талевой системы, Михаил с удивлением наблюдал, как, подгоняемые властными, словно у судьи на ринге, жестами, помощники крутились у пятачка ротора. Дваждыному Сарварову тоже приходилось несладко — он сле успевал принимать трубы и отправлять их за специальный выступ. Заступился смоляной канат, Михаил увидел, как железные члености ключа уже разинчивали для него следующую трубу. Темп был рекордный, но не очень нравился верховому этот синхрон уж отчаянной рекорд. Трунов резко отвел автомат.

До сегодняшнего дня у него была надежда, что «испанская на берег» еще не так скоро. Капустин называл точный час — завтра на соревнования. Что ж, он все понимает. Молодежная — для молодых. Если рассуждать здраво, особых благ он здесь не имел. Условия спартанские, вагончики — сборно-щелевые». Всего-то и привилегий у бригады — искать нефть на самых северных, самых отдаленных, самых болотистых площадях. Другой бы с радостью ушел. Но он дорожил архежкой двадцатилетних, привязанностью, которую ему платили недавние ученики. Потому-то чаще всего Трунов вспоминал один день. Тогда установилась стойкая неслетная погода. Вертолеты не заглядывали на тяжелую буровую вторую неделю. В столовой выпал вначале хлеб, а потом и мука, из которых пекли оладьи. Без хлеба какая еда. Василий

Иванович неохотно хлебал борцы из надоеvших концентратов, сидя на «своем» месте в столовой-вагончике в окружении ребят. И вдруг повар случайно обварил... сухарик и передал им эту драгоценную находку, чтобы хоть как-то утешить парней. Сухарик оказался у Миши Наврузова, кареглазого лезина. Миша попинул в раздумье пыщущий ус и поддивинул «лакомство» сидящему рядом Володе Уриху. Тот вначале захотел разделить его, но кусочек хлеба был так мал, что он, подумав, передал его Борису Мартirosianu, полному, рослому армянину. Борис тоже чуток поколебался, слишком велик был соблазн, но, решившись, торжественно преподнес сухарик от всех присутствующих Василию Ивановичу. С шутками и остротами ребята заставили бурильщика принять «подарок».

Пустяжное, казалось бы, происшествие, но сухарик этот все чаще вспоминался Трунову...

К утру Соловьев еще ничего не решил. Просидев весь вечер над списком бригады, открывавшим порядком потертым блокнотиком, он так и не мог обвести кружочком ни одной фамилии. С горечью думал о том, что «привилегия» обернулась мучительным для него испытанием. Решать самому оказалось сложнее, чем подчиняться приказу. До сих пор Владимирцу еще не приходилось ломать голову над такими вопросами. Наоборот, все время был озабочен приемом пополнения: отыскивал достоинством лиц тех, кто все равно долго бы не продержался на Севере. Самой опутимой потерей стал только перевод в контору Полторака. Владимир вспомнил их последнюю встречу в коридоре. Как он не понял сразу, что кроется за неожиданным порывом Жоры! Бывший комиссар бригады Полторак по-рыбачки предложил свою помощь в трудном для молодежной времечки. Никогда не ожидал Соловьев, что Жора так вот сразу сменит свой кабинет на продуваемую северными ветрами «мольху» верхового рабочего.

Значит, на место одного из «пяти неизвестных» вернется Полторак. Задача упрощается. Но Морозов сказал ясно: пополнить передевые бригады будут только «своими». Выходит, к нему направят четырех выпускников «буровой академии» (так называют школу подготовки кадров при экспедиции). Явно все они несмышленыши, изучившие буровую лишь по картинкам. Кому-то надо делать их буровиками. Соловьев ценил всех своих руководителей вахт — азартного Чернышева, рассудительного Николая Кеда, прирожденного бурильщика Василия Сульдина. И все же он сознавал, что один Трунов сможет спасти взваленную на себя обязанность, с которой осталась бурильщики справились лишь однажды. Только ему одному суметь правильно расставить новичков, угадать их склонности и терпеливо, не особо печальясь о потерянных с юнами метрах, формировать еще одну вахту. Соловьев сам был бурильщиком и знал, как трудно приходилось Василию Ивановичу все эти годы.

Мыслы спасать Трунова из молодежной «по возрасту» показалась Владимиру предательской. У бурильщика сложилась устойчивая репутация «середнячка», а с таким славой они не должны отпускать его из бригады. По сути дела, они сами не давали ему выбраться наверх. С новичками какие рекорды!..

Передавать Смирнова было неразумно. И вовсе не потому, что помощник переложил на себя часть забот самого мастера... Соловьев меньше всего думал о своем спокойствии. Синхрон болезненным был для Анатолия перенад командных высот: от руководителя вахт до помощника мастера. Пусть вначале обретет уверенность, вместе легче избежать малых

ошибок, которые сгоряча наделал бы сам. У Соловьева тоже честолюбие, и оно не позволяло ему оставлять сейчас Смирнова на полдоготе к главному посту буровой.

Мастер остро почувствовал, как необходимо ему сейчас появиться на буровой. И сыграть общий сбор. Вместе они найдут выход из этой нерадостной ситуации. Но бригадные интересы, которые будет отстаивать собрание, должны совпасть с интересами всей экспедиции. Об этом напомнил ему Морозов, об этом же говорил Зверев. Трудно будет вести собрание, занимая эти две крайние позиции, еще труднее прибрести их, сокинуть воедино.

Владимир пришел на вертодром раньше остальных. Механики уже готовили машину к полету. И скрипучие снабженческие хлопоты вытеснили на время все остальные заботы. И только когда они со Зверевым уже стояли в ожидании посадки, Владимир снова замкнулся в себе, однозначно отвечая Дмитрию Степановичу на его вопросы. Словоохотливый Зверев тоже умолк, понимая состояние мастера. Он с удовольствием изложил бы ему свое мнение. Но подсказка хороша для тех, кто не может решить дело сам. А молодых она только блеует, отчаянно думать.

Рубиновый сегмент вращался под брюхом занедвогого вертолета. Экипаж прогревал двигатели. Скоро лететь. Ждали вахту Сульдина, которая возвращалась на буровую после выходных.

Зверев раздраженно поглядывал на часы, но волновался он зря. Буровики минуту спустя вышли из негустого леска, который вплотную подступил к площадке. Было их пятеро, как и полагается вахте. Сульдин, как обычно, бочком, шел в окружении своих четырех помощников. Среди них Соловьев сразу приметил Ненашева, который, по сообщению Василия, должен еще болеть.

Ребята шагали неспешно: за плечами тяжелые рюкзаки. Разгоряченные ходьбой, лица собраны, как у людей, которым предстоит дальняя дорога. Даже в многолодческих пятерках не затерялись бы, так бросаясь в глаза их похожесть, свойственная лишь работающим долгое время бок о бок людям. Зверев откровенно любовался ребятами.

— Браво идут, — одобрительно склонился он к Соловьеву, — одно слово — вахта. Знаешь, какая поговорка у Жумаканова еще с юности есть?

Не обращая внимания на настороженность Владимира при упоминании имени соперника, он почти пропел, подражая южному выговору Нажмитдену Уакасевича.

— Вахта — это монолитный кулак. Монолитный кулак, вот так вот. — Он для наглядности складывал сухонькую ладонь и тут же разжал ее.

Зверев хотел еще что-то сказать, но тут подошли ребята. Сульдин приветствовал Соловьева спокойным, уверенным кивком, скользя на землю тщательно упакованный рюкзак. Он всегда был предусмотрителен и наверняка захватил все на случай долгой задержки. Ненашев, закутанный в шарфом, робко поздоровался с мастером, видимо, опасаясь, что тот начнет расспрашивать о здоровье. Сейчас эта светская тема была опасной для него. Сульдин сам завел разговор о молодом верховом.

— Наотрез отказался дома остаться, говорит, ни что не пойду в чужую вахту. Вы уж, пожалуйста...

— Я же обещал, он будет в твоей вахте, — сказал Владимир. — И ни к чему эта пародия на героям. Выход найдем.

Сульдин отошел, успокоенный: Ненашев остается у него, а за остальных ему волноваться нечего. Все

складывалось как нельзя лучше. Если дастся время чистое бурение, они в эти дни «ранут» на рекорд. Самая крепкая вахта, самая удачливая.

Винты вертолета кромсали воздух. Снежная пыль окутала площадку. Перед тем как взлететь, бортмеханик напомнил Соловьеву, что надо, по инструкции, составить список пассажиров. Мастер понимающе кивнул головой, досстал ручку и на листке из своего блокнота начал выводить стольбом фамилии. Кроме него, со Зверевым летела только вахта Сульдина. Владимир вписал их первыми и, прежде чем вырвать лист из блокнота, рассеянно просмотрел написанное. Что-то сразу задержало его внимание. И вдруг Соловьев понял. Так долго председавшая его бумажка с пятью фамилиями, невзначай написалась здесь, в гудящей машине, словно сама собой.

Бортмеханик жестом потребовал список, но Соловьев даже не заметил этого. Неожиданная мысль захвата мастера. Это была простая и ясная мысль. Как раньше она не приходила в голову?! Хитрый Зверев не зря вспомнил о любимом присловье их соперника. Жумаканов прав. Вахта — монолитный кулак. Замени в пятерке любого, и она падет выбегая из ритма. Нельзя, нельзя им разделять притерты, собранные в кулак смены. Выход только один: передать в новую бригаду одну из своих вахт целиком, не нарушая состава остальных.

От такого решения выигрывает прежде всего новый мастер. Ему достанется не случайная компанийка, которой необходимо время, чтобы притереться, выскользнуть друг с другом, а готовый, уже вполне боеспособный коллектив. Да и собственные потери окажутся не так велики. Прежний пульс молодежи будет проще восстановить, если ослабить не все смены, а лишь одну. Ей они помогут, закрепив за каждым новичком персонального инструктора.

Соловьев передал список бортмеханику. И, пряча блокнот в карман, посмотрел на сидящих против него ребят. Тени от мелькающих за иллюминатором лопастей скользили по их лицам. Утомленные, притихшие, закованые в неказистые кожухи, они были похожи на коккенов, отдыхающих на скамейке в ожидании выхода. Соловьев виновато отвел глаза. «Великолепная пятерка» не подозревала, что скоро ей предстоит «покинуть площадку».

Мастер подумал, каким неожиданным станет это решение для Сульдина, да и для всей бригады. Разве найдется хоть один тренер, который бы настаивал на передаче самой результативной пятерки в команду соперников? Но геологоразведка не азартная игра. У нее совсем другие законы.

Соловьев повернулся. Зверев дремал, уткнувшись в воротник тулупа. А Владимиру так хотелось услышать слова поддержки. Впереди его ждало самое сложное: сделать так, чтобы его выбор стал выбором всей таежной дружиной.



хочу рассказать о людях, которые живут в машинах. Горцы живут в горах, таежники — в тайге, тундровники — в тундре, а как назвать людей, которые живут в гораздо более специфичной среде, в среде искусственного климата, света, ландшафта, звуков, а именно: в замкнутом скопище механизмов, агрегатов, аппаратов, приборов, систем? Всю эту надприродную среду можно было бы обозначить словом «машинерия», таким же емким, как название любой географической зоны. Всякий, кто спускался в многоэтажные недра корабельных машин, соглашается с правомерностью этой аналогии.

«Гомеровская Троя», — заметил один из исследователей машинерии, — со всеми героями пути уместился бы в цехе заготовок среднего по размеру машиностроительного завода. Конвейеры, автозаводы близки длиной к Невскому проспекту. Во внутренне дворцы тракторных заводов можно вставить по три африканских Акрополей бок о бок. Размеры опьяняют, и архитектор, как Саваофт, взирающие сверху на аккуратнейшие макеты производственного комплекса, не в состоянии увидеть ту картину, которая открывается глазам рабочего у станка, мастера в проходе между стакнов».

Но как изобразить ту многосложную картину технического «хаоса», какая открывается несведущему человеку, спускавшемуся в многоярусный лабиринт машинного отделения океанского корабля? Из всех сфер машинерии эта самая, может быть, жестокая, ибо ее внутреннее строение, ее среда созданы отнюдь не для гармоничных отношений человека и машины. Втиснутая в прокрустово ложе корабельного корпуса, она подчинена одной главной цели — обеспечить ход кораблю.

Именно в них, во внедренных глубоко в воду многоярусных стальных лабиринтах, пролегли,

на мой взгляд, наиболее трудные пути людей среди машин.

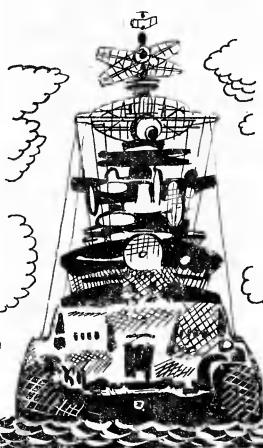
Но самые мощные враждебные силы (сама только мысль о них становится еще одной тяготой) могут противостоять большему числом машинерии военных кораблей. Этим людям приходится ждать неизбежных в бою повреждений и того, что их как-то защищает от искусственных стихий, а значит, и пожаров, взрывов, затоплений. Им вступать в смертельную схватку с разбушевавшимся огнем, паром, водой, сталью, в темноте, а также и на ускользающих из-под ног настилах. Бороться за живучесть корабля и жизнь экипажа. Совершать подвиги, высочайшие по степени благородства и тяжести.

На современных военных кораблях многое сделано для того, чтобы облегчить условия жизни в энергетических отделениях и отсеках, и, естественно, они несравнимы с машинно-котельным адом стародавних много трубных броненосцев. И все-таки служба в электромеханических боевых частях остается самой трудной из всех корабельных служб. Она почетна, ибо жизненно важна для всего экипажа корабля.

1. СОЛЬ НА ПОГОНАХ

Николай ЧЕРКАШИН

человек из машины



Рисунки Ю. ЦИШЕВСКОГО

Корабли стояли у африканского побережья, облитые солнцем до стеклянного блеска. Сигнальщики провожали биноклями верблужий караван. На крейсере была объявлена форма одежды: «Шорты, пилотки, без обуви». В кают-компании голосами цыгане — это трансильваний узел пробовал новую пластинку трио «Ромэн». В котельном отделении новового эшелона шел планово-предупредительный осмотр: в тонках работали люди. Голос вахтенного офицера оборвал романес на полуслове:

— Корабль к походу и бью экстренно приготовить!

Командир котельной группы старший лейтенант-инженер Ато-

яи нехотя вылез из узкого лаза топки. Он еще не верил, что к нему, котельным машинистам, этот приказ относится касьер, и ждал, что динамик вот-вот добавит обычное: «Условно, боезапас не подавать». Но стрелка котельного телеграфа уже перескочила с секундомера «стосы» на цифру «2». Это знали, что пар надо было поднимать не щадя огнеупоров топки — сразу под двумя форсунками, без предварительного разогрева. Из топки вылетали молотки, зубила, рукачи; вьюном выскоцили последний матрос и тоинько толчком вперед на болты крышки лаза.

Подгонять людей было излишне: раз уж экстренно, раз уж под двумя форсунками — заведомо падионос — значит, там, наверху, в дальнем квадрате моря или у самого борта, что-то стряслось, случилось, произошло. Что именно, машинисты узнают об этом последними, а пока надо хоть свалиться у котлов, но дать пар на марку, невзирая ни на какие осмотры.

Чтобы разжечь форсунки, надо под струю распыленного в воздухе мазута подставить факел — клок пакли на длинном, как раки-ра, пруте. Чтобы подожеч факел, нужно зажечь спичку. А в спичке спички имеют обыкновение ломаться независимо от того, что и с какой срочностью нужно поджеч — сигарету ли, бенфордов шнур, свечу или форсунки главных котлов крейсера. Атоян вырывал коробок у горс-кочегара, чиркнул, спрятал хильт огонек в ладонях. Желтый язычок высветил этикетку: «Оберегайте муравьев».

Взмыли воздушные насосы, и ракетными дозами заревели первые две форсунки. Очень скоро к ним подключили еще две и еще две... Атоян сорвал с зажимов трубопроводную трубку-танталю, придавил свободное ухо вторым таким же увесистым наушником — иначе ничего не слышно:

— Пятый котел, как у вас?
— Тяжко...

Он выбрался по шахте экстренного выхода и бросился по жилым коридорам к люку пятого котла. Работы в пятом ящике слишком далеко...

Рослый и потому в машинной тесноте сутулый, старший лейтенант Левон Атоян мало похож на армянина: квадратный подбородок, чуть вздернутый нос; разве что намекнут на национальную присущие брови, карие глаза да кавказский обычай гордиться своим родом. А род у него такой: дед по отцу — пастух с горы Аарат. В восемьдесят семь лет еще кла-

дят внука на лопатки. Дед по матери — староруес Тальнов — был первым советским комендантом Петропавловской крепости. Отец — бывший артиллерист — с terminals закончил войну в Берлине.

...Все котлы носового и кормового эшелонов были пущены в срок, предусмотренные нормативом. Как это удалось, могут рассказать лица Атояна, его машинисты да командир дивизиона движения. Однако их об этом никто не спрашивал. На то они и механики, чтобы обеспечить ход кораблю. Тем более по тревоге. Но я-то видел, чего это стоило...

Я столкнулся в Левоном, когда он направлялся в корму — к люку 7-го котла. Кремовая рубашка испачкана нефтью, синий козырек пилотки в белых солевых разводах, щека в мазуте.

— Давай с нами! — махнул Атоян. Он был похож в эту секунду на комбата со знаменитым фотоснимком. Странное дело! Чем может быть похож армянин в морской тропической форме на украинца в пехотной гимнастёрке сороковых годов? И все-таки похож! Их роднит этот неизвестный командирский взмах, зовущий в атаку. И пусть за Атояном следовали сейчас один лишь мичман Сосе. Все равно они шли в бой — в бой, пылающий им на двоих. Где-то в районе 12-й линии топливной цистерны прорвалась магистраль системы паротушения. Красный «гусак» аварийного вывода шипал пальбу круглым паром. Гремела, расположенная вблизи мазутной цистерны. Температура ее угрожающе росла, то что предстояло сделать Атояну и мичману Сосе, напоминало эпизод из старого фильма «Тайна двух оксанов», где в недрах подводной лодки искали мину с тикающими часовым механизмом. Наша мина была налицо — в ней колыхались тонкие мазута. Надо было лишиь часовок механизма — лопнувший трубопровод, перекрыть его, исправить, не спикя полной боевой скорости крейсера ни на один оборот.

Мы остановились у люка шахты в 5-е котельное отделение. Неожидаясь, когда нижний на скобах достигнет дна, мы ринулись вниз все втроем — друг над другом.

Чем ниже, тем сильнее пышут жаром стекни стального колодца. К тому же шахта засасывает воздух, и вся одежда плотно прилипает к телу. Пальцы вцепляются в скобы; кажется, еще усиление чых-то могучих легких, и тебя засосет, словно муку в поздрю.

Только спустившись на самое дно, замкаешь боковую дверцу. Она ведет в тамбур, темный, как телефонная будка. Тамбур — своего рода шлюзовая камера; она необходима для выравнивания воздушного перепада: в котельном отделении из-за поддува в топки давление несколько выше атмосферного. Дергаю перепускной клапан и выпираю в густой и зыбкий, как желе, жар.

Рев форсунок, слитый с воем вращающихся механизмов, достигал здесь самых пронзительных, истеричных пот — с таким надрывом головы только сирены или дисковые пыли перед тем, как разлететься вдребезги. Я сдавил уши, но стальные пластины настила испустили вой, словно гигантские мембранны, и он вбурувалась в пяты, проникал по костям, заставляя скжиматься. Хотелось немедленно броситься вон — опрометчиво.

К Атояну подскочил мокрый, полуутюговатый человек — старшина котельной команды. Беззвучно шевеля губами, он стоял докладывать.

В глянце облитых потом плеч старшины тусклыми пятнами отражались плафоны — зареченные банки из толстого стекла с упрятанными внутри лампочками. По голой груди плясали багровые отсветы форсуночных факелов. Втроем — Атоян, мичман и старшина — принялись обсуждать план поиска. Я же пошел навстречу струе воздуха чуть менее жаркого и очутился под гофрированной мягкой трубой, отведенной кочегарами от вентилятора. В хаос жаркого ворочего жалеза просунулся добрый, мягкий хобот специально для того, чтобы обдувать людей. Я припал к нему доверчиво: это была единственная здесь понятная мне машина — машина неопасная, предназначенная явно для человека. Правда, воздух из трубы не столько освежал, сколько просто трепал волосы, но и это было приятно.

Сквозь нагромождение конструкций и в переплетении вспомогательных трубопроводов я наконец разглядел сам котел. Его передняя стена взыгрывала высоко вверх и была глухой, плоской, словно фасад паровозного депо. Вся эта громада уходила еще в сумрачную даль котельного отделения, так что в целом сооружение напоминало часть полуокруглого тоннеля с глахими торцами-стенками. Механизмы, подстукивающие к проходу вдоль передней стены котла, теснили людей к самим топкам. Сквозь синие стекла над форсуночными амбразура-

ми видно, как бьют в кирпичную кладку белые огненные струи.

Если бы в храме богу войны Марсу понадобилось поставить алтарь, то никто бы так не пододало, как эта стальная стена, дрожащая от огненного рева.

Турбинами по-прежнему выдавали максимальные обороты. От выбраски и жара с котлов хлопьями отлетала серебристая краска.

Атоян, Соса и старшина все еще жестикулировали, из их разговора я понял одно: повреждение нужно искать руками, опустился проверяя сплетения труб на тепло и холод. Для этого нужно было оставить благородный хобот и лезть к донным цистернам по «шхеру», где нога человекаступала разве что в дни закладки крейсера.

Атоян первым втиснулся в щель между толстенными магистральными, обвитыми крашеной парусиной, и мы оказались в зарослях из труб всевозможнойтолщини: от нехватающих паропроводов до тонких медных змеевиков. Витки и колена их, пронизавшие и огибавшие глыбы агрегатов, мелко дрожали от напора мазута, воды, пара, масла, воздуха.

Новичок в джуугах чаще всего хватается за ветки с щадящими колючками, и я тоже, пробираясь, протискиваясь, пролезал, то и дело хваталась не за те трубы, обжигая пальцы. Жар сущин рот и легкие. Сухие ветки мешали мигать, царяли глаза.

На развалине магистралей под нависшим картером рефрижераторной установки мы присели погреться дух. Рядом трясясь центробежный насос. Директоры венчиков вентиляторов торчали на штиках, словно цветы на стебельках. Они обступали нас со всех сторон, как ромашки на скалах. Атоян знал название и назначение каждого из них. Знал эту железнную ботанику наизусть, либо поворот любого вентиля мог изменить в трубах токи жидкостей и газов, мог скаться на мнощим стремлением, пробралась вперед.

Мы сидели, скорчившись, как спелеологии под угрожающе наисущими глыбами. Нет большего рода страха, чем то, которое охватывает людей, переживающих минуты общепод опасности. Оно может исчезнуть вместе с опасностью, но след от него останется на долие годы.

Мог ли я подумать тогда там, в темной, жаркой котельной шхере, в клубке горячих напряженных труб, что однажды мы окажемся с Атояном в просторной, прохладной гостиной его сухумского дома, за старинным разным столом и я увижу то, что, быть

может, мельком прополосклось перед ним в самые тяжкие минуты нашего пути: заливший цементом дворик, мандариновый сад, круговые ступени, ведущие в верхнюю половину дома, стеклянную ручку в медной оправе на входной двери...

Что заставило этого южного парня сменить вечную зелень тропиков под вечными снегами горных вершин на железные джунгли котельных систем? В комнате его бабушки висит портрет серебряного мальчика в матрёшском костюмчике. Из окна отцовского дома сквозь короны эвкалиптов виден глубокий горизонт. Море? Но здесь, в котельной, под броневой палубой им и не пахнет!

Бабушка, смеясь, рассказывала, как Левон провел в кухне селекционную связь и каждое утро воровал из своей комнаты: «Ну, чем ты сегодня меня травить будешь?» Бабушка ужасно пугалась этих всегда неожиданных возгласов из стены.

В сухумский эфир Атоян выходит со звучным позывным самодельной радиостанции — «Алабама». Может, любовь к технике заставила спуститься его в преисподнюю крейсерской? Но почему тогда факультет паросиловых установок, а не радиоэлектроники?

Об бабушки же я узнал, что пропадал Левон не в порту, где швартовалась под пальмами белоснежные лайнеры, а в депо, где доживали свой век на запасных путях маневровые паровозы.

Паровозы. Кто из них не заморгал в малычишеское, подходя к их огромным, в рост человека, краснобоким колесам? Не приставалась на цыпочки, стараясь заглянуть в будку машиниста, где в таинственном сумраке плясали на медных кранах горячие багровые блинки? Кто мог оторвать так просто взгляд от сверкающего шатуна, сносящего в самых колес с человеческой ловкостью? А как они умели вздыхать и отдуваться, эти черные теплые мастодонты! Как оживали их протяженные дорожные волны самые безлюдные места! И каким торжественным хоральным гласом предваряли они тогдашние разлуки и встречи...

...Трубы, трубы, трубы — крашеные, обмотанные, обмазанные, горячие, холодающие, гудящие от напора и дрожащие от вакуума, они вздыхали горичком, змеялись над головами, уходили под ноги, ветвились по сторонам. Трубопроводам каждой из корабельных систем присвоен свой цвет. Я видел атлас маркировки труб в каютете Атояна. Семи цветов спектра явно не хватало, и многие системы

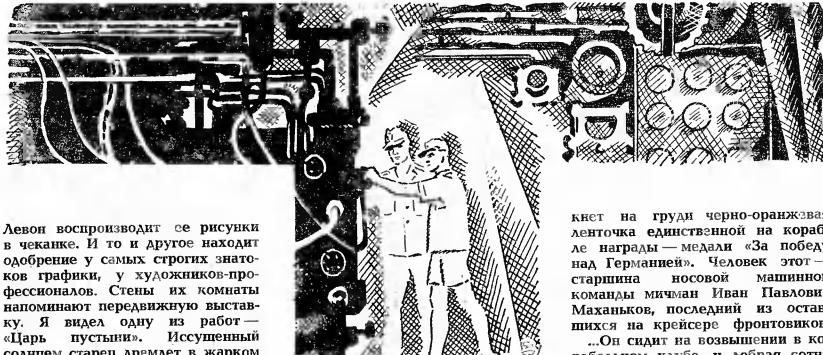
метались двухцветными, а то и трехцветными полосками. Атоян знал наизусть эту триумную азбуку.

Шхера становилась все теснее и беззмяннее. Со стволов труб исчезли даже цветные метки, не говоря уж о каких-либо поручнях или пластиках, и это наводило на мысль, что присутствие человека в столь глубинных недрах машины никак не предусматривалось. Сюда не проникали бы даже тусклый свет котельных лафетов. Атоян включил фонарик: в прыгающем луче втуро пыхеры стало еще более зловещими. Шинийцкий вой и тряская колотня механизмов отдавались в полупустых цистернах и коффердамах стократно. Зыбкий от жара воздух не выдыхался, а проглатывался, как желе. Пот вскипал в порах. При малейшем усилии в глазах пыли раздражные петушиные хвости, застилая согбенные спины Атояна и Сосы. Куда они леют? Да отсюда и без того уже не выбраться! И все же я пробирался вперед за Атояном и Сосой — без них мне просто не выбраться из этих катакомб.

Мы вышли к той самой мазутной цистерне, которая перегорела. Я отдернул от ее стекни ладонь. Атоян хмурился. Пролезли еще немножко вперед вправо. Луч высыпал крышукою коффердама — глухого коридора, разъединяющего цистерны. Оттуда изнутри нужно было пронуть магистраль системы паротушения, чтобы определить хотя бы район поиска пропавшей.

Атоян с Сосой отдалили лаз в коффердам. Мичман в термическом костюме влез в него по пояс, затем по грудь. Левон, задрав голову, опустился в полуутягие тройной ряд клапанов. Мне вдруг захотелось, чтобы Атояна увидела сейчас жена, либо с перекошенным лицом, «оскаленной от напряжения зубами, истекающей потом, он был красивей той редкой мужской красотой, которая нисходит на человека в труднейшие минуты противоборства — со стихией ли, с мыслью, с врагом — все равно».

Жена Левона Людмила — аспирантка консерватории. Она живет в мире благородных созвучий, куда не прорываются даже отголоски тех визжаких какофоний, которые ежедневно по много часов кряду высукивает ее муж. Мир звучит для них немыслимо разно. Однако в своих отношениях им удалось добиться, как говорят механики, «сровненного горения». Тут своего рода компенсация. Раз уж не удается слушать мир одинаково, значит, нужно видеть его одинакими глазами. Людмила рисует.



Левон воспроизводит се рисунки в чеканке. И то и другое находит одобрение у самых строгих знатоков графики, у художников-профессионалов. Стены их комнаты напоминают передвижную выставку. Я видел одну из работ — «Царь пустыни». Иисусеный солдат старец дремлет в жарком мареве. Лицо его расстрескается, как такир. При взгляде на этого демона зноя и жажды персыхают в горле.

Призрак старца в мареве разогретого железа дрожал сейчас над командиром котельной группы. Атоян вдруг закрыл ладонью нос. Сквозь склады пальмы просочились алье капли.

Пройдет время, и я увижу, как Левон еще раз прискроется, вот так же ладонью и сквозь пальцы у него брызнут почти такие же красивые струйки. Это случится тогда, когда младший брат — едва Левон отхлебнет вина из турьего рога — смешно сопрят и тот прыснет красным вином. За старины резным столом под ковром во всю стену будет сидеть Левон с Людмилой, мама, бабушка Мария и дедушка Каржек. Чуть позже придет с голубиной охоты отец — Грант Карсекович — такой же рослый и густобрюхий, как и все в роду Атоянов. Он скинет охотничий плащ, зайдет в каюту, расстегнет пантонты, не спеша присядет за стол, на котором давно уже ломти суглушки, вткнутые в горячую мамальгу, испускают в кану прозрачные слезы и лаваш с отрыгнувшей румяной корочкой давно уже готов хрустнуть в сильных пальцах.

И тамада, подняв княжеский, изукрашенный серебром рог, скажет все, что он умеет о достославном Гранте, его отце, и прадеде, и двух его сыновьях. И грянет шир! И забрызжет на зубах сочной зелени, и печеная кабанина будет ложиться на языки с одним вкусом, а уходить с другим, меняя оттенки, как звезды — цвета, когда мерцают. И пот наполнятся горячим благоуханием абхазских приправ. От адюкки и сацави десны «хватают прянный пламень», от которого в

ущах сама собой зазвучит задорная скакующая музыка, а из обожженной терпкими ароматами глотки вырвется взвужденная душа вместе с зажигательной охотничьей песней:

— Ха-ра-ура-ура-ура-а-а!

Свесится из узких кувшинных горь трепетные красные языки вина. И гости будут опрокидывать рога, упираясь их остриями в расписанной потолок. А потом тамада в который раз наполнит свой аршинный в три витка рог и провозгласит: «За тех, кто в маре!» А Левон Атоян добавит: «За тех, кто в машинках!»

...Кровь хлынула носом от теплового удара. К бурям пятнам нефти на кремовую офицерскую рубашку прибавились ярко-алые.

Командир котельной группы вылез из щели только тогда, когда золоподиный свинь был найден и матросы приступили к ремонту. За это время крейсер, не сбавляя хода, прошел всего несколько миль. Но мили котельной вахты гмемят особого измерение.

Атоян вылил на голову чайник холодного конденсата. Звездочки на погонах, набрасывая нефтью и потом, проступали, как кристаллички крупинки соли.

Матрос-машинист подал второй чайник. Мы цили холодный конденсат медленно и со вкусом, как пьют на родине Атояна кроветворное красное вино.

2. МАШИННАЯ ПАСТОРАЛЬ

Если пробежаться глазами по одренским планкам, когда весь экипаж североморского крейсера «Александр Невский» застынет в парадном строю, то только у одного человека мель-

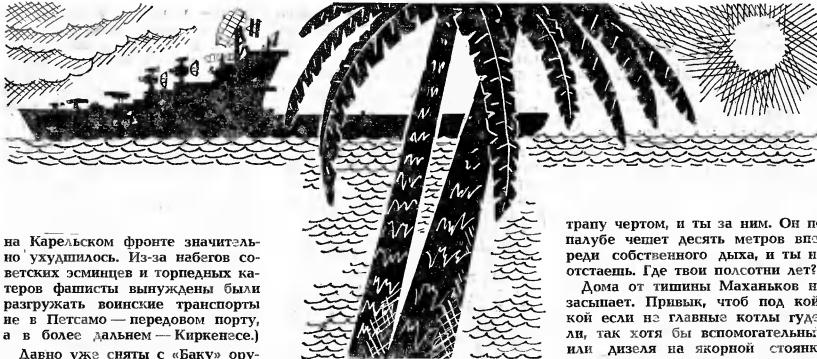
кнет на груди черно-оранжевая ленточка единственной на корабле награды — медали «За победу над Германией». Человек этот — старшина носовой машинной команды мичман Иван Павлович Маханьков, последний из оставшихся на крейсере фронтовиков.

...Он сидит на возвышении в рабочем клубе, и добрая сотня молодых матросов во все глаза изучает его «кононостас». Вот сейчас самый бойкий поднимется и спросит: «Товарищ мичман, а за что вы получали медаль Нахимова?» Так и есть, вси встают из второго ряда, чеширский матрос с наивной комендатора на руках.

— Товарищ мичман, а за что вы получали медаль Нахимова?

В который раз приходится Маханькову начинать эту историю. И каждый раз недоволен он своим рассказом: подогну думает над фразой, щелкает пальцами, высказывая нужные слова, и все время получается рапорт вместо рассказа.

— 20 января 1943 года наша разведка обнаружила бражский конвой в районе мыса Нордкап. (Тут бы для пущей вложности звернуть, что это почти самая северная точка Европы!) Для его уничтожения вышел лидер «Баку» под флагом командира бригады капитана I ранга Колчина и эсминец «Разумный». (Тут бы к месту собщить, что он, мичман Маханьков, тогда еще старшина 2-й статьи, всю войну на этом самом знаменитом лидере «Баку» и проходил.) Поиск конвой осуществлялся при малой видимости. (Тут бы полезно восхлипнуть: «Что может быть хуже ночного тумана в норвежском фьорде?») Однако в полночь впередсмотрящие с «Баку» обнаружили силуэты бражских судов. (Немецкие капитаны — стоило бы здесь сказать, — прижали запрашивали светом «Кто такие?») Вместо ответа лидер громыхнул артиллерийским залпом и выпустил торпеду. Маханьков стоял замковым у кормового орудия! После недолгого боя один транспорт был потоплен, другой сильно поврежден. (А снабжение егерских дивизий



на Карельском фронте значительно ухудшилось. Из-за набегов советских эсминцев и торпедных катеров фашисты вынуждены были разгружать воинские транспорты не в Петсамо — передовом порту, а в более дальнем — Киркенесе.

Давно уже сняты с «Баку» орудия и торпедные аппараты. А вот Маханьков все еще в строю, хотя если подсчитать его высоту вместе с фронтовыми и полярными мильгами, то получится странное дело: на флотскую службу его зачислили сразу, как только Маханьков родился. Но это лишь в старины младенцев аугустейших фамилий присыпывали к гвардейским подкам. А Маханьков родился, во-первых, при Советской власти, во-вторых, в глухой курской Алеревщке, отдаленной от ближайшего моря на тысячи верст.

Иногда Маханькову впрямь кажется, что на свет он произведен не из под пение курских соловьев, а где-нибудь в стальной выгородке за главным турбозубчатым агрегатом. Штукту ли, жить в машине с 1939 года? А что? Живут же люди все свои семьдесят лет в лесу, и знают они в нем каждую тропинку, каждый куст, каждого зайца. Главная машина крейсера — тот же лес, только железный, первенствующий трубопроводами, как линами. И жарко здесь, как в тропиках, и ветры горячие гуляют. И все эти насосы, вентиляторы, эжекторы, дезаэраторы, словно разные звери, каждый из которых — урчит, рокочет, гулит. Сильнее всех турбины, конечно. Маханьков посчитал с собой «слухача» — длинный медный стержень с плоской напильником. Он приставляет его к кожуху какого-либо агрегата, прикладывает ухо к нащупленной и таким образом из общего машинного хора прослушивает нужный ему голос. Вот буйстерный турбонасос визливо требует себя масла. Вот масляный сепаратор ровным гудом сообщает, что новый подшипник пришелся ему впору...

Перелезая через обшитые парусиной трубы паровых магистра-

лей, как через стволы поваленных деревьев, пригibaясь под нависшими картерами дизель-генераторов, мичман пробирается к входу в вахтоловод, откуда начинается линия главного вала. Вслед за ним, опасливо втянув голову в плечи, поспевает молодой матрос Неволин. В белой робе с инструментальной сумкой на боку он похож на подпаска, которого старый пастух учит слушать, как бушуют скоты в березовых стволах. Но суро-ва и сложна машинальная пастораль, и поясняет Маханьков что к чему в этом маслянистом мире дрожащего разогретого железа. —

Остались Иван Павлович после войны в родной деревне, и точно — водить бы ему сейчас ребят по курским перелескам.

Был он недавно на родине. Встретился с годками — слесарями местного кирпичного завода, с которыми рабочую жизнь начинил. За столом пошли разговоры, кто как за столько лет преуспел — у одного подсобное хозяйство с племенными хряками, у другого «Жигули» — универсал, а Маханьков нарядную тужурку одернул и стал про главную машину крейсера рассказывать, какая она огромная, и сколько людей у него в подчинении ходят, и какие страны видел...

— Да, Иван, привозил ты нас, — от души признали дружки. За это и выпили. И хотя были у Маханькова планы присмотреть подходящую избенку, — махнул рукой, улетел на Север и подписал мичманский контракт на новый последний срок.

— Захирею я на берегу, — опправдывался он перед женой. — На корабле, как тревогу сигнают, все бегут, и я со всеми. Матрос по

трапу чертом, и ты за ним. Он на палубе чешет десять метров впереди собственного дыха, и ты не отсташь. Где твой посолоти лет?..

Дома от тишины Маханьков не засыпает. Привык, чтобы под койкой если не главные котлы гудели, так хотя бы вспомогательный или дизель на якорной стоянке клахтали, что электростанцию пытают.

— Давай я тебе пылесос включу, — сердиты жена, и не может она в свой бабий ум взять, что на крейсере тишины никогда не бывает: раз все стихло — значит, авария, вниз бежать надо.

...Маханьков сейчас человек свободный, вахту только что отстоял, и потому, закутавшись в теплее, он выбирался изверх полюбоваться нечестным зреющим: самым полным ходом крейсером.

Встречный ветер так силен, что с трапа можно спуститься, наклонясь вперед и не держась за по ручки. Он наудаивает брезентовые чехлы, и от этого все зачехленные предметы на палубе становятся тремпетно-округлыми.

Маханьков осторожно пробирается из ют, прихватываясь в особо сильные порывы за леер. Никогда в жизни он еще не видел, чтобы ленивая, сонная морская вода обтекала борта с быстротой горной стremенины.

При поворотах крейсера море выплывает из-под борта, пригложение, ровиньконое, как асфальт после катка.

Корма просела, и Маханьков стиск как бы в водяной котловине: мощный бурун выметывается выше головы, да что головы — выше кормовой орудийной башни! Мичман слизывает запекшуюся в уголках губ соль.

Вот оно, его дело! — заставить эдакую-то гору железа нестись по океану со скоростью курьерского поезда. Маханьков смотрит на дело рук своих долго и не мигая, точь-в-точку, как когда-то бата на испаханном поле. Да, он оставил землю отцов, ее засекут братия и сыны. Ему же выпало оправдывать Север вот этой белой, непрступ-

вой для врагов бородой. Ради того, чтобы тянулась она за крейсером беспрерывно, и прожил он большую часть своей жизни в железнном лесу главной корабельной машины.

3. СРОЧНЫЙ РЕМОНТ

В счера на Средиземном море такие, что луна и солнце смотрят друг на друга бывший час, прежде чем оранжевый шар уходит за голубым горизонтом.

Небо сплошь в метеорных прорехах. Падающие звезды того и гляди прожекторы экрана, вывешенного на вертолетной палубе.

Зрители нетерпеливы. Фильм начался засветло, и теперь изображенное на полотне простирается в сумерках постепенно, как на фотографии.

В самом волнующем месте, когда герой и героиня после долгих недоразумений протянули наконец друг другу руки, на экране легла черная тень рассказывого:

— Старшему лейтенанту Пашкину срочно прибыть в машинное отделение!

Королевский офицер с инженерными эмблемами на погонах тихо помянул чью-то бабушку, нахмурившись тропическую пилотку с огромными козырьками, выбралась из тесных рядов и легкота роскоши скрылся за экраном.

«Границы машинного отделения не просматриваются ни вниз, ни вверх, ни в одну из сторон, а потому рождается гнетущее чувство лабиринта, простирающегося во всех направлениях. Множество машин втиснуто в стальное ущелье корабельных бортов, соединено между собой валами, тягами, передачами, сплетено тросопроводами и кабелями в гигантский организм. Даже глазу специалиста невозможно вычленить из «хаоса» механизмов нечто единое и цельное, ибо связи между агрегатами подчинены той технологической целесообразности, которая не имеет ничего общего с нашими понятиями о порядке и гармонии.

Год от года на корабли приходит новая техника. Неизменные объемы машинных и котельных помещений заполняются новыми агрегатами. Их пронизывают трубы новых систем. Однако присутствие человека в технологическом пространстве машин по-прежнему необходимо.

«Производственное пространство», — отмечают психологи, — проектируется сегодня в логике машины, в масштабе рабочей связи машин с машинами. Человек ока-

зывается здесь зрительно лишним. Он может этого не сознавать — приспособляемость велика и снисходительна, — но он не может не ощущать утомления, подавленности, раздражения, объединенных в одно слово «стресс».

Если в цеху и можно организовать производственное пространство так, чтобы его картина радовала человеческий глаз, то в условиях военного корабля, габариты которого в интересах меньшей уязвимости сведены к минимуму, уютный интерьер машинно-котельных отделений — пока, роскошь.

Даже в самой напряженной работе человеческий глаз через каждые полминуты устраивает себе «передышку» — взгляд воине рабочего поля. Отдых невозможен без смены впечатлений. Но взгляду в машинном или котельном отделении некуда высоколичнуть — всюду один и те же трубы, вентили, кожухи, рифленые плиты настила, стеклянные банки плафонов. «Отдых невозможен, если не можешь что-то изменить в окружении: отвинтить кресло, задернуть занавеску, закрыть дверь...» — уверяют специалисты по инженерной психологии. Здесь же рычаги управления, менять которые не рекомендуется, общий свет, который не прибавишь, не убавишь, вентилятор в стороне, не ты его регулируешь, синяя, плююю соседа, от которых нечем отгородиться на секунду... Сколько бы мы ни знали, что за внешним хаосом скрыта технологическая система, ощущение хаотичности не проходит. Никто сегодня не может сказать, сколько жизненной энергии тратится только на преодоление чувства хаоса, подступающего вплотную к рабочему месту.

В дальнем закоулке машинной шахты, там, куда не достигают вентиляторные струи, стояли люди. Подавшись вперед, они наступали на приподнятою на цепях глыбу одного из узлов валопроводного механизма. С гаечными ключами в кулаках они были похожи на охотников, встречающих вставшего на дыбы медведя. Потом все трое они налегли на длинный рычаг ключа, и я увидел светлоусый татарский профиль Пашкина, за ним худой лицомандира дивизиона движения капитан-лейтенанта Шальцкана и мичмана Ародзюка. Это о них до самого отбоя говорил весь корабль. Это им предстояло исправить поломку.

Они уложили глыбу редуктора на поймы — так врачи из «нондошки» делали однажды открытий массаж сердца прямо на тро-

туаре — и начали вскрытие при свете зарешеченной переноски.

С этой минуты все трое и в самом деле стали похожи на хирургов, эдаких добрых старых конвалов, скрутивших и уложивших на бок большого быка. Да и чем сейчас набор гаечных ключей не операционный инструментарий? Смазочный шприц тот же инъектор; вместо тампонов — ветоши... Масло — темная машинная кровь — залпами рифленым настил, заструялся по локтям орудующих во внутренностях механизма рук.

Главная трудность была в том, что никто из них никогда не вскрывал этот механизм. Они сошлись накоротке, как ловчее пробраться к поломанной детали и как удобнее ее снять. Но каждые снятые крышки, фланцы, кожух отрывали новые сознания туту приладженных, лоснящихся шестерен, червяков, валов, подшипников. Они разызывали этот узел, останавливаясь лишь затем, чтобы наметить новый, кратчайший путь к сломанным детали. Едва бы в этот момент заснять их лицо крупным планом и показать потом зрителям, то одни бы репинили, что это физики, виновавшие в новое явление природы, другие увидели бы летчиков-испытателей, выводящих самолет из штопора. Штурман усмотрел бы в их напряженных раздумьях свой труд — проложил кратчайший путь в заданную точку. Все было на этих лицах: и риск, и азарт, и сомнение, и торжество маленьких побед... Мне вдруг захотелось все просить и тоже открычивать вместе с ними гайки величиной с блюдце, вращать, выбивать, отсекать, вскрывать, проникать! Проникать — вот оно то слово! Они именно проникали, они шли в неизменном, и что из того, что «неизменное» на сей раз было не таинственной троупой, не взлетной полосой, а тесным, оскаризным от масла трактом, уходящим в глубь механизма. Постробой опиши Пашкин свои действия, и этот документ читался бы с не меньшим волением, чем отчет спелеолога, нейрохирурга, водолаза: «...снял... прошел... проник...»

...Тот сломанный латунный зубец, изъятый механизмами из-под сепаратора опорного подшипника, хранился теперь в каютке командира дивизиона движения на бархатной подушечке рядом с лакированным акульим зубом. Будет что вспомнить в тихих гаванях.

акануне 250-летия Академии наук СССР ряду крупных ученых была разослана анкета. В числе многих вопросов содержалась в нем и такая: «Какие области науки, по Вашему мнению, будут ведущими в начале третьего тысячелетия?»

Ученые назвали термоядерную энергетику, биологию, кибернетику, генную инженерию, океанологию... и почти во всех ответах — астрофизику. Энгельгардт, Амбарцумян, Браховских, Глумков и другие академики считают, что в будущем широкое развитие получат астрофизические исследования, нацеленные на познание законов Вселенной, ее эволюции, ее судьбы.

Наверное, в этом есть своя закономерность. Она следствие новых возможностей, желания полнее их реализовать. В ответах подчеркнута значимость одной из наиболее фундаментальных наук, ее огромная роль, ее плодотворное влияние на развитие других областей знания. И это весьма характерно. На ХХV съезде КПСС, определившем основные направления всего нашего дальнейшего движения вперед, было прямо сказано, что «полигоновый поток научно-технического прогресса иссякнет, если его не будут постоянно питать фундаментальные исследования».

Короткая августовская ночь подходила к концу. В Муллардской обсерватории, построенной месяц назад студентами Кембриджа, аспирантка профессора А. Хьюиша Жаклин Белл небрежно просматривала записи регистрационного устройства. Безмакиянность ее лица свидетельствовала о желании поскорее завершить дежурство и уйти домой, тем более что завтра начинался отпуск.

Нынешняя ночь показалась ей на редкость длинной. Было холодно. Регистрирующее устройство писало всяющую чушь. Ну хотя бы вот эта запись. Разве в космосе могут быть источники радиоизлучения с таким быстрым мерцанием? Да еще прерывистым?

Вдруг Жаклин побледнела. Не может быть! Нет, это просто невозможно! Она торопливо начала просматривать ленты сначала. Запись была четкой и стройной. Телескоп принял ярко выраженный сигнал из глубин Вселенной. Сигнал прерывистый, строго организованный! Его могли послать только... Нет, нет! Ерунда. Приборы записали обычные, земные по-



Вадим
ГОРЕЛОВ

ОТЗОВИСЬ, АЭЛИТА!

Рисунки
И. ОФФЕНГЕНДЕНА



мехи, ничего общего с космосом не имеющие.

Утром шеф твердо сказал сотрудникам: «У Жаклин слишком богатое воображение. Наш радиотелескоп так чувствителен, что ему ничего не стоит записать помехи от замыкания в проходящем мимо автомобиль. Пусть отыщет спокойно. Но об этом пока не следует рассказывать. Никому».

Жаклин уехала.

Регистрационные ленты лежали на столе Хьюиша. Профессор не прикасался к ним. Он сразу увидел, что они хранят следы какого-то стройного излучения — столь стройного и достаточно похожего на разумную информацию, что об этом было страшно думать.

В сентябре сигнал удалось записать еще шесть раз. Профессор и его аспирантка поняли, что некое небесное тело посыпает во Вселенную радиоволны, работая в совершенном, необычном, ни разу до того не наблюдавшемся режиме. Радиотелескоп обсерватории близ Кембриджа регулярно фиксировал «позвыки» из одной и той же точки пространства. Причем импульсы чередовались с парящими точкой точной периодичностью.

Тщательные измерения показали, что сигнал из космоса достигает Земли, чередуя всплески через раз одну и 3373 десятичных секунды. Результат никак не укладывался в рамки существовавших представлений. Жаклин нервничала. Но Хьюиши не торопился с выводами.

Предположение о космическом корабле пришло отнести: координаты непонятной «радиостанции» оставались все время неизменными. Обнаружить какое-либо осмысленное чередование всплесков и пауз тоже не удалось. Похоже было, что где-то на окраине галактики кем-то оставленный радиомаяк указывал дорогу какому-то неизвестному страннику.

Астрономы уже несколько десятилетий изучают радиоволны, излучаемые многочисленными звездами и звездными системами. Работа эта долгая, сложная и кропотливая. Приходится испытывать сотни километров пленки, на которой кривые, напоминающие монотонность горного рельефа, словно сфинксы, хранят космические тайны. И вдруг... космическое тело регулярно посыпает сигнал с периодичностью, которой могут позавидовать лучшие земные радиостанции. Есть от чего прийти в недоумение.



Источник с необычными физическими свойствами был назван пульсаром — пульсирующее радиоизлучение. Профессор Хьюин попросил всех своих сотрудников об открытии никому не говорить.

Начались проверочные наблюдения, затянувшиеся на полгода. Исследование вся обработка материалов велись в строгом секрете. Даже наиболее близкие соседи по старинному университетскому Кембриджу — астрономы и радиофизики — ничего об этом не знали. Под упорным воздействием молодых сотрудников Хьюин стал считать, что обнаруженные сигналы есть некое инженерное явление внеземной цивилизации. Ее обитателей окрестили в лаборатории «зелеными человечками».

Наконец, 24 февраля 1968 года в английском журнале «Природа» была опубликована статья. Она вызвала сенсацию, которая мгновенно облетела весь мир. Французские информационные агентства прервали передачи и «молчанием» распространяли сообщение о сигналах, принимаемых Муллардской радиоастрономической обсерваторией, а также комментарий научного обозревателя. Из комментария следовало, что немедленно необходимо ответить на зов людей иной цивилизации. Вечерний выпуск «Нью-Йорк таймс» украшали аншлаги «Зов братьев по разуму», «Англичане Бел и Хьюин беседуют с зелеными человечками», «Последние известия» Всесоюзного радио спокойно пропионтировали об открытии неизвестного ранее источника пульсирующего радиоизлучения, высказав предположение о его естественном происхождении и возможности получить при тщательном изучении новые сведения о сложных процессах, происходящих во Вселенной.

Разумеется, астрофизики сразу же настроили свои радиотелескопы на обозначенную частоту, нацелив их на загадочную точку звездного неба. Данные англичан подтвердились. Вскоре были обнаружены новые пульсары. Ученые обсерватории Физического института Академии наук СССР в Пущине под Москвой открыли источник радиоизлучения с периодом повторения импульсов в одну и девять сотых секунды. Сейчас пульсары известно довольно много. Одни из них мигают через каждые 0,25 секунды. Гипотеза о разумных существах, ищущих себе подобных, уступила место более трезвым взглядам, которые уже не оставляют места романтическим «зеленым человечкам». Тем не менее само открытие имело огромное значение, и впоследствии за него Хьюину была присуждена Нобелевская премия.

Первое обстоятельство, на которое хотелось бы в связи с этим открытием обратить внимание, — повторяемость вспышек пульсара: монотонна, сигналы, досягающие Земли, абсолютно однообразны. Значит, никакой разумной информации они не содержат. Второе, но не менее важное, — мощность излучения пре-восходит любые мыслимые по земным масштабам границы. Во вспышке она во много раз больше мощности Солнца. И, значит, ни о каком радиомаяке не может быть и речи. Предположение о некоем инженерном проявлении внеземной цивилизации отпадает.

Но тогда что же это?

Предварительные теоретические расчеты дали основание предположить, что пульсирующее радиоизлучение могло бы исходить от так называемых белых карликов. Это небольшие, удающие звезды, которые отличаются от других объектов Вселенной очень высокой плотностью. Нанессток вещества с белого карлика весил бы на Земле более десяти тысяч тонн. Гипотетическая модель интересующего нас процесса в упрощенном виде выглядит примерно так: все тело звезды сокращают колебания, от которых она то сжимается, то расширяется, что и является причиной прерывистых излучений, принимаемых нашими радиотелескопами.

Потом более детальное рассмотрение проблемы прородило гипотезу, в основе которой лежало утверждение, что пульсар — это нейтронная звезда с гигантским протуберанцем. Возможность существования космических объектов, состоящих только из нейтронов, была высказана несколько десятилетий назад советским академиком А. Д. Ландау и американским физиком В. Бааде. В чем суть этого явления?

Не вызывает сомнений тот факт, что все сущее во Вселенной образуется по законам физики из материи, которая вечна в пространстве и проявляется себя в самых разнообразных формах. Как сказал Анатолий Франс, «небеса, сгущавшиеся незыблемы, не знают ничего венчего, кроме вечной смены вещей». Вероятно, можно зафиксировать три состояния всякой звезды — рождение, жизнь и смерть. Как это происходит, сказать с полной достоверностью сегодня никто не дано. Можно лишь строить предположения, более или менее близкие к истине. Звезда рождается, живет определенное время — сейчас для нас неважно сколько — и умирает. Как бы ни была велика в сравнении с нашей ее жизнь, все равно смерть приходит к ней, где бы в холодных безднах пространства она ни существовала.

Так вот, согласно теории академика Я. Б. Зельдовича и его близких помощников, нейтронная звезда — это одна из заключительных стадий жизни космического тела, масса которого в несколько раз больше, чем у нашего Солнца. Расчеты показывают: такие звезды (после того, как из их недр прогорят «стремяндерные топки» и вместе с этим исчезнет сила, противостоящая гигантскому тяготению, создаваемому огромной массой) начинают сжиматься под действием этого самого, теперь ничем не управляемого тяготения.

Явление назвали «гравитационный коллапс» — катастрофическое сжатие. Иллюстрируя его, академик Зельдович как-то сказал, что при коллапсе наблюдатель на поверхности звезды за несколько секунд пропадает до самого центра.

При столь сильном сжатии (словами невозможно выразить то, что там происходит, поскольку человечку негде наблюдать подобные явления) свободные электроны вдавливаются в ядра атомов водорода, превращая их в нейтроны. Вещество мгновенно уплотняется. Оно становится чудовищно тяжелым: в каждом кубическом сантиметре до ста миллионов тонн.

Так образуется нейтронная звезда. Она быстро вращается вокруг своей оси: один оборот не более чем за четыре секунды. И если на ее поверхности есть протуберанец, «горячее пятно», то умирающая звезда напоминает о себе будоражащим нас радиоизлучением. Отсюда — от вращения — строгая периодичность повторяемости импульсов пульсара. Точность следования сигналов достигает одной десятимиллионной доли секунды. Не исключено, что в будущем астронавигаторы станут сверять по этим радиомаякам ход часов своих звездолетов.

Вообще гипотез по поводу пульсаров хватает. Но пока ни одна из них не объясняет всей совокупности



наблюдаемого явления. В столкновении точек зрения, так сказать, выкапывается истина. И естественно, все теоретические распри ученых лежат в области специфических физических проблем. Для понимания их глубины малоатом и университетского физико-математического образования. Ясно одно: мы еще не много знаем о космосе, бесконечные дали которого таят множество странных по нашим земным меркам, по вполне естественным объектов. Конечно, вполне естественных. Хотя, если по совести, то очень хочется, чтобы и искусственных тоже.

Человек не может поверить в свое одиночество. Мысль о себе подобных в иных мирах давно посещает наши умы. Английский астроном Б. Гершель так жаждал этого, что считал обитаемым и Солнце. В обитаемость космоса искренне верили Ломоносов и Вольтер, Кант и Бергерак, Гюйгенс и Лаплас. Да что говорить: легенда о космических пришельцах существует на Земле со времен Адама.

В просторах галактики не менее полумиллиарда планет, по некоторым прогнозам, весьма похожих на нашу. Это не так много. Прогноз достаточно скромен, если учесть, что вокруг большинства звезд существуют системы, аналогичные Солнечной.

Современные методы позволяют подсчитать, что до ближайшей к нам планеты, похожей на Землю, не более пятнадцати световых лет. Так измеряют расстояния астрофизики. Световой год — это пространство, преодолеваемое за 365 дней при движении со скоростью света. На понятном всем языке это — 10 000 миллиардов километров.

Ученые пользуются также единицей измерения, называемой парsec, — 3,26 световых года. Это — расстояние, с которого радиус земной орбиты виден под углом в одну секунду дуги. Ближе, чем на один парsec от Солнечной системы, звезд нет. До самой ближайкой к нам Проксимы Центавры — почти полтора парсека. Это очень далеко. По земным масштабам, конечно. А по космическим — рукой подать.

Если вокруг Земли описать шар радиусом в 50 световых лет, то падет примерно с такими же условиями, в которых живем мы, в нем окажется не менее двадцати. И на каждой из них возможны заводы и телескопы, зоопарки и космодромы. Право на столь оптимистичный прогноз нам дают последние достижения науки.

Уже несколько лет в лабораториях ведутся эксперименты, показывающие, что при определенных условиях превращение неживой материи в живую неизбежно. Ученые моделируют процессы, происходившие в Мировом океане сотни миллионов лет назад, и со все большей уверенностью говорят, что реакции, в результате которых получились вещества, необходимые для зарождения жизни, протекали не по воле слепого случая, а исходя из вполне статистически оправданных закономерностей.

Первая попытка смоделировать то, что происходит на Земле в доисторические времена, когда ничего живого на планете не существовало, была предпринята в небольшой колбе с введенными сквозь толстое стекло электродами для имитации грозовых раз-

ядов. Эксперимент, стимулированный работами академика А. И. Опарина, удался. Бескислородную атмосферу из аммиака, водорода и метана, воду океанов, на которые обрушивалось испепеляющее ультрафиолетовое излучение Солнца, небольшие участки суши, заливаемые расплавленной магмой, и молнии бесконечных электрических разрядов — всю эту адскую машину реконструировали в стеклянной колбе диаметром двадцать сантиметров. И в этом немыслимом для жизни бульоне из буяющих паров, ядовитых газов и беспузырько го электричества «начало возникло нечто желтое». Невероятно. Сверхъестественно в своей абсолютной естественности. Это были аминокислоты. Те самые. Натуральные или искусственные, как хотите, — аминокислоты, из которых строится белок.

Опыт повторяли сотни раз в лабораториях многих стран, и всегда «возникало нечто желтое».

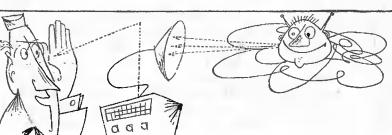
Потом американцы Фокс и Харда углубили эксперимент. Камеру с минералами, нагретыми до тысячи градусов (считается, что такая температура могла быть на Земле два миллиарда лет назад), они наполнили метаном, пропущенным через раствор аммиака. При этом грозовые разряды не имитировались. И опять невероятное. Восемнадцать аминокислот было получено в такой среде. Восемнадцать из двадцати, составляющих набор строительного материала, необходимого для возведения здания белка, который и есть жизнь.

Но исследователи пошли дальше. Они решили пропертить модель следующего этапа в истории планеты. Успокоило большинство вулканов, остыла изливавшаяся магма, спала жара в атмосфере. Полученными аминокислотами окропили горячую вулканическую лаву и, моделируя дожди, поливали ее дистиллированной водой. И произошло самое главное — молекулы аминокислот начали склеиваться в вещества, называемые протеинами, белковоидными.

И этот опыт повторяли сотни раз. И в лабораториях разных стран. И всякий раз получали один и тот же результат. Значит, при определенных условиях некое сочетание веществ обязательно приводит к той реакции, с которой начинается все живое. Значит, это не исключение, а правило. И такая реакция возможна везде, где есть подходящие условия.

Земной жизни потребовалось около двух миллиардов лет, чтобы пройти путь от первого белковоидного вещества до интакантрона. Возможно, у наших космических соседей этот путь был иным и уложился в иной срок. Тем не менее если предположить, что мыслящие населяют даже только каждую миллионную из всех планет, похожих на нашу, то и тогда семья разумных существ в доступной нам галактике достаточно велика. Достаточно велика, чтобы сделать попытки установить контакты друг с другом.

Вот о чем уже речь. О контактах. И ведь это не отвратительные фантазии. Радиофизики давно прослушивают небо с тайной надеждой наткнуться на чей-нибудь сигнал. Может быть, и нас разыскивают? Может быть. А может, нет. Ведь считают же некоторые, что космос — бескрайняя пустыня, в которой как редчайшие исключения вкраплены оазисы жизни. Однако для такого пессимизма сейчас, пожалуй, ос-





нований уже нет. Хотя всякий раз, принимая какой-то неожиданный, необыкновенный сигнал из Вселенной, надо помнить замечание академика Я. Б. Зельдовича: "... таких случаях мысль о разумных существах, конечно, приходит первой, но уверенность в том, что мы имеем дело с цивилизацией, обладающей разумом, должна приходить последней — только после того, как исчерпана и отвергнута все другие объяснения".

Словом, как ни поворачивай, а мысль о разумных существах приходит первой. Нам желания эта встреча. Как готовы мы кней психологически?

Отношение людей к космосу, Вселенной, к астрономии — науке о звездах — всегда имело принципиальное, мировоззренческое значение. Кстати, наука о звездах есть астрономия. Очень точный термин, но он умер в своем истинном смысле, поскольку астрономы некогда занимались в основном составлением гороскопов, пытаясь по звездам определять судьбы человека. Деятельность довольно далека от науки, хотя историки ныне используют гороскопы для уточнения многих важных дат. Например, день рождения Омарра Хайяма — 18 марта 1048 года — установлен по его гороскопу. Но термин уже имеет иное значение. Вместо него мы употребляем другой — астрономия. А ведь это наука о наименовании звезд. Причины смещения понятий, наверное, в том, что слишком много шарлатанов занималось астрологией. Правда, и среди них были учёные. Кеплер, как известно, числился придворным астрологом императора Рудольфа II в Праге. Но это по форме, а по сути он был великим астрономом.

Так вот об отношении к космосу. Древнегреческий мыслитель Митродор, последователь Эпикура, подлинного, по словам Маркса и Энгельса, радикального просветителя древности, отрицающего вмешательство богов в дела мира и исходившего в своей философии из признания вечности материи, выражал противникам: «Считать Землю единственным населенным миром беспредельном пространстве было бы такой же воинящей нелепостью, как утверждать, что на громадном засеянном поле мог бы вырасти только один пшеничный колос». Как точно выражено интуитивное чувство, что мы не должны быть одни.

Но есть и другое отношение к этому. Ньютона, например, был уверен в противном. Он, учёный, которому благодарные потомки подарили, может быть, самый прекрасный памятник в виде надгробных слов: «Да поздравят себя смертные, что существовало такое и столь великое украшение рода человеческого», — нарисовал картину Вселенной, в которой человеку вообще не было места. Открыватель основополагающих законов нашего знания о природе занимался теорией и был значительным авторитетом в этой области — наверное, самой бесплодной из всех, какими маялся человеческий мозг. В его полностью соответствующем времени миропорядке «для изящнейшего сочетания планет, спутников и комет» человек был явлением ничтожным и случайным. А современник сэра Исаака француз Блез Паскаль, обесмертивший свое имя благодаря необыкновенной щедрости ума, написал в одном из фрагментов «Мимолет»: «... Я нахожу в порядке вещей, что люди стре-

мятся познать не учение Коперника, а другое: решающее важным для всей жизни является знание того, смерти или бессмертия душа». Вот что тогда занимало человека больше всего. Какой уж тут внеземной разум!

Проходит два столетия, и фантазия Герберта Уэллса доставляет на Землю марсиан, представителей инопланетной цивилизации, технически прекрасно оснащенных и почему-то не в меру агрессивных. Конечно, война миров, а не их сотрудничество, полностью на сюжет автора зламенного романа, избодрившего общественное мнение конца прошлого века, но, несомненно, столь безысходный подход к прогнозу в художественной форме первого контакта с космическими пришельцами предопределен системой научных взглядов того времени.

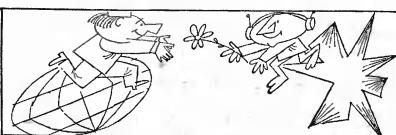
В России происходит Октябрьская революция, и становится возможным совершение иное отношение к Вселенной. Раскрепощенный дух видит друзей, а не врагов в себе подобных там, в бескрайних просторах неба. Он мечтает о межпланетном равенстве и братстве. Алексей Толстой написал: «Лось распахнул дверь — не тояя стеною полосатый толстик, придерживая обеими руками на животе охапку лазоревых, осмысленных роскошно цветов». — Ану утара Азлита, — прощептал он, протягивая цветы».

«Вас приветствует Азлит», и в знак глубокого расположения — цветы, а не смертоносные, все испепеляющие лучи. Достойная времена позиция.

Проходит еще четыре десятилетия, и крупный астрофизик, член-корреспондент Академии наук СССР И. С. Шкловский в книге «Вселенная. Жизнь. Разум» говорит уже о сроках встречи: «Вопрос сводится к тому, кто кого найдет? Если они нас, то это, очевидно, может произойти когда угодно — либо через десять лет, либо через тысячелетия». Некоторые оптимисты считают, что такая встреча уже состоялась, причем в историческое время (имеется в виду гипотеза М. М. Агреста о посещении Земли инопланетными астронавтами, сформулированной в 1939 году). Если же как «активный фактор» выступают земляне, то срок такой встречи будет зависеть не столько от уровня нашего технологического развития, сколько от удаленности от нас ближайших планетных систем, населенных разумными существами». Это написано после полета Юрия Гагарина, фотографировавшего обратной стороны Луны, первых попыток исследовать Марс и Венеру с помощью автоматических межпланетных станций.

Как стремителен бег времени! Земляне побывали на Луне, чуткие автомобили работали на Венере и Марсе, сделаны съемки Меркурия и Юпитера, посланец Земли мчится к Урану. И вот мы уже современники рождения удивительного по своей сути понятия «астронженерная деятельность». И не только рождания, а и утверждения в научном обиходе. Если несколько лет назад им пользовались в основном писатели-фантасты, то теперь все чаще оперируют учеными разных областей знания.

В сентябре 1971 года состоялась первая в истории Международная конференция по связи с внеземными



цивилизациями. Уже конференция. Местом встречи ее участники избрали Бюраканскую астрофизическую обсерваторию в Армении. Избрали, конечно, не случайно: достижения бюрakanских ученых в изучении загадочных явлений Вселенной весьма значительны.

Многих поразил прежде всего не сам факт организации такой научной встречи, а ее состав. Естественно, никого не удивили астрофизики, планетологи, математики, астрономы. Но антропологи, лингвисты, социологи, историки, археологи были несколько неожиданными компонентами ожидавшихся дискуссий. Уже одно это свидетельствовало о серьезности намерений. Контакт сквозь десяти световых лет требует объединения усилий ученых самых разных наук. И конференция в Бюрakanе продемонстрировала это со всей очевидностью.

Круг вопросов, обсуждению которых уделили должное внимание собравшиеся, не был ограничен лишь теми, что вытекают из разрешения собственно самой связи. Здесь рассматривались многие проблемы — общие законы развития цивилизаций, способы обнаружения планетных систем, возможные направления астроинженерной деятельности и вероятностные характеристики происхождения жизни, оптимальный план поиска космических сигналов и гипотетические последствия контакта с инопланетным разумом. В общем, весьма обширная программа.

Следует, наверное, заметить, что решение столь сложных и разнородных задач даже в предварительном порядке невозможно силами одной страны или небольшой группы стран. В это дело должны вносить посильный вклад все государства нашей планеты.

Пленарные заседания, академический обмен мнениями, горячие дискуссии проходили днем, а вечером все выходили смотреть на звезды. Здесь они казутся чуть ближе к Земле. Откуда-то появлялась ложа, гремела металлической цепью по камням и тихо ржалась. Хозяева затягивали пиво, старинную и печальную. Гости молча слушали, смотрели на звезды и чувствовали, что мир может быть каким угодно большим, но для человека нет ничего прекраснее Земли.

А утром в окна врывалось солнце, вокруг бушевали сарыинские краски, и лауреат Нобелевской премии американский профессор Таунс говорил: «Лазерная техника связи открывает перед астрономичной совершенно новые возможности, и мне хотелось бы обратить ваше внимание на некоторые их аспекты, как нам представляется, наиболее перспективные».

Потом другой лауреат Нобелевской премии английский профессор Крик замечал: «Необходимо прояснить полную картину возникновения жизни. Это позволит оптимизировать расчет количества звездных систем, которые имеют смысл рассматривать с точки зрения целесообразности изучения их как объекта для контакта с внеземной цивилизацией».

Советский радиофизик Н. Петрович Аелимов с коллегами своими сомнениями: «Вполне возможно, что наиболее развитые цивилизации уже нашли способ генерирования коротких импульсов гигантской мощности. Мы же используем приемники, которые могут регистрировать только длинные сигналы. Вот и получается, что мы смотрим в книгу, не зная, на каком языке она написана. Надо создавать широкомасштабные приемники, способные принимать импульсы предельно короткой длительности».

И так день за днем, целую неделю, Главная отличительная черта этой интереснейшей встречи — поразительная конкретность, как будто речь шла о сугубо земных делах, а не о венцах, соприкасающихся с научной фантастикой. Подавляющее большинство сообщений отличалось точной постановкой задач и



деловыми, сугубо профессиональными подходом к их решению. Никакой маниловщины, никаких: «Ах, если бы...» Ясное понимание всей трудности проблемы и соответствующее отношение к ней.

Заслуженное внимание участников конференции вызвали результаты наблюдения за звездами, удаленными от Земли на расстояние ста световых лет; рассказал о них член-корреспондент Академии наук СССР В. С. Троицкий. Но об этом поподробнее.

Чертты искусственности, которыми наше воображение наделило пульсы при первой встрече с ними, несомненно, стали возбудителями профессионального интереса ученых к одной из самых фантастических идей человека — установить контакт с внеземным разумом. Правда, пока нет ни одного объекта наблюдения во Вселенной, который не бессмысленно было бы считать результатом инженерной деятельности инопланетной цивилизации. Однако мы знаем, что не существует границ технического прогресса, выражением каких бы формы разума он ни был. Достаточно напомнить, что уже сегодня Земля благодаря работе многочисленных электронных устройств стала вторым по мощности в Солнечной системе источником радиоизлучения. Какое же множество можно предсказать человечеству через тысячи лет!

Наше Солнце — одна из наиболее молодых звезд в галактике. Если считать, что для некоторых планетных систем звезд старшего поколения характерна разумная жизнь, то каких невиданных высот в научно-техническом развитии достигла она. И, значит, поиск неких проявлений этого развития вполне обоснован. Наверное, это соображение и вдохновляет ученых.

Итак, решили искать. Но что? И где? Ведь ситуация не имеет прецедента. Выбор столь велич, а искомое столь неопределенно, что надеяться на Колумбову удачу — не Индия, так Америка — не приходит в голову.

Разумеется, мы можем моделировать их внеземное поведение только на основе нашего, земного опыта. Какой сигнал пришлось бы послать во Вселенную, задумай мы сообщить о своем существовании всем, кто в состоянии такой сигнал принять? Конечно, некое электромагнитное излучение. В каком диапазоне волн, чтобы снизить до минимума вероятность исчезновения его в радиопуках естественных источников? Сантиметровом или дециметровом. И куда направлять? В сторону ближайшей звезды с планетной системой.

Но послать сигнал, который наверняка достиг бы выбранной цели, мы пока не можем. У нас нет необходимой для этого мощности. Все электростанции Земли дают около четырех с половиной миллиардов киловатт — маловато для астроинженерной деятельности. Значит, надо самим искать. И исходя из тех же принципов.

Под руководством профессора Троицкого была создана специальная аппаратура, предназначенная для исследования радиошумов на сверхвысоких частотах. До того возможности достаточно мощного пере-

гулярного радиоизлучения из космоса на этих волнах без особого обоснования исключалась. Самое заметное такое излучение идет от Солнца. Что касается галактики, то она излучает регулярно и весьма слабо.

Однако в последние годы появилась другая точка зрения на этот счет. Возникла идея возможности существования нерегулярных космических сигналов совершенной иной природы. Такие Троицкий считает: «Можно предполагать, что такие сигналы возникают в результате технической деятельности внеземной цивилизации...»

Были предприняты попытки обнаружить мощные кратковременные импульсы. Для этой цели использовались радиотелескоп с большим полем зрения, благодаря чему излучения можно было фиксировать одновременно со всех направлений. Чтобы отделить помехи земные от космических, наблюдения велись синхронно на радиотелескопах, расположенных на Верхнем Волге, дальнем Бостоке, в Арктике и Крыму. Искали на волнах от трех до пятидесяти сантиметров. Искали долго. Очень долго. Работы с некоторой модификацией ведутся и сейчас. Но тщательный анализ материалов пока не дает оснований воскликнуть: «Эйрикс!» В этом диапазоне в это время в этом районе Вселенной мощные сигналы, которые можно было бы рассматривать как результат искусственных процессов, не наблюдалось. Поиск продолжается.

«Вообще астрономия—наука бесчисленных повторений. Бесчисленных! Чтобы познать, как же на самом деле вращаются планеты вокруг Солнца, по каким орбитам совершают они свое бесконечное движение, чтобы доказать, что великий Коперник ошибался, считая орбиты круговыми, чтобы окончательно спрятать всех бездумных сторонников наивной иломееческой системы, императорский звездочет Иоганн Кеплер восемь лет корпел над таблицами своего ангела-хранителя Тихо Браге. Восемь лет он искал единственную закономерность, удовлетворяющую всем наблюдениям, всем многочисленным цифрам нескончаемых таблиц, 70 раз повторив каждое вычисление, пока не уверился окончательно в том, что его смелое утверждение, никем ранее даже в отдаленной форме не предполагаемое, есть истинна.

А ведь это орбиты планет, объектов, видимых по-чти невооруженным глазом. Какими же должны быть труа, настойчивость и вера в успех, когда задача похожа на ту, которую задают буйным молодцам в старинных сказках: «Пойдай туда — не знаю куда, иная то — не знаю что».

Итак, искомое обнаружить пока не удалось.

Английские болгары пока не удалось. Слишком оторваться по этому поводу, корить себя, винить в нерасторопности, наверное, не след. Вон американцы тоже полбье обшарпали — и тоже ничего. В микроволновом диапазоне искали, узим денег на свою систему «Циклон» потратили, а результат пулевой. Руководитель этих работ Оливер докладывал о них на Бюраканской конференции. Многие сочли американскую систему неоптимальной, хотя сама идея поиска в микроволновом диапазоне показалась достаточно перспективной.

На пресс-конференции один из журналистов напомнил Оливеру замечание академика Андрея Нико-

лаевича Колмогорова о том, что если мы встретим информацию более разумных существ, то она может показаться нам случайной. Американский астрофизик без оговорок согласился с такой опасностью:

— Вполне резонно. Если они ушли далеко вперед, то наверняка научились записывать информацию более экономным образом, нежели мы. Скорее всего это так и есть. Значит, для нас она будет загадкой до тех пор, пока мы сами не научимся записывать ее так же.

— Но у Колмогорова есть также замечание о не-значительной вероятности обнаружения нами их по-зывных и о том, что если они более высоко разви-ты, то должны сами искать нас.

На это Оливер запротестовал самым решительным образом:

Что значит должны? Никто никому ничего не должен. Мы их ищем, потому что нам хочется их искать, потому что наш прогресс рождает такую потребность — искать во Вселенной себе подобных. И при чем здесь уровень вероятности? Он лишь определяет количество затрат и степень сложности всего предприятия.

Оливер принадлежит к числу деятельных оптимистов, которые, ставя перед собой дальнюю цель, не ждут, пока она в силу какого-либо благоприятного стечения обстоятельств приблизится, а сами движутся ей навстречу. В современной астрофизике качество очень важное.

На площади Цветов в Риме пасмурным утром 17 февраля 1600 года толпа, густая, как свинцовые тучи, надвинувшиеся издалека вместе с холодным ветром, многошумного шума. Люди разного возраста и звания говорили все сразу, и было непонятно, как они относятся к черному каре изезитов, застывших в немом ожидании публичной казни.

Никто толком не знал, какую заповедь нарушил приговоренный. Одни говорили, что он колдун, другие — фальшивомонетчик, третий — прелюбодей.

Вдруг все разом замолчали. В дальнем конце площади послышался гулкий топот тяжелых деревянных башмаков, и все увидели еретика. Он шел медленно, низко опустив голову. Порывы ветра трепали дохмотьи его одежды.

Однако всхлипнула сердобольная сморщенная старушонка Человек по имени Джордано Бруно подняла голову, устало оглядела площадь, людей, охрану, палачей и закрыл глаза. Все. Прощай, небо! Прощайте, звезды!

Кто-то крикнул: «Зажигай!» И сейчас же, как по команде, засуетились монахи. И опять тревожно зашумела толпа.

Загудел огонь. Распаяляемый резким ветром, он уже заглушил нечеловеческий крик отчаяния и боли. Его багровые отсветы метались по щекам святейших отцов, и клопы сажи оседали на потные лица иезуитов.

Люди, пораженные, молчали. Им не дано было понять, помянуть и простить этому неистовому человеку его велическое богохульство: «...Существуют бесчисленные солнца, бесчисленные земли, которые кружатся вокруг своих солнц, подобно тому, как наши семьи плавают кружатся вокруг нашего Солнца... На этих мирах обитают живые существа». Он так и говорил, уверенный в истинности своей ереси. Не отрекся.

С тех пор не гаснет огонь на площади Цветов в Риме. И эти мужественные слова освещают нашу неистребимую убежденность в том, что мы не одиночка во Вселенной. Не одиночка.





Евгений
РУБИН

А ЗАВТРА...

П одошли к концу трехмесячные хоккейные каникулы, каникулы, в которых на этот раз не меньше самих игроков нуждалась хоккейная публика,— минувший сезон доставил ей столько тревог и волнений! Нервная, изнурительная борьба на чемпионате страны, где за золотую медаль до последнего дня сражались сразу три команды. Олимпиада, где победа была вырвана тоже в последний день в матче, в котором наша сборная проигрывала 0:2 и 2:3. Второе — почетное для любой сборной, кроме нашей — место на первенстве мира. А ЦСКА, не сумевший завоевать ни одного из главных призов сезона — ни Кубка, ни чемпионского звания.

И, наконец, были восьмые матчи ЦСКА и «Крыльев Советов» с клубами НХЛ, клубами, чья игра до сих пор для нас, жителей Старого света, была окружена легендами...

И вот — новый хоккейный год. Год, фактически открывавший новую хоккейную эру, поскольку встреча с сильнейшими профессионалами Нового света становится здравой диг. Уже в сентябре начнется турнир шести сборных, где вместе с нашей, шведской, хоккейной и финской будут играть команды Канады и США. И те же имена профессионалов в списке участников первенства мира. Оно начнется значительно позже обычного — в конце апреля, специально для того, чтобы профессионалы смогли выставить лучших своих игроков.

Что же сулят хоккею, прежде всего нашему, постоянные контакты и постоянная борьба с профессионалами?

Нам только кажется, что мы теперь близко знаем, что такое канадский профессиональный хоккей на его высшем уровне. На самом деле у нас это знают немногие, человек пятьдесят, не более. Знают те, кто сам выходил на лед катков НХЛ и испытал, что это за игрушка, на собственных боках.

Бот что мне рассказывал о своих ощущениях Владимир Шадрин — один из самых мужественных хоккеистов нашей сборной за всю ее историю и к тому же человек, не склонный к крайним оценкам и преувеличениям.

— Есть одна сторона их игры, которую не увидишь ни с трибун, ни даже со скамьи запасных. Это словесные приемы. Мы сами обучены им с детства. Для нас они — способ выиграть борьбу за шайбу или, как у вас принято говорить, «отделить противни-

ка от шайбы». Отделить — и все в порядке, дело сделано. У них эта цель тоже есть, но есть и другая — по их игре такая же важная: причинить тебе боль, воткнуть в тебя удар всей массы собственного веса, помноженный на ускорение. А масса у иного — под центнер, и норовит от разогнаться получше, когда презрется в тебя. И клюшку для устрашения старается держать наперевес на уровне твоих глаз или горла. К такому неслыханно привыкнуть. А у них это в крови, они так воспитаны, они на том стоят.

О том, как выиграли две наши команды суперсерии у восьми клубов НХЛ, написано много. И о преимуществах той и другой хоккейных школ — тоже. Писалось, что наши превосходят их в маневренности, а они нас — в искусстве броска, что наши играют более разнообразно, а они лучше действуют при добивании шайбы. Все это верно, все важно. И тем не менее без того, о чем рассказал Владимир Шадрин, трудно оценить качество нашей победы по достоинству.

По ту сторону океана успех наших команд имел оглушительный резонанс, куда большший, чем удачная игра сборной СССР в двух прошлых сериях матчей с профессионалами — со сборной НХЛ в 1972 году и сборной другой профессиональной лиги — «Всемирной хоккейной ассоциации» — в 1974 году. И тогда сила европейского хоккея удивила канадских знатоков. Но тогда нашлись «объективные» причины: во-первых, игры состоялись ранней осенью, когда канадцы обычно линьи начинают готовиться к сезону, а значит, не успевают еще войти в форму, во-вторых, сборная команда — ведь для профессионалов непривычная и малопонятная. Вот если бы играли не сборные, а клубы, тогда...

Теперь все истало на свою месть. «Смягчаясь вину» обстоятельства отвали. Однако на родине хоккея это лишь усилило жажду реванши. К тому же и в коммерческом отношении контакты с европейцами оказались для НХЛ выгодны: стадионы переполнены, телевидение готово закупить матчи онтром и в розину, не торгуясь.

Помните знаменитую фразу, которую произнес во время серии в 1972 году Николай Озеров, и которую долго потом повторяли все, кто шутя, кто всерьез: «Такой хоккей нам не нужен...». Теперь носивший еще недавно теоретический характер вопрос: играть или не играть — разрешился как бы сам собою. Играть — и обратной дороги нет. Сентябрьский турнир, венское первенство мира, а затем новые турниры и новые чемпионаты. Хоккейный караул, щедший десятилетия проторенным руслом, меняет курс. Курс этот надо прокладывать заново, ибо прошлые, пустив совсем еще свежие в памяти победы, не являются ни малейшей гарантой побед будущих.

Но в сметах подсчетов тут дело и не о них речь. Аучные припомним сравнительно недавнюю историю. 22 года назад наш хоккей впервые познакомился с канадским, правда, любительским, но тоже считавшимся в Европе не просто сильным, а непобедимым. И в первом же матче первого для нас чемпионата мира мы выиграли у канадцев и завоевали золотые медали. Две зимы спустя — опять победа и опять золотые медали, на этот раз — олимпийские. Затем... несколько лет неудач в играх с канадцами. Те неизменно на первенствах мира оставляли нас у себя за спиной. А в шестидесят третьем успехи вернулись. Тогда наши тренеры нашли в сборной трезво взведенные достоинства и недостатки канадского хоккея и определили, какие из этих достоинств стоит нам использовать, чтобы обогатить свою игру.

А теперь попробуем с этих позиций взглянуть на игры новогодней серии. Попробуем поставить перед

собой два-три таких, например, вопроса. Что было бы, если бы не нашим двум клубам пришлось играть с восемью командами НХЛ, а, наоборот, их двум клубам с восемью нашими? Ну, скажем, «Филадельфия Флайерз» и «Монреаль Канадиенс» играли бы не только с ЦСКА и «Крыльями Советов», но и с горьковским «Торпедо», ленинградским СКА, новосибирской «Сибирью». Или иной вариант: восемь их клубов — против восемь наших? Или, наконец, та же серия, только «Крылья Советов» выступают без спартаковцев В. Шалимова, В. Шардина, А. Якупова и Ю. Ляпкина!..

Признаю: профессионалы чаще и сильней наших бросают шайбы, что доказано цифровыми выкладками. Скажем, во время игры «Монреаль Канадиенс» — ЦСКА по нашим воротам было сделано 38 бросков, по канадским — 13. Признаю и другое: мчавшегося по льду профессионала трудней сбить силовыми приемами с ног, чем нашего игрока. Можно, вероятно, называть еще какие-то стороны игры, где преимущество на стороне канадцев. Но это в данном случае ни к чему, хватит и перечисленных.

Откуда же эта разница в количестве и качестве бросков? А вот откуда. Искусством броска обязательно владеет каждый профессионал, владеет так же прочно, как поступавшим в математическом вуз школы основаниями алгебры и геометрии. У нас же даже в самой сильной команде, не исключая и сборной, существует деление на «умеющих бросать» и «не умеющих бросать». Так же обстоит дело и с устойчивостью перед силовыми приемами. В командах НХЛ канадская техника поставлена так же, как техника владения голосом у выпускника консерватории. И опять же у нас даже в сборной хоккенсты делятся на хороших, посредственных и плохих канадцев.

Мы видели восемь клубов НХЛ — одни были по-силней, другие послабей. У этого моложе состав, у этого лучше тренер, у того больше «звезд», у этого интересней построена игра. Все команды разные. Но всех родит одно — «школьное воспитание» любого игрока, от «звезды» до статиста, безупречное. Отсюда парадоксальная ситуация: в канадском хоккее, где «звезды» превознесены до небес, где они в центре всеобщего внимания, где на их именах держится реклама, где эти имена окружены чутки ли не божественным ореолом, разница между самими яркими «звездами» и средними игроками менее заметна и очертана, чем между «звездами» и хоккенстами средней руки у нас, в хоккее, который во главу угла поставил коллективность и в котором само это понятие «звезда» употребляется нечасто и обязательно в обрамлении кавычек.

Когда-то, начиная состязание за мировое первенство с канадскими любителями, мы тоже отставали от них во многих технических дисциплинах. И сумели догнать их не только потому, что изучили эти дисциплины и ввели их в курс обучения сильнейших хоккенстов. Но это, ни о другого нашего тренерам бы не сделали, если бы в стране не появилось достаточно искусственных катков и во главе лучших клубов не встали бы образованные специалисты. То был фундамент, на котором возводилось здание будущих успехов. Он оказался прочным. Сегодня по постановке дела наш большой хоккей не уступает и канадскому профессиональному, оттого и соревнование с ним началось успешно.

Но — так уж получилось — этот самый большой хоккей убежал далеко вперед от своих тылов — от хоккея юношеского и детского. Потому и видится нам «школьное образование» канадцев безупречным, что сами мы по постановке «школьного» дела в хоккее от них отстаем.

«Школа» — понятие обширное. Кроме всего прочего, оно включает и такие вещи, как хорошие школьные здания и современно оборудованные классы, учебники и наглядные пособия. Здесь и квалификация учителей, и начальный возраст школьников. Чем многое. И какую бы сторону дела мы ни взяли, повсюду у нас опущается дефицит. Проблемы искусственного льда для двух десятков лучших команд страны не существует вовсе. А 12—13-летние ребята, носившие форму тех же команд, видят этот лед разве что по телевизору: лед дворцов спорта — на вес золота, его аренда стоит тысячу, а простых открытых искусственных катков нет почти никогда. И возможности ребят играть и тренироваться целиком зависят от капризов климата, который иногда сводит к двум-трем месяцам зиму в таких хоккейных центрах, как Ленинград или Латвия. Наша фабрика спортивного инвентаря научилась делать приличные клюшки, коньки, ботинки, но лишь в том количестве, какого хватает на те же полтора десятка лучших команд. Детям же, скажем, семи-восьми лет просто не в чем выйти на хоккейный лед, нечем вооружиться, выходя на этот лед, ну, а уж о защищении спаржинок, которое детям еще более необходимо, чем взрослым, они не смеют мечтать.

Вот и начинается «школьное образование» подавляющего большинства наших хоккенстов в том возрасте, когда их спортивники из-за океана уже начали изучать «иксы» и «игреки», морфологию и синтаксис. Кому-то наверстать упущенное помогает природная одаренность, кому-то счастливая встреча с талантливым тренером, кому-то недоожиданное трудалибие. Но многие так и остаются недоучками. Поэтому что научить взрослого труднее, чем ребенка. Еще труднее его переучить, исправив неверно установленную конькообразную «походку».

...Знаменитый клуб НХА «Филадельфия Флайерз» еще несколько лет назад пребывал во мраке неизвестности. Его тренер Фред Широ охотно рассказывает, что, пока его коллеги на всех первенствах трубыли о превосходстве канадского хоккея над европейским, он изучал наш опыт организации игры и тренировок и многое применил в своей работе. Теперь, поближе познакомившись с клубами НХА, мы смогли убедиться, что у Широ нашлись последователи — тренеры команд «Буффало Сейбрз» и «Нью-Йорк Айлендерс». Тактические ходы этих команд куда чаще напоминают те, что используются у нас, чем привычные их близким соседям, тому же «Нью-Йорк Рейнджерс» или «Чикаго Блэк Хоукс».

Понятно, перестроить тактику и методы тренировок — дело менее сложное, чем реорганизовать юношеский и детский хоккей, обеспечив его искусственным льдом, знавшими тренерами, хорошими коньками и клюшками. Но что поддается — надо. Канадские профессионалы, почти со столетие считавшие себя единственными пророками хоккейного божа и пребывавшие в гордой самоизоляции, вышли сейчас на мировую арену, вышли не на год или два, а всерьез и надолго. И победа над ними в последней суперсерии, как она ни приятна, — лишь аванс будущих побед и, как всякий аванс, требует гарантii и обеспечения.

Юрий
ВЛАСОВ

ВЕЛИКИЙ ГАКК



аклоняясь с пьедестала по-
чета, почти приседаю, но не
потому, что мне недобро
пожимать прогинутую руку. Я
хочу ближе увидеть лицо старика.
Стараюсь удержать в памяти
каждое его слово.

Неужели это возможно: Лон-
дон, мировой рекорд «Скала-
Театр» и мне вручает медаль Ге-
орг Гаккеншмидт! Не скожу глаз
с него и когда он поздравляет
второго и третьего призеров со-
ревнований в тяжелом весе фин-
на Эйно Мякинена и американца
Дика Зорка.

Поздно вечером, когда, нако-
нец, остаюсь один в своем номере
гостиницы «Роял», я достаю и
разглядываю фотографию молодо-
го Гаккеншмидта. На ней энер-
гичная, отнюдь не старческая ско-
ропись: «Юрий Власову от
Г. Г. Гаккеншмидта. Лондон. 29-ого
Юля 1961». И этот коренастый, по-эстонски белый даже цветом
кожи старик действительно Ге-
орг Гаккеншмидт! Грамматические
ошибки в дарственной надписи...
Он уже успел подзабыть русский
язык — с 1914 года живет за гра-
ницеей.

Его имя связывается в моем со-
знании с именами Морро-Дмитрие-
ва, Кривова, Луриха, Мир-Зна-
менского¹, Александровича, Ко-
пцева, Кнутарева, Занкина, Крау-
зе... И вспоминая одного из них,
я невольно вспоминаю остальных.
И вспоминаю фотографию: зима,
все в пальто, краjkистый человек,
расставив ноги, держит на руках
двух мужчин — один из них, что
с бородкой клявишком и сонным
взглядом, Александр Иванович
Куприна, а тот, у кого он на руках,
Иван Занкин.

Вспоминаю другую фотографию:
Занкин с ласковой бережностью
обнял рукой плечи Куприна, чуть
притигнув его к себе. Занкин вдвое
шире Куприна, на круглом лице
с усами стрелкой крепкая мужи-
ческая уверенность, сознание своей
силы и хватки. У Куприна утом-
ленный, пристальный взгляд из-под
тяжелых, набрякших век. Занкин
говорил: «Каждому свое: сильно-
му — кротость, юному — любовь,
а старцу — глубокий сон...»

Занкин был на два года моложе
Гаккеншмидта и на десять — Ку-
прина. И в ту пору им всем еще
было далеко до старости...

Забываю, что я в Лондоне —
в крошечном, наподобие павильона

¹ Дмитриев, Знаменский — рус-
ские. Пристани Морро и Мир —
всего лишь дань дурной моде.

гостиничном номерке. Я снова воспитанник Суворовского училища. Я в классе на вечернем приготовлении уроков. Выучена они или нет, но передо мной рассказы Куприна. Что за часы! Когда я не могу совладать со своими чувствами, откладываясь к спинке парты и смотрю в окно. Там ночь, сиротские подсвеченные цепочкой лампочек вдоль трамвайных путьей. Всего несколько лет как закончилась война, однако этот тыловой город еще не окинул по-настоящему. Глухи и черны его улицы... Но я в Москве Куприна, на Знаменке, — усаживаясь с юнкером Александровым в развалины...

Английская речь в коридоре?.. Ах да, я в Лондоне. И сегодня закончился турнир, посвященный се-мидесятилетию Британской ассоциации тяжелой атлетики. За тонкими стенами номера слышны голоса постойльцев, шаги. На ночном столике воскресный выпуск газеты «Обсервер» и перевод отчета о турнире. Вот строки обо мне:

«...Перед вчерашним выступлением Власов был пессимистически настроен относительно возможности нового рекорда... «Не хватает пищи» — говорил он... — Нет массажиста...» Ни одного признака того, что его выступление в Лондоне может стать историческим событием...» Далее следует описание моих мышц, похожих на «отполированные уличные бульдожники», моих движений, «напоминающих движения робота»...

Автор отчета — Додди Хэй.

Тот самый мистер Хэй?

...Мы вернулись с приемом в полночь. В вестибюле гостиницы меня ожидали репортеры. По-московски шел уже третий час ночи. Чувствовал себя я неважно. Мои номерок, в котором можно находиться только с открытой форточкой — иначе задохнешься, крайне скучное питание, утомление от последних разминок, необходимость присутствия на различных официальных приемах — все это противопоказано си-ле, а я рассчитывал на рекорд.

Я вспомнился и попросил репортеров задать свои вопросы утром: ведь завтра, а точнее сегодня мне предстоит выступить, я обязан подчиняться режиму. Среди репортеров стоял человек на костылях, с болезненно-худым лицом. В отвратительном пиджаке алая нашивка боевого ордена.

Я прошел за лестницу, откуда меня не было видно, и попросил переводчика вернуть того человека на костылях: для него я готов сделал исключение. «В конце концов», — решил я, — какие-нибудь десять минут не изменят мою спортивную форму? К тому же я здесь и не могу выдерживать режим. Все пошло комом сразу. Меньше всего организаторов турнира волновали результаты. Зато на рекламу сил не жадели. Все это изрядно смахивало на шоу.

На вопрос мистера Хэя о рекордах я действительно не ответил, что ничего определенного обещать не могу. Рекорд есть рекорд. Кроме того, условия для него складываются явно неблагоприятные... Я не жаловался мистеру Хэю. Я старался объяснять свое положение.

Я чувствую, как заливаюсь краской, перечитывая первую половину отчета. Осрамил меня! Ведь я здесь как животное!..

На турнире я оказался в незавидном положении. В Москве посчитали: раз соревнования личные и очки не будут начисляться — участник обойдется без тренера. Переводчик поехал, а Богданов нет. И я должен был следить за подходами соперников, то есть поминутно спрашивать о количестве оставшихся подходов, рассчитывать время разминки. Нельзя опоздать с разминкой — тогда остынешь до вызова к весу и вынужден выполнять новые разминочные

подходы, лабы не терять ощущения «железа», а это дополнительный расход энергии, весьма нежелательный, если подводишь себя к рекорду.

Между попытками я находился за кулисами среди чужих. Мне необходимо было присесть, расслабить мышцы, слегка взболтнуть их, сбросить усталость. Забыться на несколько мгновений. Простые спереди, но весьма существенные для восстановления и концентрации силы...

Я покрутился, но стула не напел. Пауза между подходами строго ограничена тремя минутами. И вот тогда я потянулся репортеров. Я сел на пыльный дешевый пол среди декораций, тросов, чых-то ног. Сразу же в глаза ударили фотовспышки. До ульбок ли мне было? Меня о чём-то спрашивали, я молчал. Но для мистера Хэя я вновь сделал исключение. Не ручалось, что с довольным выражением лица, но ответил. На разминке штанга была очень тяжелой...

С улиц доносились голоса и шаги прохожих. Переходя переключатель программ радиоприемника, встроенного в стену, на цифру «1»: не просплю, разбудят пораньше. С утра в аэропорт Хитроу — домой! А Лондон так и не увидел. Разве можно увидеть его из окна автомобиля за несколько коротких поездок? Не побывал даже в Британском музее, его стены за чутким оградой вскаки раз видел, разминялся ходьбой, недалеко от гостиницы. Ожидание соревнований, затем выступление и тут же возвращение домой — вот неизменный порядок любой поездки за границу. Увидеть нечто большее значит рисковать результатом. Оберегать силу — закон дней и часов накануне выступления. Лишь один раз я не выдержал однобразия ожидания и сбежал из своего номера. Я запомнил название улицы, потому что боялся заблудиться. Я вышел на Саутхэмптон, которая перешла в улицу с названием Кингсвей, пересек Страйд и вышел на набережную Темзы — к цепочке скверов с вереницами фонарей. Справа в дождевой дымке зависал над рекой мост Ватерлоо...

Смотрю на свою фотографию в газете. Перемогаю себя и принашиваю за вторую часть перевода репорта мистера Хэя.

«...Но вот начинается последнее упражнение — толчок. Власова не узнать! Какое преображение в течение часа! Бразильца, уверенно выходит он на помост. Перставляет ноги, напрягает массивные бедра, руки, строго подгоняя себя под то единственное правильное стартовое положение. Первой же попыткой он наносит поражение своим финским и американским соперникам.

И вот последний разнуд — незабываемые мгновения! Власов приложился к рекордной штанге и...

Георг Гаккеншмидт в своей ложе затянулся дыхание. А потом бормотнул: «Изумительно, непостижимо!» И торопливо направляется через заднюю дверь, чтобы приветствовать нового льва. Это — событие, и я его никогда не забуду! Гаккеншмидт, все еще сильный и проворный, несмотря на свои годы,ожимал руку Власова и высказывал свое восхищение. Власов был заметно тонущ в неожиданной встречей с легендарным, могучим человеком из России, чье имя до сих пор невероятно уважается там, в стране его происхождения. На моих глазах происходит странное, потрясающее преображение. С гигантской высоты своего положения Власов незаметно соскальзывает. И вдруг я вижу одинаковость выражений их лиц, непривычную схожесть осанки, жестов, каждую органическую общность — замечательные мгновения! Я был сражен! Власов спокойно, естественно и искренне вошел в роль молодого поклонника старого Гаккеншмидта».

Я лишь смутно сохранил в памяти, что было, когда после установления рекорда я спустился со сцены. И вот сейчас я вдруг все вижу. И уже нет обиды на Доди Хэз! Наборот, я благодарен ему! Он помог увидеть те мгновения, вернув их мне...

И опять с именем Гаккенимидта в моем сознании оживают имена старых русских атлетов.

В прошлом году мы праздновали девяностолетие русской тяжелой атлетики. Этому юбилею были посвящены и соревнования в Подольске.

Рядом со мной за столом апелляционного жюри — первый советский чемпион мира Григорий Новак. Не только по тяжелой атлетике, а первый вообще в советском спорте.

Шепотком переговариваюсь с ним. Нам нравится, как организованы соревнования, что говорить, у Михаила Аптекаря, директора подольской спортивной школы «Геркулес», любые соревнования — настоящий праздник силы! Аптекаря отличает не только бескорыстная любовь к тяжелой атлетике, но и доскональное знание ее истории. Знание единственное в своем роде, признанное специалистами во всем мире. Здесь, в Подольске, у Аптекаря, редчайшие фотографии, протоколы соревнований вековой давности, письма сильнейших атлетов, сотни страниц исследований по истории тяжелой атлетики в различных странах, чего только нет!

Слушаю рассказ Новака о праздновании юбилея тяжелой атлетики в 1945 году. Юбилей отмечали в ленинградском цирке. Среди приглашенных был Иван Михайлович Занкин. Встречали его на улице все атлеты и гости. Каково же было общее изумление, когда к цирку подкатила... пролетка, а в ней сидел и сам старик богатырь!

— Пролетка, понимаешь? Ума не приложу, где в Ленинграде тогда от разыскал извозчика? А разыскал ведь! И пролетка — на дутых шинах, лакирована! — Да умудрился, смысле...

Руки Новака в рубахах, мозолях, ссадинах. Тяжелые руки рабочего человека. А моя за пищущей машинкой стали изнеженными, в тот момент они мне даже казались неприлично изнеженными.

После соревнований отдох Аптекаря давно обещанная репродукция портрета Занкина, написанного Давидом Бурлюком во Владивостоке летом 1920 года. В сопроводительном тексте к репродукции сообщается, что портрет был исполнен к сорокалетию Ивана Занкина — русского атлета с мировым именем, одного из первых наряду с Уточкиным и поэтом Каменским среди шестидесяти авиаторов, получивших образование под Парижем у знаменитого Ари Фармана.

Да, я зачитывался в юности Куриным, который дружил с Занкиным. Но мою судьбу определил Гаккенимидт! И это не преувеличение. Тогда в лондонском «Скала-Театре» мне посчастливилось встретиться с человеком, который помог мне понять себя и свою силу...

Спрятать что-либо понадежнее можно лишь под матрасом, это единственный тайник, о котором, конечно же, знают офицеры-воспитатели, но другого не существует. В стенах этого старинного здания за многие годы учения все всем известно, вплоть до количества ступенек просторных чугунных лестниц, из узоров которых к празднику нас заставляют выскребать грязь. Для этого дела нет споруднее инструмента, чем трехгранный щиток дневального...



Репродукцию портрета Ивана Занкина работы Давида Бурлюка мне подарили тамбовский коллекционер Николай Алексеевич Никифоров, который был близко знаком с Бурлюком, и чьего хранится этот портрет. Никифоров, кстати, Никифоров, рассказал мне любопытную историю про Бурлюка и Занкина, и Давид Давидович рассказал мне такой эпизод. На одном из выступлений Бурлюка в первом ряду сидел Занкин... Молодчики монахинческо-белогвардейского толка, склонившись, сорвали с Бурлюка каштаны. Тогда, когда Иван Занкин, прорвал над головой свой студ и начал его крошить руками, Зал притих, и он отчетливо произнес: «Это сотворю с каждым, кто будет мне мешать слушать Бурлюка». В гробовом молчании продолжалось выступление Давида Давидовича...

Прятать нам в общем-то нечего кроме пакет хлеба для приятелей, отпускаемых в увольнение. Но мой одноклассник Толя прятает под матрасом нечто необыкновенное. Знают об этом несколько человек, среди доверенных и я. Однако упоминать о книге, за прятанной под матрас не в изголовье, а в ногах — там реже проверяют при непослыханных — нельзя: я побоялся в любом случае помочь. Книга у Толи с воскресенья до следующей субботы — очередного увольнения. Он читает ее на уроках, но так, чтобы, кроме соседа, никто не видел. И вот, наконец, я получу книгу на полчаса. Я пробираюсь в актовый зал, где нам обычно запрещено бывать. Со стен на меня взирает генералиссимус Суворов. Огромный портрет в рост: Суворов положил руку на лист бумаги, надо полагать, диспозицию предстоящего сражения. На другой картине Суворов гардует на саврасой лошадке выше ущелья, а вниз, выкатывая от ужаса глаза, скатываются его чудо-богатыри. Это известное полотно Сурикова. И вообще Суриков и Верещагин богато представлены в нашем актовом зале. Там, где я устраивалась читать, на меня с картины взирают мужики с топорами: ждут, когда по зимнику подут наполеоновские фурражиры. Я прохожу упомянутые полчаса с генералиссимусом и мужиками, я занималась временем и, если бы не стук Толи в дверь, читал бы книгу до отбоя.

Книга издана еще до революции. Я читаю ее, вложив в толстенный том Горького (тогда почему-то классиком печатали в одном здоровенном томе, при гдедении его во время уроков в партии все вздрагивали). Надо сказать, нашим офицерам-воспитателям вменялось в обязанность проверять, какие книги мы читаем. А я держал в руках книгу Георга Гаккеншмидта «Путь к силе и здоровью». Каковское называло: «Что мне еще нужно, как не путь к силе?»

Я с детских лет страшно перенаподущен к силе и сильным людям. Правда, я не слышал, что такой Гаккеншмидт. Об Иване Поддубном писали про каждого подходящем и неподходящем случае. Поминали Запкина, но уж как-то вскользь. В журналах и газетах уже давно расписаны все титулы, называвшие все богатыри, которых мы должны знать, а тут Георг Гаккеншмидт — «Русский лев!». Под страшным секретом Толя сообщила, что Гаккеншмидт живет за границей. Но до чего же увлекательна эта книга! И я забывало, что к автору следует относиться с подозрением. Я перевертывал страницы, запоминаю страницы. Я начинаю понимать, как, в сущности, мало и многое нужно для того, чтобы стать сильным. И самое первое условие — режим: не пить, не курить, заляться обильными. Потом непрерывность занятий. Ни в коем случае не пропускать тренировки. Силу выплаивает постепенность наращивания нагрузок и непрерывности этих нагрузок. Оказывается, я могу ограничиваться даже сорок минутами в день, или через день, но этих сорока минут тренировки достаточно, чтобы воспитать большую силу. Я запоминаю упражнения. Запоминаю накрепко.

Я узнаю о существовании некоего доктора Краевского, которому автор «обязан всем, чего добился»...

Я уже тогда упражнялся на брусьях, перекладине или, как мы выражались, «качал мышцы». Преподаватели физкультуры выколачивали из нас недовольство, слабость и небезупречность. Меня покоряли силы, совершенство форм могучего тела. Но быть сильным — достичко ли это, не удел ли избранных, не жалок ли я? Гаккеншмидт властно заявил: нет, не жалок, сила награждает любого, кто предан ей!

Я искал силу в кустарных упражнениях; а эта книга столько рассказывала о силе, о порядке упражнений, перечисляла упражнения! Но главное не в этом. Каждое ее слово дышало любовью к силе, по любовью одухотворенной, освещенной поклонением прекрасному. Книга вдохновенно убеждала: прекрасное в человеке — это гармония, а гармония невозможна без физического и духовного совершенства. И это гармония неизбежна, ее порождает жизнь. Надо лишь следовать зову жизни...

Я старательно вглядываюсь в подаренную мне фотографию. Юный, мускулистый Гакк. Я долго смотрю на фотографию, я научен читать мышцы. И я угадываю, какие упражнения формируют те или иные группы мышц. Огромное дарование и работа в этих мышцах!

И вот новое свидание с Гакком — так называли со-временники Гаккеншмидта — этой весной. Тенер уже в библиотеке имени Ленина в Москве. Оказывается, неспроста моя училищный товарищ так берег ее, ту книгу. Даже в библиотеке имени Ленина она относится к разряду редких и выдается не в обычном порядке.

Сверху на розовой бумагой обложке поясной нортрет обнаженного Гакка. Под портретом надпись: «Георг Гаккеншмидт «Путь к силе и здоровью». Под редакцией С. Морро-Дмитриева. Вместо предисловия «Воспоминания о Гаккеншмидте» профессора

атлетики И. В. Лебедева. Москва. 1911 г. Издание братьев Поповых.

Я думаю:

«...Оскдение сел и деревень за счет чудовищного пристра к городам; увеличение числа прикованных к конторскому столу и ведущих сидячий образ жизни; и лишь слабые попытки урегулировать неправильную жизнь этих последних путем единственного правильного метода — именно рациональной гимнастики...»

А вот и те слова, которые стали девизом моей спортивной жизни:

«...На вопрос, может ли всякий сделаться сильным, я отвечал утвердительно... Все дело в том, чтобы быть господином своего тела... Если хотите сделаться сильным и здоровым, то необходимо найти досуг на это, точно так же, как всякому приходится находить время для еды...»

Гаккеншмидт рассказывает свою историю. Он родился в 1878 году в Дерпите. Окончил реальное училище, поступив в Ревель на машиностроительную фабрику. Собирался стать инженером. Физическими упражнениями увлекался с детства, а в ревельском атлетическом и велосипедном клубе, продолжая развивать свою силу, стал поднимать тяжелые гири. Случайное знакомство с доктором Краевским — основателем атлетического и велосипедного клуба в Петербурге — определило дальнейшую судьбу Гаккеншмидта. Краевский сказал, что у него есть все данные, чтобы стать самым сильным человеком в мире. И в конце 1897 года вследствие родителей Гаккеншмидт отправился в Петербург.

«Доктор Краевский, холостяк, жил в большом доме на Михайловской площади в Санкт-Петербурге, — вспоминает Гакк. — Я был принят весьма гостеприимно в дом этого покровителя атлетики. Доктор относился ко мне, как к родному сыну, и в течение моего тренирования представил в мое распоряжение все то, что он знал в деле атлетики. Одна комната в его доме была украшена портретами лучших атлетов и борцов всего света... Доктор Краевский был, кроме того, основателем частного клуба, в котором ежедневно происходили упражнения с тяжелым весом, гантелями и другими гимнастическими аппаратами и где также усердно боролись. В гимнастической зале у доктора Краевского находились в громадном количестве многочисленные штанги, гантеля, гири, а также всевозможного рода аппараты для развития силы...»

Признаюсь, я думал, что «отцом русской тяжелой атлетики» Краевского нарекли мои современники. Но так, оказывается, его называет уже Гаккеншмидт. В одной из глав своей книги — это глава специально посвященная Краевскому — он пишет:

«Доктор Краевский, у которого была громадная практика, был в высшей степени отзывчивым человеком и лечил безвозмездно бесчисленное множество пациентов из беднейших классов населения. Его приемная была всегда наполнена ищущими помощью...

Он начал свои физические упражнения на сорок первом году жизни и достиг таких успехов, что он еще двадцать лет спустя выглядел гораздо свежее и здоровее, чем когда ему было сорок лет.

Все профессиоанлы и борцы, приезжавшие в Санкт-Петербург, являлись к доктору Краевскому и экспонировали свое искусство в его гимнастическом зале; при этом они подвергались тут же щатательному измерению, взвешиванию и исследованию. Благодаря этому доктор Краевский приобрел превосходный материал и выдающиеся познания относительно способностей к физическому развитию и различных систем тренирования».

Тренируясь у Краевского, Гакк быстро приобрел значительную силу (он ел при этом все, что хотел, но пил только молоко) и в том же 1898 году, состоявшись в подиумных тяжестях на звание чемпиона России, получил первый приз — вытолкнув обеими руками 114 килограммов...

А вскоре, регулярно тренируясь в борьбе, он победил в Петербурге знаменитого французского борца Поля Понса.

Летом девяносто восьмого года Гакк отправляется в Вену, где самые сильные люди Европы состязались в подиумных тяжестях. С этих состязаний ведется счет европейским чемпионатам по тяжелой атлетике среди любителей. На том первом чемпионате побеждает австриец Вильгельм Тюрк. Гакк довольствуется третьим местом. Еще не существует деления по весовым категориям — все соревнуются в одной группе. Собственный вес Тюрка 120 килограммов, Гакка — 89. Разница, по нашим представлениям, чудовищная. Впрочем, в синкождении Гакк не нуждается. Его уже ждут и мировые рекорды и славные победы на ковре.

После одного из самых представительных борцовских турниров в Париже, в сентябре 1899 года, пресса стала называть Гаккеншмидта «Русским львом». А 1901 году в Англии он уже с трудом находит противников, которые бы решились с ним бороться.

Американец Карпик — очень сильный борец — начал свои гастроли в лондонском Альгамбер-театре, лишь просыпаясь об отъезде Гакка. Карпик, как водилось в те времена, высыпал на арену всех, готовых помериться с ним силой. Однако Гакк еще не уехал и как обычный зритель, купив билет, отправился со своим товарищем на выступление Карпика. Когда американец бросил вызов публике, Гакк стремительно выбежал на арену, а его товарищ вышел за ним в пакете 25 фунтов необходимого залога. Карпик, узев Гакка, наотрез отказался бороться. В Альгамбер-театре поднялся шум: ведь американец сам высыпал любого на поединок. Карпик «победил» Гакка... с помощью полиции, которая под рев зала увела Гакка...

Равных на континенте «Русскому льву», как правило, величали Гакка, не было никого. И в 1904 году он отправляется в Австралию, где тоже, несмотря на нью-йоркском «Медисон сквер-гардене» Гакк добивается победы над чемпионом США Томом Дженкинсом.

«Я бы положил его гораздо скорее, — пишет Гакк, — но несколько раз, когда я его крепко схватывал, он становился бледным, как полотно, и так как я боялся повредить что-нибудь у него, я его снова высыпал...»

В этом турне по США и Канаде Гакк укладывает на лопатки и всех других знаменитых борцов...

Я закрываю книгу Георга Гаккеншмидта. На обложке в прямоугольничке ее цена: 1 рубль.

Внезапно с удивительной ясностью вижу себя в лондонском «Скала-Театре». Операторы «Би-Би-Си» свернули кабели и увезли аппаратуру, но в воздухе еще стоял запах подгоревшей краски. Он смешивается с запахами растворок, табачного дыма и пива. Уже разбрелись репортеры и знатоки, от которых всегда тесно кулисами. Торяются в автобус спортивные и тренеры. Браззаку, громко хохоча, проходит финн Калайяри-младший — рекордсмен мира, отчаяннейший из турнирных рубак. Медленно вышагивает высоченным роста господин с застывшим продолговатым лицом — это «пятирогий» американской тяжелой атлетики Роберт Гофман...

Рядом с Гаккеншмидтом — его жена, маленькая, изящная. А Гаккеншмидт действительно элегантен в своем черном строгом костюме.

— Вас очень помнят у нас, — бормочу я. — Я не превышаючилю — это так! Вас помнят...

Гаккеншмидт напряженно вслушивается. Он не сразу схватывает смысл моих слов. И вдруг, улыбаясь, закидывает голову — это его характерный жест!

— Даэво, как это было давно! — И, раскланиваясь, говорит:

— Надеюсь, увидимся вечером. — Он произносит слова с большим акцентом...

Смотрю ему вслед. У старика очень мощный kostяк, шея по-борцовски широко и крепко держит голову, но особенно впечатляет его грудь, когда он поворачивается и еще раз раскланивается. Она раздвинута и выгнута чисто по-таккеншмидтовски (теперь, наглядевшись на фотографии молодого Гакка, я прежде всего отмечал в своем сознании эту подробность).

А вечером перед банкетным залом одного из лондонских ресторанов Гаккеншмидт дарит мне ту свою фотографию и копию телеграммы Краевского.

«Го Высокородно. Георгию Георгиевичу Господину Гаккеншмидту. Всемирному Атлету Любителю. Москва. Тверская, Пассаж. Постниковой. Атлетическая арена баронессы Кистер.

Санкт-Петербург. 4.II.1898. Георгий Георгиевич! Поздравляю Вас с Вашим Новым Всемирным рекордом. Вы выжали одной рукой двести восемьдесят два и $\frac{3}{4}$ фунта, как я вчера узнал. Вас вдохновила Москва. Да здравствует победитель Всемирного Сандона. Честь и слава России! Вам обожатель доктор Краевский».

В тот день, 4 февраля 1898 года, в Москве Георгом Гаккеншмидтом был установлен первый — и не только в тяжелой атлетике, а вообще первый! — мировой рекорд в истории русского спорта.

Рассказываю Аптекарю, что написал в «Юности» о Гаккеншмидте.

— А знаешь, он ответил на мое письмо, — говорит Маша.

— У тебя есть письмо Гакка?

— Я списал его адрес с визитной карточкой у тебя на столе после своего возвращения из Лондона. — Он подходит к шкафу, достает папку. — Вот оно, это письмо.

«...Я был в Юрге, когда Доктор умер, — разбираю я мелкий неровный почерк Гаккеншмидта. — Мне посыпали телеграмму, и я немедленно возвратился в Петербург...»

Это он пишет о Краевском. В начале зимы 1900 года Краевский сломал ногу на Лайтенном мосту и, пропав около шести месяцев, 1 марта 1901 года умер.

Уже нет в живых и Георга Гаккеншмидта, прозванного «Русским львом». Он скончался в Лондоне 19 февраля 1968 года на девяностом году жизни.

Поклон тебе, Великий Гакк!



умел, бурлил, хохотал город... Катились по улицам раскрашенные старые автомобили: окунались в первоапрельское Черное море «моржки», одному из которых исполнилось восемьдесят четыре года (!); дети терзали цветными мелками асфальт вокруг Воронцовского дворца, соревнуясь на звание лучшего художника одесских панелей; одесский таксист-ас Ефим Выдомский спускался по знаменитой Потемкинской лестнице на новом для этой лестницы средстве передвижения — своем верном «Запорожце», улучшая рекорд Сергея Уточкина (мотоцикли, 1903 г.) и Ярослава Харечко (лыжи, 1975 г.); и даже в зоопарке проводился веселый праздник — день открытых зверей. Первого апреля вся Одесса пре-

ТЕАТР В ПОДВОРОТНЕ



вращается в огромную сцену, на которой разыгрывается веселое представление с песнями, плясками и автогонбами. В этом году представление носило название «Юморина-76». Декорация спектакля шикарна: море — как настоящее, дома — будто взаимоувязанные, деревья — от подлинных не отличишь... Собственно, все это действительно настоящее, взаимоувязанное и подлинное, но в дни праздников и на море, и на дома, и на деревья мы смотрим новому. В будние дни все это со страшной силой несет мимо нас, потому что мы несемся мимо — кто в школу, кто в институт, кто на работу, кто в магазин, кто к

Фото Ю. РОСТА.

портному... Геродакие достопримечательности мелькают как ориентиры, указатели, путевые знаки, обозначая наш суетный путь куда-то или откуда-то. И вдруг в один прекрасный день все остановилось, замерло, и мы зачаровано и не смея рассмотревшим это, как в театре рассматривают декорацию в той чудной мири, когда занавес уже раскрылся, а действие на сцене еще не началось.

И вот началось...

Мальчик, проезжая на велосипеде по одесской улице Слук Жанны Альбярд, завернула подворотню дома № 6 в тяжел во двор. Тот ли к знакомой девочке он приехал, то ли мама прислая взять у жильцов первого этажа постного масла взаймы... Не знаем. Но факт, что мальчик, спешивший со своим велосипедом, остановился посередине двора в течение часа так и стоял не двинувшись с места. То, что он увидел перед собой, загинотировало его.

Посреди двора на бетонном возвышении, которое является частью контрафорса, подпирающего откос, стояла смешной человечек в плясне и расстегнутой жилетке, под ногами у него ворчалась тонконогая собачка-шиц, по левую руку от него стояла девочка, по правую — точно такая же, так что казалось, в глазах двоятся, а третья девочка, в роскошной широкополой плясне с цветами, кормила того человечка манной кашей с бло-дечкой! При этом человечек болтал: «Говорят, в Англии выпадла рыба, которая сказала два слова на таком странном языке, что ученые уже три года стараются определить и еще до сих пор ничего не открыли». С одной стороны, вроде бы обычный городской сумасшедший в обычном одесском дворе, а с другой — стоят вокруг люди и благоговейно смотрят на бетонное возвышение, как на сцену в театре... А вся штука в том, что и то и другое имело место — в одесском дворе среди бела дня давали «Записки сумасшедшего» Николая Васильевича Гоголя, между прочим, именно в день рождения последнего. В главной роли — актер Одесского театра миниатюр Игорь Кнеллер, в ролях — актрисы того же театра Людмила Сафонова, а также сестры-блондинки Елена и Дина Шойб. Поставлен спектакль был режиссером Евгением Ланским.

Ах, какое это чудо — театр! И как легко он сограждается с жизнью, движется рядом, втекает в нее, впускает жизнь в себя.

На галерее второго этажа вышла погулять девочка лет шести и, облокотившись о перила, стала

смотреть, что происходит внизу во дворе. Актер сразу почувствовал благодарного зрителя и стал девочке — ей и только ей! — рассказывать историю петербургского чиновника, «чтобы я ехала перед ним — никогда! Какой он директор? Он пробка, а не директор. Пробка, обыкновенная, простая пробка, больше ничего. Вот которого закупоривают бутылки». Девочка же на галерее засмеялась.

Во время другого монолога из одной квартиры выбежала собачка и стала лаять на титулярного советника Поприцина. Он — слово, она — гав! Он — еще слово, она — опять — гав!. Так и перегуливались, кто кого. Победило искусство: собака поняла, что соперника не дожмет, и убежала обратно в свое жилье.

Из подвала вышли две женщины, с хозяйственными сумками, пересекли двор и направились к арке, ведущей на улицу. «Постойте!» — позвали себе вольность в тексте Гоголя Игорь Кнеллер. Та, что шла сзади, обернулась и крикнула то, что шла впереди: «Наташа, тебя зовут?» Наташа остановилась. «Задрая в семь часов совершилось странное явление: земля сидет на луну!» — таинственно коведал ей Поприцин. «Да на вас! — добродушно отмахнулась Наташа и двинулась дальше. «Об этом и знаменитый английский химик Велингтон пишет!» — в отчаянии закричал ей титулярный советник. Но Наташа и ее спутница и слушать ее стали ушли.

И один дверей в другие по галереи мать-старуха и ее великовозрастные сынови переносили какой-то предмет мебели. У них были свои дела. На то, что происходило внизу, они не обращали никакого внимания. «Заноси его углом вперед... Утром, говорю! А теперь на попа, на попа...» И оять Гоголь винчут не пострадал. Напротив, реплики, подаваемые с галерей, лишь добавили реальности театральному действию во дворе, оттеняя здорошим бытом печальный гоголевский текст...

И еще — сближение великой литературы с жизнью происходит так безболезненно, потому что великая литература тоже есть жизнь, самая настоящая жизнь, несмотря на то, что события, в ней описанные, происходят порой «Мартгора 86 числа. Между днем и ночью»...

Когда журналисты, аккредитованные на «Юморине-76», разъезжались по домам, корреспонденты «Антитоп-Гн», сатирического отдела газеты «Вечерняя Одесса», спрашивали каждого, как он представляет себе «Юморину-77». Я ответил, что считаю в корне непр-

вильным приглашать на праздник смеха и веселая смешливых и веселых людей. Какой смысл? Им я так хорошо в любом городе. А вот если собрать в Одессе угрюмых, мрачных и пусты поклонят нескользко дней в гуще веселы, среди жизнерадостных людей, пусты как следует заразиться и разъедутся по домам поздоровевшими, со счастливыми улыбками на разгадавшихся лицах!

А если серьезно — хотелось бы, чтобы «Юморина» будущих сезонов превратилась, кроме всего прочего, в событие театральное. Город Одесса в день смеха — идеальное место и время для весеннего фестиваля комедийных спектаклей. Собственно, в этом году мыни-комедийный фестиваль уже состоялся. В рамках «Юморины» выступил Одесский театр миниатюр, в котором блестали писатель-юморист М. Жванецкий, актеры Р. Карцев и В. Ильченко; эстрадные артисты Москвы, Ленинграда, Киева оккупировали две главные площадки города — Дворец спорта и зал филармонии; очень интересный спектакль показал Театр Беседых и Находчих по «Глубокой книге» Михаила Зощенко, поставленный режиссером Олегом Станкевичем... В общем, если уж в Одесском зоопарке устроили «ЗооМорину», то «Театроморина» в Одессу просто просится.

В. СЛАВКИН



КЛОУН КУКЛАЧЕВ И ЕГО КОШКИ

фото
Г. ПИНХАСОВА



В начале века знаменитый Анатолий Дуров выезжал на цирковую арену верхом на свинье. Молодого клоуна Юрия Куклачева вывозят на легкой тележке... кошки.

А ведь кошка, как до сих пор считалось, не поддается дрессировке. Однако кошки Куклачева не только выполняют различные трюки — сальто-мортале, колесо, стойка на передних и на задних лапках,—но и участвуют в сюжетных аттракционах.

На арену нового московского цирка, что на проспекте Вернадского, выбегает наш клоун в зеленом с цветочками пиджаке и в поварском колпаке. Он пеесет дымящийся чугунок со щами. За по-

ясом у него большая деревянная ложка. Но когда Куклачев, обжигая пальцы, сбрасывает с чугуна крышку, то обнаруживает в нем... кота, который довольно облизывается и мяукает. А где же щи? Когда же незадачливый повар начнет выдергивать кота из чугуна, тот начнет с яростью тигра гоняться за ним по арене.

Клоун Куклачев умеет не только дрессировать кошек, он хороший мим, акробат, мастерски jongлирует шестью предметами, ходит по проволоке. Но сами понимаете, что говорим мы прежде всего о кошках. Я спрашивываю, как пришла ему в голову эта идея — дрессировать кошек?

— Случайно, — говорит Юрий. —

В семьдесят втором году в Черкассах после представления я решил немного прогуляться. Иду по скверу и вдруг слышу, как кто-то жалобно попискивает в кустах. Раздвинув ветви, я увидел ободранного, мокрого и голодного котенка. Я подобрал его, принес в номер, накормил и высушил, как руканицу, на батарее. Наутро жалкий котенок оказался вполне симпатичной кошечкой, которую я назвал Стрелкой. Она провожала меня, когда я уходил из дома, и встречала, когда возвращалась. Она прыгивала ко мне на плечо и терлась о мое большое ухо. Мы частенько играли: я, Стрелка и собачка Пашет. Когда собачка крутила сальто-мортале, кошечка с

интересом наблюдала за ней. Скучки ради я решил научить разных трюкам и Стрелку, чтобы было чем при случае развлечь гостей. Кошка оказалась на удивление понятливой. Работала она не за почапки, а играючи. Она научилась сальто-мортале, стойке на задних лапах. Я стал показывать Стрелку гостям, и небезуспешно. Тогда-то и родилась идея вынести умную кошку на арену. Остальные кошки, которых я вскоре набрал, стали работать под ее руководством.

— С кошками все ясно. А как ты сам пришел на арену?

— Как я докатилась до клоунской жизни, ты хочешь сказать? Еще в школе у нас в классе сложилась компания веселых ребят. Острили по всяком поводу и сами смеялись первыми. Я веселила класса по-иному: отвечая у доски уроки, невольно помогала себе мимикой и жестикой. Что-то в моем лице было такое, что не только ребята, но и учителя просто покатывались со смеху. Понапацу я злилась, что меня тоже принимают за хохмача, а потом привык к этому и даже стал подумывать о своем необычности. А после четвертого класса я впервые попад в цирк. В старый московский цирк — на Цветном бульваре. Какой-то аддик предложил мне дешевый билет, я на ощупь подсчитал в кармане свои копейки и взял билет. Этот случай решил мою судьбу. Год за годом пытался

я попасть в цирковое училище, но мне отказывали. То комиссию не устраивали мои мышцы, то я не казалась смешной.

— Но ты все же попала в цирковое училище...

— Да, но сначала, не зная, гудя себя деть, я поступила в полиграфический техникум. Там у меня появился дружок, с которым мы не раз сбегали с последних лекций в кино. Но однажды он отклонил мое традиционное предложение, сказав, что спешит на репетицию в цирк. «В какой цирк?» — обрадел я. «В народный. В клубе «Красный Октябрь». Сердце у меня так и подпрыгнуло: «А мне можно в репетицию?» «Валяй, там всех принимают». К этому времени я самостоятельно научился жонглировать зонтиками и стоять на одной руке. Я сбегал за зонтиками, и мы отправились в клуб. Михаил Михайлович Зингер, руководитель народного цирка, посмотрел мои «номера», посоветовал со мной и велел приходить каждый день. Я обязал Зингеру хорошей школой. Он научил меня ходить по проволоке, балансировать на пляти катушках, летать на трапеции, крутить сальто-мортале, взбрыкаться на волынготяющую лестницу, жонглировать шестью предметами. В 1967 году я стал лауреатом Всесоюзного смотра народных цирков. И в том же году меня наконец признали в цирковое училище на отделение кло-

увады. Однако кто знает, как бы сложилась сегодня моя артистическая судьба, если бы я не посыпалась со Стрелкой.

— Расскажи историю пожара «Кот и повар».

— Когда от трюков мне захотелось перейти к скюкетному номеру, Стрелка сама подсказала, как это сделать. Однажды я пришел домой довольно поздно и был удивлен, что Стрелка не встречает меня, как обычно, у порога. Не раздеваясь, я стал ее искать, звать. Заглянув в темные углы, под кровать, но кошки нигде не было. Наконец, я нашел Стрелку на кухне — в чистой эмалированной кастрюле, которая стояла на плите. Стрелка спала там, свернувшись в клубок. Я взял ее за шиворот и опустил на пол. Но на лице у меня, по-видимому, была такая улыбка, что кошка повела себя, как проказливый ребенок, который знает, что ему все сойдет. Она вспрыгнула на табуретку, потом на плиту и вновь забралась в кастрюлю. Так что мне осталось лишь доработать, отшлифовать этот номер. Сейчас я готовлю новые номера с кошками. Придумал несколько самостоятельных аттракционов. Думаю, что руководство Госцирка меня поддержит. В конце концов я ведь не кот в мешке предлагаю...

Александр ЮДАХИН

Весной прошлого года неожиданно-негаданно попал я на праздник медведя в далекую хантыйскую деревню. Медведя еще осенью добыл хозяин дома Алексей Степанович Моданов и берег голову зверя вместе со шкурой до весны, до возвращения охотников из тайги. И вот в избе собрались гости — веселились, пели народные песни, танцевали. Невольно вспомнились слова хантыйского поэта Микуля Шульгина:

Громче, друг!
Шире круг!
Посмотря,
В рубахи, красной
Вышел парень —
Сокол ясный!
На лице у парня маска.
Вот он топнула, как медведь,
Это я вам медвежьи пляски!
Надо топтать и реветь.

На все это веселье смотрел медведь. Он присутствовал на празднике, его голова и шкура лежали в самом центре, где и положено быть виновнику торжества.

Для всех это было не просто веселье. По старым преданиям, при-

ПРАЗДНИК МЕДВЕДЯ

существующие на празднике становятся для медведей близкими знакомыми, а это придает смелости при встрече с топтыгыном в тайге. Потому что убегающий чело-

век жалок, и таких медведи презирают. Будь смел при встрече, чувствуя себя хозяином, и медведь уступит тебе дорогу, а если уж он намерен напасть на человека, то прими бой, ибо в тайге от косолапого не убежишь. Так считают старики ханты, а они таежники опытные...

В самый разгар праздника ко мне подсел старый охотник Анатолий Тимофеевич Багатов:

— В старину все на цирк выглядело. Праздник медведя должен быть похожим на маскарад, а здесь — ни одной маски. И наряды самые обычные. Где оранжевты? Их нет. Некому делать... — с горечью констатировал он. — Молодые за современной модой гоняются. Старые, стыдясь, прячут платья по сундукам. А ведь это наше, национальное...

Я вспомнил праздник медведя в пригородном поселке Питляр. Из темноты сеней на меня смотрели маски с удивленными лицами, с раскосыми глазами, серые зены в своей неподвижной торжественности. Они были вывешены на стенах



ского поселения. Ахкуратно срубленные домишкы разбежались по зеленому косогору, рядом «изубики на куриных ножках» — амбары на стойках. Тишина, чистота, и улица покрыта совсем невытоптаным свежезеленым ковром травы-муравьи. О чистоте и музейной парадности подумали сами селяне: на поселковом Совете постановили запретить тракторам заезжать в хантымском поселении и уберегли улицы от грязи...

У окраины деревни, при выходе в лес, стоит вырубленный из дерева идол, но не обычный безжизненный идол, какие иногда встречаются в северных лесах Приобья, а обобщенный образ старика-леса, который простер к небу руки-сучья, и его искаженное от боли лицо молит о пощаде.

Скульптуру эту вырезал Хартаганов, национальный художник, который работает у себя в поселке плотником, а в свободное время занимается резьбой по дереву. Его работы: маски, идолы, мелкие, похожие на амулеты поделки из дерева — все это традиционный жанр для народов Северного Приобья. Но... традиционная национальная скульптура статична, а Хартаганов вводит в свои произведения движение, пластику, создает сюжетную композицию.

— Как-то на творческом семинаре в Салехарде, — вспоминает Хартаганов, — сделала я работу, назвала «Строганница». Сильно наклонила фигуру человека, чтобы чувствовалось напряжение. Участники семинара возмущались: дескать, в жизни так не бывает. Но именно она попала в Москву на выставку. Сейчас эта скульптура находится во Всесоюзном доме народного творчества в Суздале.

Службу в армии Хартаганов проходил под Ленинградом. После армии работал на строительстве нефтепровода Усть-Балык — Омск, вначале плотником, потом бетонщиком в комсомольско-молодежной бригаде. Вернулся домой и прирос к родному поселку. Здесь черпает темы для скульптурных композиций, и прообразами ему служат земляки.

Генниадий выспаршивал у старииков, как раньше с рогатиной на медведя ходили. И создал композицию «Охота на медведя». Я видел ее у Хартаганова. Перед охотником стоял не плюшащий мышка и не зоопарковский, стиснутый клякст, а мешковатая глыба, из которой выпирает чудовищная сила. Именно таким и предстает перед человеком медведь, если его



не ведут на ошейнике, а встречают в тайге с глазу на глаз. Может, анатомически он выглядит и не таким мощным, но попробуйте-ка встретиться с ним в лесу один на один, и воображение вам дорисует именно такую глыбу...

— Как-то передали мне кусок липовой доски, — вспоминает Хартаганов. — Первый раз я с таким мягким материалом встретился, у нас липа не растет, и за три часа вырезал скульптуру «Эдэйка танцует».

Эдэйка — герой книги немецкого поэта Леонида Лапцца. Эта работа потом попала в Москву в Манеж на выставку «Слава труду». После этого скульптуры «Эдэйка танцует», «На охоту» и «Старик» побывали на международных выставках в Польше, Чехословакии и ГДР.

Наверное, не многим художникам сопутствует такая удача: всего четвертый год занимается резьбой по дереву Хартаганов, а его работы уже побывали на международных выставках и приобретены многими музеями.

Анатолий ПАШЧУК

Фото автора



ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КРИЗИС

Мы, как обычно, болтали с утра о том, о сем, а проф-группор наш Слава Михайлов читал газету и вдруг как вскрикнет:

— Товарищи! Слышили, что сейчас творится в мире? Мир переживает, оказывается, энергетический кризис! А в это самое время мы в нашем отделе сидим, трепляемся, вот так, впустую, растрачиваем нашу энергию, разбазариваем ее, можно сказать...

— Да, — охотно согласились мы. — А что делать?

— А вот как было бы хорошо, — мечтательно сказал Юрий Газанчан, — вот сидим мы, говорим о том, о сем, а какой-нибудь приборчик эту нашу энергию в полезную преобразовывает...

— Все же советствует иногда, ребята, «и-бегу!» — вздохнула Клавдия Матвеевна. — Зарплату ведь получаем...

А Степан Евгеньевич, который нет-нет, а что-то все же делает, сказал:

— Но ведь я нет-нет, а что-то делаю!

— Правильно! — согласились мы. — Но в тот момент, когда вы нет-нет, да ничего не делаете, то не помешает, чтобы от вас польза была...

А Славка уже достал из ящика логарифмическую линейку и принял что-то высчитывать, вычерчивать...

— Заработал! — усмехнулись мы. — Задол!



Рисунок Е. КОРНИЛОВОЙ

Славка проработал весь день как проклятый и еще две недели после этого: возился с какими-то проводами, диодами, триодами... И в один прекрасный день приходим мы на работу и он нам объявляет:

— Друзья! Теперь нас не будет мучить совесть за беспечное потраченное время — несложное устройство, изобретенное мною, позволит всю энергию, затрачиваемую нами на утомительное сидение в отделе, преобразовывать в полезную... Пока что в электрическую... Поэтому не удивляйтесь, обнаружив на своих местах датчики. Я отключил нашу комнату от электросети, и с сегодняшнего дня мы целиком переходим на самообслуживание. За Клавдию Матвеевной закрепляется электроплитка! Виноградова подключена к потолочному вентилятору. Пиников к вязанию! Я взял на себя автомат газированной воды, что на нашем этаже, а все остальные подключены к манипулю — будут обслуживать электрические машины «Оптима!» Степан же Евгеньевич, поскольку цикл его не изучен, подключен пока к контрольной лампочке...

Сеан мы на своем места, стали рассказывать, как обычно, новости, просмотрели газеты — и все у нас нормально: вентилятор потолочный кружится, витязка работает, в коридоре газировочный автомат посыркивает, за стеклом стучат «Оптимы!»...

Клавдия Матвеевна поставила чайник на плиту и не успела до конца рассказать про скандал с соседкой, как чайник уже вскипел. Намного быстрее, чем обычно.

А у Степана Евгеньевича контрольная лампа то засветится, то погаснет, а то дрожит тихонечко волосок, и не поймешь, накаляется он или нет...

В конце дня похвалили мы Славу:

— Молодец! Выучил нас... Теперь хоть совесть чиста: ведь как никак энергию государственную экономим, пользу, значит, приносим!

А на следующий день забежал к нам Оськин, инженер-конструктор из соседнего отдела. Увидел, как моментально у нас чайник вскипел, и говорит:

— Нужно подключиться к вашей линии, а то у нас целый день приходится ждать, пока чайник вскипят!

— Нет уж! — распухнула вдруг Клавдия Матвеевна. — Буду я еще чужие комнаты обслуживать, как же? Да ваша Таня Голенищева не то что чайник — ведро за сей-кубиду вскипятит! да и ты, Оськин, если на то пошло — иди сядь на мое место и на стаканчик кругого кипятку запросто себя нагорючишь!

Оськин, ничего не понял, выскочил из отдела, а Слава Михайлов пригрозил ехать к Клавдии Матвеевне:

— Поймите, если другие отделы будут кипятить воду на нашей энергии — это оять же большая экономия! Я уже все подсчитал: 1 киловатт-час электроэнергии, по-

множенный на сотрудников нашего института, — это 120 кг хлеба, 2 т цемента, 20 пар обуви. Представляете?

— Ладно, — согласилась Клавдия Матвеевна, — только пустяк здесь кипятят, а подключатся на стороне я ни за что не позволю!

А через несколько дней, когда Славы не было в отделе, Клавдия Матвеевна пожаловала нам:

— Устрою я, ребята! Шутка ли — до 30 чайников в день кипят! Как вижу, до какого каления пакетка разогревается — у меня на первной почве краининица высыпает...

Раньше трещали эти «Оптимы», — поддержал ее Юрий Газанчан, — я и не слышал их, честное слово... А теперь, как по сердцу, как по сердцу! Ведь на нашей энергии работают...

— А такой пропеллер крутишь, думаете, просто? — кивнула на потолочный вентилятор Былоградова. — А после работы еще дома дел полю, дочка — школьница...

— Вот Степану Евгеньевичу хорошо, — сказал я. — Последний чутч-чуть своей лампочкой и все, шагай!

— Да и светит-то как! — склонно добавил Пищиков. — Болосос на лампы еле краснеется, дунешь — погнухти! Разве это работы?

— Слушай, Славушка! — взмолилась Клавдия Матвеевна. — Отключи ты меня от этой плитки... Не могу я — сил больше нет... Я уж лучше работать буду, честное слово!

Да и мы все ее поддержали:

— В самом деле — нет ведь у вас в стране энергетического кризиса, чего же мы нарываемся! Лучше уж будем вкалывать, согласно штатному расписанию, согласно специальности!

Уговаривали, короче, нашего профгруппорда. Отключила он нас от своей системы. Только у Степана Евгеньевича попросили мы оставить контрольную лампочку, чтобы можно было изучить его загадочный цикл. На всякий случай... В самом деле, как у человека так получается: то засветится лампочка, то погнухти, а то дрожит тихонечко волосок, и не понимай, горит он или нет...

Виталий БАБЕНКО

ДУЭЛЬ



Кузьмичу пощечину, которой тот явно заслуживал.

В это время по ступенькам, крутя ногами, поднимался человек по имени Петюшок. Он крутил ногами по той же причине, по какой Кузьмич молчал и не смотрел по сторонам, то есть боялся упасть. А поднимался он по эскалатору потому, что перепутал его с другим — тем, который поднимается вверх сам.

Стало быть, означенный Петюшок достиг Кузьмича и внимательно посмотрел на него. Петюшону тоже показалось, что женщина, которую все еще целовал Кузьмич, стоявший на две ступеньки выше, не просто женщина, а его жена и ее нужно защитить. По этой причине он остановился, но не упал, потому что ухватился за женщину.

Петюшон сделал это с полным правом, так как считал ее своей женой, и сказал Кузьмичу несколько слов, отчего тот перестал целовать женщину и тоже сказал Петюшону несколько слов, потому что упасть уже не боялся.

Факалаторы метро шли вверх и вниз. На том, что ехал вниз, стоял человек по имени Кузьмич и смотрел прямо перед собой.

Он молчал, потому что надо было смотреть прямо перед собой, а если бы он стал смотреть по сторонам и разговаривать, то мог бы упасть.

Впереди монументального Кузьмича стояла женщина, которая, кстати, могла свободно смотреть по сторонам и разговаривать, но не делала этого, поэтому имени ее никто не знал.

Теперь так. Виновительный Кузьмич, опять же молча и не смотря по сторонам, нагнулся вперед и звучно подсоловил женщину в затылок. От этого он сизнова мог упасть, потому что женщина стояла на две ступеньки ниже, но Кузьмич обхватил женщину руками и не упал.

Он сделал так потому, что женщина показалась ему не просто женщиной, а женой, которую нужно было притолубить и обласкать, чтобы она не подумала плохого.

От неожиданности женщина настолько обомлела, что забыла дать



Рисунки
И. ОФФЕНГЕНДЕНА.

Женщина смущалась и покраснела: понятно, слабому полу всегда льстит, когда за его достоинство вступаются мужчины.

— Не думаете ли вы, милорд,— в общих чертах сказал Петюшин Кузьмичу,— что благородный человек может пребывать в стороне, лицезрея, как познакомец любзает его спутника на глазах у достойного собрания? Если вы убеждены в том, что происходящее остается в рамках законности и морали, я готов доказать вам сию минуту и на деле, как глубоко вы заблуждаетесь.

Вокруг Петюшина и Кузьмича образовалось свободное пространство, так как публика расступилась, полагая, что в поединке за честь дамы должны участвовать только двое.

— Прекрасный сир! — условно говоря, сказал Кузьмич Петюшину. — К чему такие раци? Уж коли вам недостает утиности и деланитости, дабы лицепрятно изложить свои претензии человеку высокого звания, возьмите на себя труд быть менее многословным.

Теперь так. Женщина, которая не была ни женой Петюшина, ни женой Кузьмича, решила, что для развития спора она больше не нужна, и поспешила высвободиться из объятий Кузьмича, который давно уже разговаривал и потому мог упасть действительно упав, но к ногам Петюшина. Петюшин, который от разговора забыл крутить ногами и тоже мог упасть, опять же действительно упал, но на Кузьмича.

— Презренный тати! — примерно в таком духе вскричал Петюшин. — Сызран ли, чтобы среши бела дия кавалер вел себя столь неподобающим образом? Я требую немедленной сатисфакции! — Он попытался снять с руки перчатку, но за неимением последней и вообще по ошибке снял туфли и удрил ею по лицу Кузьмича.

— Гнилый смерд! — выражаясь фигурантально, возопил Кузьмич. — Ненесенное вами оскорбленико можно смыть только кровью. Я принимаю вызов. Будем драться без секундантов, на шести шагах и через платок. — Он полез за платком, но спутал свой карман с петюшинским и отодрал тому полу пиджака.

— Да не буду я сыном своей престарелой матери и братом своей непорочной сестры, если не лишу супостата жизни и не восславлю себя тем присно и во веки веков! — так можно передать смысл слов Петюшина. Он схватился за оружие, а не найдя такового и об-

ретя под рукой авоську Кузьмича, что есть силы хватил ею по голове противника. Голова разлетелась на мелкие осколки, потому что авоська была не пустая, а с бутылками. Оказалось, однако, что была не голова, а светильник эскалатора, медленно упавший вверх.

— Как?! — иносказательно изумился Кузьмич, захляхься под Петюшиным. — Моним же доспехом и мне же по чули? — Он тоже подумал, что разлетелся его голова. — Нет, милостивый государь, истинно: не быть живыми нам обсюм! — и пырнул врага кинжалом в живот.

Дальше вот что. Кинжал случился расческой, выпавшей из разорванного кармана Петюшина, а по причине тесноты угоди ею Кузьмич в живот не Петюшина, а свой, и подумал, что убит. Поэтому закричал он, если вдуматься, следующее:

— Не взыщите, христиане! Понеже кончався я от руки отребья низкого и честь мою почтюю долгом передать высшему суду, да падут стены храма сего на обидчика! — Здесь Кузьмич извернулся и крутанул ажскую машинку, которая оказаласьцепонитного ему назначения ручкой, и эскалатор остановился.

Публика привычно зароптала, а некоторые неосторожные даже повалились на вражахующих. Тут Петюшину с Кузьмичом привиделось, что стены и впрямь рухнули на них, и оба испустили дух.

Они испустили дух до утра, потому что утром между ними произошел такой разговор.

— Эта... — грустно поделился Кузьмич с Петюшиным, обозревая скучное помещение, которое никак не могло оказаться его квартой. — Вчера-то... тово... а?

— Тонься, опять же... — уныло вздохнул Петюшин, разглядывая дверь, которая тоже не была дверью его комнаты, потому что он свою никогда не обивал железом. — Эвон чего... Не то, стало быть, знаешь как?.. То-то...

— Ну, ты скажешь! — печально изумился Кузьмич. — Прямо вроде это... здорово-живиши.

— Еще бы! — горестно вскинулся Петюшин. — Раз — и готово. Вот, мол, каково... И все деля...

— Ну, значит, так тому и быть, — тоскливо подвел итог Кузьмич.



МЕЖДУ НАМИ, ХОЛОСТЯ- КАМИ

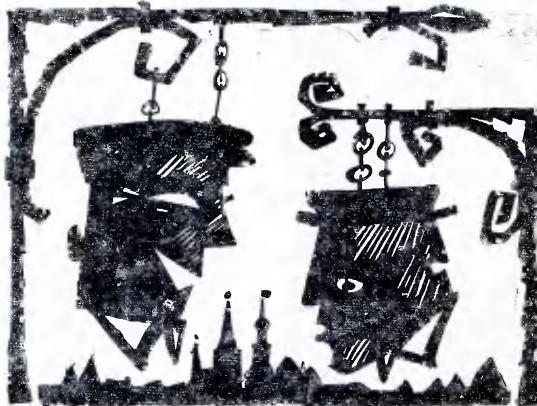


Рисунок О. КОККИНА

— **Ч**ы знаешь Магдалену? — спросил Теодор.

— Эту тихоню? Знаю...

— А что ты о ней знаешь?

— Ну, что конспекты у нее замечательные. Однажды перед экзаменами зашел к ней одолжить конспекты...

— И получил конспект? — ехидно пронтересовался Теодор.

— Получил.

— А что было дальше?

— Дальше?

— Ну давай, давай, рассказывай!

— Отдал конспект.

— И это все?

— А что же еще?

— Идиот!

И Теодор, понизив голос, рассказал мне волнующую историю. О себе и Магдалене...

— А Катрин ты знаешь? — спросил затем Теодор.

— Как же мне ее не знать! На предыдущем курсе она жила в нашем общежитии и несколько раз приглеждала меня к себе.

— Не может быть!

— Почему не может быть? В общежитии я считался специалистом по проблемам.

— Ну и как же ты их вышибал?

— Не вышибал, а чинил. Речь идет об электрических пробках.

— Ага, значит, полный интим — темно и страшно.

— Когда я приходил, было именно так.

— Ну, а ты...

— Ну, я залезал на стул, починаял пробки, и становилось светло.

— Идиот!

И Теодор взахлеб поведал мне головокружительную историю. О себе и Катрин...

— Ну, а Женни тебе знакома? — обратился ко мне Теодор после некоторой паузы.

— Ты имелешь в виду Женни Рэмплен? С ней мы почти год работали вместе да и в одном ансамбле пели.

— Ну, и спелись? — хихикнул Теодор.

— Да как-то не успели.. Однажды я заменил ударнику и вывихнул руку, пришлось оставить самодеятельность...

— И тогда Женни тебя оставила тоже?

— В том-то и дело, что нет! Женни сама пришла ко мне домой, спросила, что принести из магазина?

— Ну, а ты, весь такой мужественный, лежишь в повязках и говоришь: «Коняк и сыр».

Ну, еще разве что пачку сигарет «Филипп Моррис»...

— Ты что?!

— Значит, пили водку и курили «ТУ-104»?

— Ничего мы не пили и не курили! Вообще неловко как-то получилось с ее визитом. Я лежал в постели, в пижаме...

— Ну, я дальше, дальше-то что было? Не толи..

— Извинился перед девушкой, что у меня только одна комната и что негде переодеться, ну, и вообще.., поблагодарил и попрощался.

— Что?!

— Поблагодарил. И попрощался.

— Держите меня!.. И ты что, вот так прямо сказал: «Спасибо» — и она ушла?..

— Ну да. Разве вежливый человек может не поблагодарить?

— Идиот!

И Теодор с горящими глазами рассказал мне сумасшедшую историю. О себе и Женни...

Отдышавшись, он еще что-то вспомнил:

— Слушай, Лия просила тебя навестить ее сегодня. Ты ей какую-то книгу дать обещал.

— А, да...

Между прочим, Лия просила тебе передать, чтобы ты пришел пораньше, потому что она боится темноты. Поди, мол, узнай, что на уме у этих холостяков. Так что, если ты утром опоздаешь на работу, я чего-нибудь придумаю для нашего шефа. Час!

И вот тут я, откровенно говоря, испугался. Как пить дать этот Теодор что-то насочинил про меня! Иначе с чего бы ей меня бояться?..

— Лия, — сказал я на всякий случай, когда явился к ней, — ты только не бойся. Я сейчас отдаю тебе книгу и сразу же уйду.

— Знаешь, кто ты? — сказала мне Лия. — Ты такой же идиот, как и твой дружок Теодор!

Перевел с эстонского
Григорий ЯБЛОНСКИЙ

г. Таллин.

Трешил звонок. Тревожно за-
мигала лампочка. Петелкин
вздрогнул и проснулся. На-
жал на кнопки: «Загрузка», «Пуск»,
«Выход». Зевнул. Посмотрел на ча-
сы и снова заснул.

Через некоторое время его
опять разбудил звонок. В том же
порядке он нажал кнопки и так же
уснул.

Ровно без пяти шесть он отключил
систему автоматического управ-
ления своим агрегатом — рабо-
чий день кончился.

По пути домой завернулся в пив-
ную-автомат — освежиться после
рабочего дня. Бросил. Петелкин двугривенный в автомат с над-
писью «Свежее пиво», тот хрюкнул и выплюнул пены на полкружки. Петелкин изо всей силы, наколпленной за трудовой день, трахнул ку-
лаком по железному корпусу.

Автомат захрюкал и замигал разноцветными лампочками. И вдруг табло слабо засветилось, там кривыми буквами было написано: «Треба доплатить!»

— Ах ты, спекулянт! — И Петелкин ударили его сильнее.

Табличка загорелась ярче. Петелкин оглянулся — пожаловался некому. Кругом одни автоматы. Доплачивать принципиально не стал и огорченный вышел на улицу без пива. Видит — на углу стоит такси. Вместо шофера в машине сидит электронное устройство и мигает зеленой лампочкой, мол, «свободен». Петелкин сел в машину, набрал код своего района, заплатил по тарифу стоимость проезда. Мотор чихнул, и машина поехала.

«Хорошо, — думает Петелкин, — а то б сидел какой-нибудь тип и цену себе набивал. Туда не поеду, туда далеко... Тыфу!»

Едут они так, едут, и вдруг ма-
шина затормозила и стала как вкопанная. Ни взад, ни вперед... А электронное устройство хрюкает и нагло мигает кривой табличкой «Треба доплатить!». Возмущенный Петелкин хотел принципиально выйти, а дверь не открывается и током бьет.

— Чертова кибернетика! — вы-
ругался он и бросил в автомат руль. Электронное устройство проглотило его без всякого зазре-
ния кибернетической совести, но током не погасла.

Петелкин дрожащей рукой вы-
нул токр и затолкал в автомат. Машина рванулась и понеслась по автостраде.

— Грабители! — буркнул Петел-
кин.

Автомат щелкнул — и на табло
вспыхнуло: «Берегите нервы!»

«Треба доплатить!»



Наконец Петелкин добрался до-
мой. Усталый и злой. Решил при-
нять душ, чтобы успокоиться. От-
крыл кран — воды нет. Опять не-
везуха!.. Позвонил в техническую
службу. Через несколько минут в комната вползло паукообразное
электронное существо. Электронный
пучок обнюхал трубы. Разоб-
рал кран и вдруг замер.

— В чем дело? — гаркнул Пе-
телкин.

На «пачука» вспыхнуло кривое
табло: «Ганы магарыч!» — при этом
устройство захрюкало.

И тут нервы нашего Петелкина
не выдержали, схватили он подвер-
нувшуюся ему под руку швабру и врезал ею электронхалу прямо
промеж индикаторов.

«Пачука» растерянно заморгал
разноцветными глазками, пискну-
л и покорно принялась за работу.

Через несколько минут водопро-
вод функционировал нормально.
Но тут вдруг тревожно замигала
красная сисячья лампочка. «Па-
чука», взвыл сиреной, полез на
стену.

Дверь распахнулась, и в комната
решительно вошел районный сле-
парь Тушлаков в канадской дуб-
ленке, ондатровая шапка набек-
рень. В правой руке он держал
черменький коробок с антенной, в
левой — плоский чемоданчик типа
«дипломат».

Паукообразное электронное
устройство перестало реветь и,
повиснув на люстре, жалобно зам-
яукало.

— Поди сюда, — строго прика-
зали ему Тушлаков.

Оно послушно спрыгнуло и, иг-
риво виляя щупальцами, как са-
бака хвостом, подошло к нему.
Слесарь пощупал его, раскрыл че-
моданчик, вытащил оттуда гаечный
ключ, подвертев им что-то в «па-
чуке» и рявкнул: «Марш домой!»
«Пачука» взвыгнул и пулей выле-
тел за дверь.

— А с вас, гражданин, надо бы
еще штраф слушать за оскорбле-
ние техники физическим действи-
ем. — И слесарь небрежно бросил
в чемоданчик гаечный ключ. Че-
моданчик покачнулся и упал со
стула. Оттуда выпали паяльник,
гаечный ключ, щипцы, две отверт-
ки и несколько кривых табличек
со знакомыми словами: «Треба
доплатить!». Тушлаков нагнулся,
чтобы подобрать с пола свои
вещи. *

Петелкин снова схватил швабру,
замахнулся... И вдруг руки его
бесконтроля опустились. Сзади, на
спине Тушлакова, прямо на мод-
ной дубленке зажглись страшные
буквы «берегите нервы!».

Г. Нальчик.

В НОМЕРЕ

ПРОЗА

Ирина РАКША. А какой сегодня день? Рассказ	3
Иса КАПАЕВ. Вырежем... Рассказ	8
Эдуард БАБАЕВ. Рассказы	15

Валентин КАТАЕВ. Ливановы (Слово перед дебютом)	16
---	----

Василий ЛИЕВАНОВ. Агния, дочь Агнии. Сказание о скифах	18
--	----

Наталья ХМЕЛИК. Польские пластики. Рассказ	21
--	----

Илья ФОНЯКОВ. «Дни проходят, пролетают ночи...» Плитник. Баллада об энтомологе	24
--	----

Валентин СОРОКИН. Россера на облаке. «Я любил тебя ненавистью, без печали и боли...» «А в сентябре от ветра не согреться...» «И тебе, о ком я горевал...»	26
---	----

Леонид ГРИГОРЬЯН. Ночь в феврале. «Я друга узнаю — с намеком, с полуслова...»	29
---	----

Юнна МОРИЦ. Сезоны для Музы ровны. «Эй, да кто там в вишневом саду...» К стягнейной гравюре. «Эту ветку миндаля...» У ранской гитары. Песня о любви. Летняя ночь. О жизни, о жизни — и только о ней! Ночь гитары.	31
---	----

Анатолий КРАВЧЕНКО. «Теплее и прохладней дождик...» «Тридцатого мая, тридцатого мая...» «Этот свет ночных дорог...»	34
---	----

Станислав КУНЬЯВ. «Не бесплодны людские труды...» Песня Дениса Пасечника в более широком весенний аете...» Балладическая песня. «А что же он сделал, тот гений...» «Я люблю тебя, море, но знаю...» «Прощай, мой ненадежный друг...»	40
--	----

Дмитро ПАВЛЫЧКО. «Родное слово, что я без тебя...» Нива. Звезды. Перевел с украинского Л. Смирнов	44
---	----

Наталья АСТАФЬЕВА. «Смеркается, и розоватый...» «Могла бы давно я провалиться в ад...» «Вновь на дворе оживают...» «Ты огромный серым камнем...» «На привычном бодороджоне...» «Я оживала медленно и робко...» «Любовь, как зонтик, надо мнай раскрыта...» «Дорога еще далека...»	52
---	----

Владимир ЛЕОНОВИЧ. «Буксиручик, отрывисто воя...» «Сердце падает и бьется...» Сентиментальные стихи. «Квазы донька и дерево на гое...»	56
--	----

Маргарита НОГТЕВА. Из ноктюрнов титанов (К нашей вкладке)	60
---	----

Двести первый сезон (Театр)	61
-----------------------------	----

Борис ЯНЧУК. Кепел стучит в сердце. (Поговорим о прочитанном)	62
---	----

Круг чтения (Маленькие рецензии и аннотации)	65
--	----

Светлана АФЛЯН. Как хорошо, когда ты нужна людям!	66
---	----

Александр ШВИРИКАС. Таежная дружина	67
-------------------------------------	----

Николай ЧЕРКАШИН. Человек из машины	68
-------------------------------------	----

Вадим ГОРЕЛОВ. Отзовись, Аэлита!	69
----------------------------------	----

Евгений Рубин. А завтра...	70
----------------------------	----

Юрий ВЛАСОВ. Великий Ганк	71
---------------------------	----

В. СЛАВКИН. Театр в повторяющемся	72
-----------------------------------	----

Александр ЮДАХИН. Клоун Куклачев и его кошки	73
--	----

Анатолий ПАШУК. Праздник медведя	74
----------------------------------	----

Анатолий ЭИРАМДЖАН. Энергетический кризис	75
---	----

Виталий БАБЕНКО. Дуэль	76
------------------------	----

Прийт АЙМЛА. Между нами, холостяками	77
--------------------------------------	----

Василий ТРЕСКОВ. «Треба доплатить!»	78
-------------------------------------	----

ПОЭЗИЯ

Ирина РАКША. А какой сегодня день? Рассказ	3
Иса КАПАЕВ. Вырежем... Рассказ	8
Эдуард БАБАЕВ. Рассказы	15

Валентин КАТАЕВ. Ливановы (Слово перед дебютом)	16
Василий ЛИЕВАНОВ. Агния, дочь Агнии. Сказание о скифах	18

Наталья ХМЕЛИК. Польские пластики. Рассказ	21
--	----

Илья ФОНЯКОВ. «Дни проходят, пролетают ночи...» Плитник. Баллада об энтомологе	24
--	----

Валентин СОРОКИН. Россера на облаке. «Я любил тебя ненавистью, без печали и боли...» «А в сентябре от ветра не согреться...» «И тебе, о ком я горевал...»	26
---	----

Леонид ГРИГОРЬЯН. Ночь в феврале. «Я друга узнаю — с намеком, с полуслова...»	29
---	----

Юнна МОРИЦ. Сезоны для Музы ровны. «Эй, да кто там в вишневом саду...» К стягнейной гравюре. «Эту ветку миндаля...» У ранской гитары. Песня о любви. Летняя ночь. О жизни, о жизни — и только о ней! Ночь гитары.	31
---	----

Анатолий КРАВЧЕНКО. «Теплее и прохладней дождик...» «Тридцатого мая, тридцатого мая...» «Этот свет ночных дорог...»	34
---	----

Станислав КУНЬЯВ. «Не бесплодны людские труды...» Песня Дениса Пасечника в более широком весенний аете...» Балладическая песня. «А что же он сделал, тот гений...» «Я люблю тебя, море, но знаю...» «Прощай, мой ненадежный друг...»	40
--	----

Дмитро ПАВЛЫЧКО. «Родное слово, что я без тебя...» Нива. Звезды. Перевел с украинского Л. Смирнов	44
---	----

Наталья АСТАФЬЕВА. «Смеркается, и розоватый...» «Могла бы давно я провалиться в ад...» «Вновь на дворе оживают...» «Ты огромный серым камнем...» «На привычном бодороджоне...» «Я оживала медленно и робко...» «Любовь, как зонтик, надо мнай раскрыта...» «Дорога еще далека...»	52
---	----

Владимир ЛЕОНОВИЧ. «Буксиручик, отрывисто воя...» «Сердце падает и бьется...» Сентиментальные стихи. «Квазы донька и дерево на гое...»	56
--	----

Маргарита НОГТЕВА. Из ноктюрнов титанов (К нашей вкладке)	60
---	----

Двести первый сезон (Театр)	61
-----------------------------	----

Борис ЯНЧУК. Кепел стучит в сердце. (Поговорим о прочитанном)	62
---	----

Круг чтения (Маленькие рецензии и аннотации)	65
--	----

Светлана АФЛЯН. Как хорошо, когда ты нужна людям!	66
---	----

Александр ШВИРИКАС. Таежная дружина	67
-------------------------------------	----

Николай ЧЕРКАШИН. Человек из машины	68
-------------------------------------	----

Вадим ГОРЕЛОВ. Отзовись, Аэлита!	69
----------------------------------	----

Евгений Рубин. А завтра...	70
----------------------------	----

Юрий ВЛАСОВ. Великий Ганк	71
---------------------------	----

В. СЛАВКИН. Театр в повторяющемся	72
-----------------------------------	----

Александр ЮДАХИН. Клоун Куклачев и его кошки	73
--	----

Анатолий ПАШУК. Праздник медведя	74
----------------------------------	----

Анатолий ЭИРАМДЖАН. Энергетический кризис	75
---	----

Виталий БАБЕНКО. Дуэль	76
------------------------	----

Прийт АЙМЛА. Между нами, холостяками	77
--------------------------------------	----

Василий ТРЕСКОВ. «Треба доплатить!»	78
-------------------------------------	----

КРИТИКА

ПИСЬМО АВГУСТА

ПУБЛИЦИСТИКА

НАУКА И ТЕХНИКА СПОРТ

ЗАМЕТКИ И КОРРЕСПОНДЕНЦИИ

ЗЕЛЕНЫЙ ПОРТФЕЛЬ

Адрес редакции: 101524, ГСП, Москва, К6, Улица Горького, № 32/1.	63
--	----

Телефон редакции 251-32-83.	65
-----------------------------	----

Рукописи не возвращаются.	72
------------------------------	----

Сдано в набор 2/VI-1976 г. № 07103	89
---------------------------------------	----

Печ. № 15/VI-1976 г. Формат бумаги 84х1081/4.	95
--	----

Объем 12,18 усл. печ. л. 17,62 учетно-изд. л.	97
--	----

Тираж 2 650 000 экз.	102
----------------------	-----

Изд. № 1802. Заказ № 2329.	104
----------------------------	-----

105

Ордена Трудового и ордена Октябрьской Революции газеты «Правда» имени В. И. Ленина. 125865, Москва, А-47, ГСП, ул. «Правды», 24.	107
---	-----

Я. Титов. Победная шайба. 1972.



МАСТЕР СПОРТА, МАСТЕР ЖИВОПИСИ

Пролеживая творческий путь Ярослава Викторовича Титова, вспоминая его произведения, отразившие героику первых пятилеток, ратные подвиги советского народа во время минувшей войны, хочется рассказать и о том, как много труда он вкладывал в работу над своей самой любимой темой — темой спорта. Я убежден, что в этом немалую роль сыграло то, что Я. Титов — мастер спорта, человек, отлично знающий его секреты и умеющий воплотить на холсте все самые волнующие моменты спортивных поединков. Так уж случилось, что в жизни художника искусство и спорт тесно переплелись. Дружба со спортом у него началась в 1922 году в Звенигороде, где он тогда выступил в первых своих официальных соревнованиях. Его последнее выступление состоялось в 1947 году во время чемпионата СССР по баскетболу. Я хорошо помню Титова на площадке — это был умный и энергичный спортсмен, отлично понимающий своего партнера. Тогда с нами вместе играли такие замечательные мастера, как Е. Алексеев, С. Спандарян... Между прочим, Титов играл и в хоккей — его партнерами были М. Якушин, Ф. Селин, М. Большаков... Я вспоминаю, как вместе с Титовым участвовал во Всесоюзной спартакиаде 1928 года...

Прошло время. И снова, как в дни нашей юности, приходит Титов в спортивные залы и на стадионы, на матчи и тренировки. Теперь уже с альбомом для эскизов — чтобы воплотить в своих картинах будни и праздники напряженной спортивной жизни.

Недавно в связи с 70-летием со дня рождения Я. В. Титова в залах Центрального Дома работников искусств была развернута выставка, отразившая широкий творческий диапазон мастера живописи — мастера спорта.

И. ТРАВИН.

заслуженный тренер СССР,
заслуженный работник культуры РСФСР.

Я. Титов.
Бег (набросок).
1949.



Я. Титов.
Встреча.
Олимпийские игры.
Мюнхен. 1972.



The background of the image is a detailed illustration of a wheat field. The wheat stalks are rendered in a golden-yellow color with fine lines showing the texture of the grains. The field extends to a horizon line where a simple blue sky begins. The sky is filled with various sizes of white, stylized clouds, some with soft edges and others more defined. The overall composition is a classic representation of a rural landscape.

Индекс

71120

Цена 40 коп.